

Криштоф Елена. Сто рассказов о Крыме

От автора

Что за книга перед вами?

Некий путеводитель по судьбам и событиям?

Или плод предельного самовыражения — признание в самой большой любви, любви к своему времени?

А может, я просто собрала под одной крышей сюжеты, уже кем-то когда-то рассказанные и чуть только повернула их той стороной, которая казалась мне более значительной?..

Пожалуй, ни одно из однозначных этих определений не верно. Есть в книге события и люди, давно знакомые по романам, повестям, поэмам. Есть и то, чего, кроме меня, никто из писателей или журналистов не увидел, не узнал в силу каких-то обстоятельств и причин. Но, в первую очередь, больше отдельных судеб и фактов интересовал меня портрет родного края, Крыма, и каждый рассказ становился как бы камешком в этом многоцветном мозаичном портрете. Именно он, этот общий портрет, был предметом моих хлопот.

Что же касается определения жанра, то далеко не все рассказы этой книги имеют привычный сюжет — с завязкой, кульминацией и развязкой. Рассказы — это то, что рассказано. Иногда это очерки, иногда зарисовки событий, из которых и складывается большая История.

Воображенью край священный

Воображенью край священный:

С Атридом спорил там Пилад,

Там закололся Митридат...

А.Пушкин

Орест и Пилад

Есть поступки, которые человечество не забывает. Передавая суть их из уст в уста, от поколения к поколению в течение — странно сказать! — тысячелетий, человечество питается их нравственной силой. Отдаляясь от времени своего свершения, поступки или случаи эти не меркнут. Подхваченные преданиями, расцвеченные пером великих мастеров, разменянные на мелкую, но ежечасную монету поговорок и присказок, они живут с нами.

История, которую и я хочу повторить, — ровесница хитроумного Одиссея и многострадальной Трои, но случилась она на крымской земле. Побережье полуострова в то время населяли племена тавров, очень ревниво относившихся к какой бы то ни было попытке чужестранцев проникнуть в их владения. Попросту говоря, тавры их ловили и убивали, принося в жертву своей богине Деве. Храм богини, как считают нынче некоторые ученые, находился на мысе Ай-Тодор. А жрицей в храме была, как ни странно, гречанка Ифигения. Ифигения томилась по своей родине, столь солнечной и желанной, что берега нашего полуострова

казались ей вечно пасмурными и мрачными. Я думаю, то, что она в течение многих лет должна была готовить жертвы к закланию, тоже достаточно угнетало ее дух.

Тут надо сказать, что в свое время саму Ифигению должны были убить на алтаре Артемиды-охотницы, выпрашивая у своевольной богини попутного ветра к берегам Трои. Уже повалили, уже нож блеснул над дочерью царя Агамемнона, да сжалилась Артемида: невидимо для смертных прикрыла девушку, почти девочку, плащом, перенесла в Тавриду. Но что за жалкая участь изгнанницы! Ни слова, ни звука на родном языке, только однообразный рокот волн, только шум ветра в голых камнях...

И вот однажды в бухте возле храма появляется греческий корабль. Приплыл он тайно, ночью, и, как объясняет легенда, у тех, кто привел его, были свои счеты с богами и свое задание от них, а какое, мы не будем углубляться. Лучше представим, как стоят они перед жрицей, два молодых, выслеженных и схваченных таврами грека, и она жадно ловит каждое их слово, жадно всматривается в открытые, смелые лица, а они нехотя cedят подробности о далекой родине... Зачем растравлять душу воспоминаниями? "К чему грозящий жребий еще слезами отягчать, жена?" К чему перебирать милые подробности той жизни, к которой они не вернуться?

Но вот что странно: вопросы жрицы все вьются вокруг дома Агамемнона: жив ли он, многоуважаемый предводитель греков при осаде Трои? Жив ли Орест, сын Агамемнона? А мать их? А сестра Ореста Электра? Выросла ли? Счастлива ли? Кто ее муж и какие у нее дети? И там ведь была еще другая, старшая? Ифигенией,

кажется, ее звали? Та, которую родной отец ради общего дела принес в жертву богам?..

Робко, как будто ступая босой ногой по каменистой, жалящей тропинке, задает жрица эти последние вопросы. Голос ее прерывается на каждом слове: "А о другой... зарезанной... молчат?" Почему такая сухость во рту? Почему так тоскливо на сердце? Может быть, она предчувствует ответ: "Что ж говорить? Ведь солнце ей не светит..." Такие слова почти небрежно роняет младший из пленников, Орест. Он не подозревает, что перед ним родная сестра, в этой страшной и незавидной доле жрицы.

Ифигения тоже брата не узнает, но решает: она спасет одного из соотечественников, чтоб отправить его на родину с весточкой о себе. Что ж с того, что на родине ее не помнят?

Она-то помнит серебряный лепет оливковых рощ, солнечный зайчик на теплых ступенях родного дома. Помнит она отчаяние матери, горе маленького Ореста у нее на руках в тот день, когда судьба отрывала ее от семьи... А кому жить, кому стать вестником — пусть пленники решают сами.

И тут разыгрывается сцена, из которой родилась легенда. Сцена, вдохновившись которой, наверное, двадцать пять веков тому назад великий грек Еврипид написал свою великую трагедию.

Орест и Пилад спорят, и каждый уступает другому не право умереть, а право жить.

"Ты должен вернуться к жене и быть ей опорой, — говорит тот, что младше и беспокойнее в движениях,

Орест. — Ведь это меня одного боги послали в путь, я же вверг в бездну опасности и тебя..."

Другой возражает терпеливо и ласково. Среди доводов его и такой: "Твоя сестра уж отдана была могучей и быстроногой Деве в жертву". Теперь кровь другого рода должна смочить алтарь...

Спорят друзья, кому умереть, а жрица между тем диктует текст послания: "Сын Агамемнона, Орест! Тебе шлет свой привет закланная в Авлиде твоя сестра Ифигения. Здесь она живет — у вас слывет погибшей..."

"Стой, где она, вернулась из могилы?" — раздаётся не то горестный, не то радостный крик у врат страшного храма, а дальше все идет благополучно: брат узнает сестру, сестра — брата. Выясняется также, что Пилад не только друг, но и родственник — муж любимой сестры, Электры. Рискаю жизнью, Ифигения теперь решается спасти обоих и сама хочет вернуться в Грецию на их корабле, не считаясь с гневом богов. Смуглая, худая, уже не молодая женщина, присужденная без вины к вечному изгнанию, только что убедилась: смертные могут оказаться куда величественнее в своих душевных порывах, чем всемогущие, но суетные боги; и она восстала против них...

Легенда еще тянется, рассказывая о том, что и на богов подействовало людское благородство: они смягчились, помогли...

Но мы оставим легенду. Вспомним лучше о том, сколько раз великие писатели возвращались к этой истории, чтоб на ее примере показать тяжесть изгнания, самоотверженность дружбы. Кроме Еврипида, драму "Ифигения в Тавриде" написал Гёте, над этим же сюжетом начинала работу Леся Украинка. Пушкин в

одном из посланий к Чаадаеву после поездки в Крым воскликнул: "Я верю, здесь был грозный храм, где крови жаждущим богам дымились жертвоприношенья". Позднее поэт еще раз возвращался к именам, с лицейских лет ставшим для него символом дружбы: "Воображенью край священный: с Атридом спорил там Пилад", — писал он в "Путешествии Онегина", отправляя своего героя в те края, которые сам уже не надеялся больше увидеть...

Гикия — гражданка Херсонеса

Вторая история, которую я хочу рассказать, тоже родила легенду, и легенда дошла до наших дней. Гикия, героиня этой истории, была дочерью первого архонта города Херсонеса, то есть, очевидно, самой богатой и знатной девушкой в нем. А город гордился своей красотой, своими храмами и улицами, раскинувшимися над одной из ультрамариновых бухт Гераклеяского полуострова. Но больше всего он гордился свободой и независимостью. До наших дней дошла присяга граждан Херсонеса. Читая ее, мы как бы слышим дальний голос над главной площадью:

"Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, Девой, богами и богинями олимпийскими героями, владеющими городом, территорией и укрепленными пунктами херсонеситов...

Я буду единомышлен о спасении и свободе государства и граждан и не предам Херсонеса, Керкинитиды, Прекрасной Гавани...

Я буду врагом замышляющему и предающему...

Я буду служить народу..."

Много еще громких и прекрасных слов было в этой клятве, но вот как однажды пришлось перейти от слов к

делу. Херсонес, тогда управляемый своими архонтами, привычно соперничал с могучим Боспорским царством, свободно разместившись на месте нынешней Керчи и ее окрестностей. И был это первый век до нашей эры.

Вот такие же стены, как те, что и сейчас еще стоят мощно и тяжело в Севастополе, окружали Херсонес Таврический. А вот и следы путаных переулков, тесных дворов. Вот чаны для засолки рыбы, давилъни, кладовые... Только тропинка над морем протоптана явно не в те времена, но ничем, я думаю, не отличается от древней.

И весьма возможно, что Гикия шла сюда, к обрыву над морем, по такой же точно тропинке, петляющей между кустиками полыни и ромашки. Глядела вслед уходящему в море солнцу, гадала о своей судьбе. Судьба же на ее долю выпала нелегкая. В знак примирения с дальними соседями выдали ее замуж за боспорского царевича. Однако не жажда мира и дружбы, а один только коварный расчет руководил боспорцами, когда они настаивали на этом браке. Херсонеситы, которые простаками тоже не были, на этот раз дали себя провести. Радушно приняли жениха, правда, взяв с него слово никогда не отлучаться из Херсонеса, даже ради свидания с отцом.

Любила ли Гикия своего мужа или дала согласие на брак, потому что это устраивало ее город?.. Она ведь была, прежде всего, гражданка Херсонеса, даже несколько кичившаяся этим, как титулом.

Хочется верить, что вся золотистая от солнца и моря, с литыми тяжелыми прядями струящихся волос, в струящихся белых одеждах, с высокими ногами и длинными тонкими руками, она была настоящей

женщиной... Что пахло от нее не только благовониями, но и просто ромашкой, которая и тысячи лет назад цвела здесь в мае так же свирепо, так же подавляюще. И, может быть, гадала Гикия на тех же лепестках, на каких гадают девчонки и поныне: любит-не-любит?

...А он, любил ли? Терзался ли, замышляя злое дело? И какую участь готовил жене, если победит?

История разворачивалась так.

Приезжали в Херсонес посланцы из Боспора, вроде бы для того, чтобы передавать дары. Приезжали и будто бы уезжали. Но на самом деле тайно после заката солнца пробирались в город и прятались в обширных подвалах архонтова дома.

Сам архонт к тому времени давно умер, а то, может быть, он быстрее, чем Гикия, вывел бы хитрецов на чистую воду. А так разоблачение произошло совершенно случайно. Провинившуюся служанку Гикия отослала в какую-то дальнюю комнату, и девушка пряла там пряжу. Вдруг у нее падает кольцо с веретена и закатывается в щель. Чтоб достать кольцо, надо приподнять одну из половиц, выстилающих пол. Она приподнимает и видит: во тьме, тесно прижавшись друг к другу, тускло поблескивая оружием, сидят вражеские воины. Не на доброе дело собрались!

Сначала у служанки перехватило дух. Потом она осторожно опустила доску на место и, мелькая босыми пятками, побежала к двери, позвать госпожу...

Узнав обо всем, Гикия тихо сошла со своего кресла, неуверенно сделала первые несколько шагов, закрыла глаза ладонями... Да, земля колебалась под ногами, и свет солнца померк...

Потом она приказала служанке молчать и отправилась к архонтам.

Еще некоторое время город ел, пил, спал, работал, торговал, ссорился, состязался в красоте, ловкости, хитрости и ничего не знал о той тайной гибели, которую готовили ему враги. Знали только избранные и принимали меры...

И вот настала ночь после поминок по архонту Ламаху, отцу Гикий. Ночь накануне того дня, когда боспорцы собирались выйти из тайников и перерезать херсонеситов, уставших от игр, плясок и возлияний.

Тихо плывут по небу длинные, узкие облака, скрывая луну, ворочается в камнях море. Белеют выбитые в твердой херсонесской земле улочки, белеют длинные, сложенные из камня заборы. Вдоль улочек, вдоль заборов неслышной поступью, похожие на тени, крадутся люди, и каждый несет с собой, подняв на плечи, вязанку хвороста. Люди идут к дому Гикий, а оттуда тоже бесшумной цепочкой выходят девушки-служанки...

Через несколько часов от дома Гикий осталось только остывающее пепелище. В огне погибли воины-боспорцы и муж Гикий, сгорело имущество. Но гибель родного города была предотвращена.

В благодарность сограждане поставили Гикий памятник на площади. И, смахнув пыль с его меди, — как пишет Константин Багрянородный, византийский историк десятого века нашей эры, — смахнув пыль времени и забвения, каждый мог прочесть на цоколе повесть о мужестве.

Сейчас того памятника нет. Не осталось ни одной, хотя бы самой маленькой вещишки, принадлежавшей

этой удивительной женщине. Только море, небо да камни остались такими же, как в ее времена...

Как нашли Скилура

Надо было быть смелым человеком, чтобы в 1945 году добиваться денег на экспедицию в поисках скифской, давно поросшей травой забвенья столицы.

О нем, об этом городе и о его правителе, царе Скилуре, писали древнегреческие историки Страбон и Плутарх. Рассказывали о мудрости царя, приписывали именно ему остроумный урок наследникам, суть которого кочевала потом из легенды в легенду. Желая показать, какой политики должно придерживаться после его смерти, Скилур будто бы велел принести связку дротиков и предложил сыновьям попробовать переломить ее. Когда из стараний ничего не вышло, старик разобрал связку и поломал каждый дротик в отдельности. Комментарии, как говорится, были излишни.

Так вот, с определением того, где находилась столица этого мудрого правителя, не так уж все было ясно. Правда, ученый-археолог Иван Павлович Бларамберг в начале прошлого века утверждал: надо искать на окраине Симферополя, между Петровской балкой и Петровскими скалами.

Но это теперь представляется просто: прислушался сотрудник Института археологии АН СССР П. Н. Шульц к Бларамбергу, выписал командировки для себя и для своих сотрудников, приехал и открыл город, защищенный некогда стенами, высокими и толстыми, как в Трое, застроенный нарядными зданиями и лачужками, давно ушедшими в небытие. Однако смелый человек Павел Николаевич Шульц ехал в Крым не просто откопать

Неаполь скифский, но и найти в нем самого Скилура. Как, в каком виде он его отыщет, наверное, Павел Николаевич тогда сказать не смог бы. Была только сверхзадача: найти!

Непосредственно к этой экспедиции, к открытию, П. Н. Шульца подтолкнул и случай: еще до войны он, тогда молодой археолог и искусствовед, в хранилищах Академии художеств нашел некий слепок с некоего рельефа. Никто не знал, что за слепок, кого изображает — лежит и лежит себе. Шульц, следуя предположениям Бларамберга, сказал: это Скилур скачет на коне, а рядом с ним — его любимый сын и сопровитель — Палак. И дальше Павел Николаевич пошел за Бларамбергом. Где был найден ныне снова исчезнувший рельеф? Возле Симферополя. Вез его в своей телеге один из застройщиков, рьяно разбиравших старые стены на окраине.

Но одно дело обнаружить и узнать слепок рельефа в кладовых хранилища в Ленинграде, а другое — найти скифского царя, умершего более чем 2000 лет назад в его собственной столице, которую за долгое это время сжигали, грабили, всячески сводили с лица земли, пока от нее мало что осталось.

Однако мало что осталось — это для непросвещенного. Археологу находки Неаполя скифского казались богатыми. По ним Тавро-скифская экспедиция Академии наук, возглавляемая Павлом Николаевичем Шульцем, узнала, что скифы занимались не только кочевым скотоводством, но, как свидетельствовал еще Геродот, и земледелием. Торговали они со многими странами, включая греческие города-полисы на побережье полуострова, Грецию, далекий Египет. А

главное, экспедиция доказала, что уровень развития скифского государства был гораздо выше, чем предполагали до сих пор.

В этом же для археолога есть гордость и сладость — доказать, что люди, жившие за многие столетия до нас на нашей земле, не вовсе были лыком шиты: оставили после себя что-то, что могло соперничать и с заморскими свидетельствами материальной культуры.

В Неаполе скифском найдены были обширные хранилища для зерна, остатки зданий. Сомнений в том, что найден город столичный, не оставалось. В этом убеждал еще и мавзолей, обнаруженный у городской стены. В мавзолее хоронили многих, но раньше всех — старика, ради которого и был построен мавзолей.

Кафтан его украшали многочисленные золотые бляшки, рядом с ним лежал меч, недалеко от него закопали трех коней и воина. Среди других захоронений пышностью отличалось более позднее — в деревянном, истлевшем саркофаге, — скифской царицы, очевидно. Не жены, но, возможно, внучки или правнучки того, кто лежал в каменном ящике. А кто лежал?

...Толпа любопытных с Петровской балки обступила раскопки с утра. Любопытных этот вопрос тоже интересовал, меньше, однако, чем число бляшек на кафтане. "Шульц золото копает", — замирали они.

Между тем Павел Николаевич знал: главная его находка — не золото, а, например, маленький и до удивления выразительный портрет бородатого скифа, вырезанный мастером на обратной стороне египетского амулета. Или стенная роспись, изображающая дикого кабана и напавших на него собак. Та самая черно-рыжая картинка, которая стала впоследствии как бы маркой

раскопок... И еще должен был быть один приз — отгадка, кто лежит в каменном ящике.

С черепом этого неизвестного Шульц поехал в Москву и не сказал скульптору-антропологу Михаилу Михайловичу Герасимову, где взял свою находку. Не скал, чтоб была полная объективность. Когда Герасимов работу закончил, стало ясно: череп не тот. Не Скилура череп.

В то время Герасимов еще только входил в славу, и одни считали его реконструкции бесспорными, другие — очень даже сомнительными. Подумать только: по очертаниям костей черепа скульптор берется восстановить облик человека, жившего за триста лет до нас, а то и за несколько тысяч! А как проверить?

Павел Николаевич Шульц в научность метода Герасимова верил безусловно, поэтому согласился: череп не тот. Очень жаль. Однако с наукой не поспоришь: бюст готов, и вроде бы нет в нем сходства с изображением Скилура на том самом слепке, с которого все началось.

В мастерской Герасимова Шульц был не один, но никто из гостей не знал, чей бюст перед ними. Видели сухое, сильное, горбоносое лицо — и только. И вдруг кто-то случайно надел на голову этого не-Скилура шапку. Кажется, папаху, серую, какие тогда многие носили... И тут Шульц понял — Скилур!

Может быть, Шульц закричал от радости. Было от чего кричать. А вернее, не закричал, но тут же стал рассказывать, как более ста лет назад археолог Бларамберг увидел на рельефе из мрамора двух скифов вот в таких вот остроконечных головных уборах, колпаках. Рассказывал не долго — стремглав поспешил в Крым, где ждали дела: пыль веков прикрывала еще не

одну тайну скифской столицы. В те сороковые Шульц был сильным, рыжим, быстрым. Радовался, наверное, своему здоровью, своему ладному телу, любил свою настойчивость и удачу. Что же касается пыли веков — он ее кисточкой сметать не мог: у него не было пальцев обеих рук — потерял их археолог на войне.

В крымской археологии Павел Николаевич оставил примечательную страницу. "Шульц копает, Шульц нашел, Шульц выехал на канал", — говорили о нем. Да, археологические находки и в наше время очень часто начинаются со строительства. Строят — роют — находят. Когда прокладывали трассу канала, он со своей экспедицией шел впереди. Даже впереди саперов.

Тридцать лет его жизни прошли в Крыму, в горячей степи, которая на рассвете, пока еще не зарычали механизмы и дождевальные установки не развесили свои крылья, напоминала ему скифскую степь с двумя всадниками... Говорят, Шульц похож был и лицом и острым клоком бороды на старшего, то есть на Скилура.

Когда я его увидела, он был уже совсем стариком, но борода загибалась все также остро и кожа обгорала на ветру. И вот что интересно: никогда бы не подумала, что смелость больше всего бросится в глаза в облике этого ученого, старого человека. Но именно так случилось: бросилась. А как же иначе? За своим Скилуром он отправился летом сорок пятого, когда не только мне, мало и плохо образованной девочке, многим казалось: кому это нужно?

О Митридите

"Нет имени более известного, чем Митридат. Его жизнь и его смерть — это значительная часть римской

истории", — так писал известный французский драматург, немного, наверное, все же склонный к преувеличениям, Жан Расин. А между тем Митридат умер в Керчи. Случилось это в первом веке до нашей эры, и Керчь тогда звали не Керчью, а Пантикапеем, и был город этот столицей государства Боспорского.

История, что привела царя Понтийского Митридата из Малой Азии в Пантикапей, как в последнее убежище, начинается издалека. Сначала в Крыму появлялся, и неоднократно, его военачальник Диофант с войсками. Имя Диофанта сохранил нам декрет, текст которого в виде надписи на камне был найден в конце прошлого века среди развалин Херсонеса. В этом декрете Диофант назван другом и благодетелем Херсонеса, победившим скифского царя Палака, сына Скилура. "Когда скифский царь Палак внезапно напал на Диофанта с большим полчищем, он обратил в бегство скифов, считавшихся до тех пор непобедимыми, и таким образом устроил так, что царь Митридат Евпатор первым водрузил над ними трофей", — говорит декрет. Однако в Тавриде Диофант узнал не только победы...

Он, посланник могущественного Митридата, через некоторое время после победы над Палаком вынужден был бежать от Савмака, возглавившего восстание на Керченском полуострове, причем бежал так, что едва успел вскочить на корабль, который за ним прислали из Херсонеса. Правда, добежав до этого славного, но тем не менее рабовладельческого города, полководец пришел в себя и на главной городской площади высоким от злости голосом призвал гнев богов на головы тех, кто откажется ему помочь.

Херсонеситы, закутанные в свои белые одежды, слушали Диофанта внимательно. Кивали крупными носами — как отказать? Не сами ли звали они его на помощь? Не к нему ли придется обращаться снова, просить защиты от скифов? Скифы рыскали у самых их стен, сжигали поля, вытапывали виноградники, примеривались к тем выгодам от торговли, которыми пока что пользовались одни только греческие города-перекупщики.

Точно так же скифы обложили и Боспор, и там тоже жены торопили мужей: с этим надо что-то решать! Если вы не можете защитить город — шлите гонцов за море в Понт, зовите на помощь Митридатово войско!

Гонцов послали, и вскоре в Херсонесскую гавань влетела первая триера из Понта, за ней вторая, третья, десятая — без числа!

Херсонеситы высыпали из своих жилищ: Диофант опять пришел! О, царь понтийский, Митридат, сколь скор ты, сколь силен и славен!

Диофант, приведший к берегам полуострова целую армию, на этот раз, кроме военных, одержал еще и дипломатические победы: боспорцы именно по его совету и настоянию решили передать свое царство в руки Митридата, царя Понтийского, владыки многих и многих земель. Поистине лучше жить под мышкой у сильного, чем на свой страх и риск отстаивать собственную свободу посреди чистого поля!..

"Митридат не даст нас обидеть!" — вот была самая ходовая фраза в те дни среди жителей греческих городов Херсонеса, Пантикапея, Мирмекия, Нимфея. Правда, рыбаки Тиритаки спрашивали друг у друга: а не захочет

ли Митридат сам обидеть новых подданных? Но голоса их на ход событий не повлияли.

Диофант навел на полуострове жестокий порядок. Ему удалось, наконец, задушить восстание Савмака, отогнать скифов, потеснить тавров, припугнуть всех, кто посягал на свободу античных городов. Еще бы! Города эти пригодятся самому Митридату в его долгой, чуть не на полвека затянувшейся войне с Римом! Вернее, в тех войнах, в которых, и далеко не всегда удачно, против Митридата выступали лучшие полководцы, цвет римской истории. С шестого класса нам знакомы имена: Сулла, Лукулл, Помпей.

В горах Македонии, на побережье Греции умирали солдаты, родившиеся в Херсонесе и Пантикапее. Не хватало хлеба, мяса, золота, новых кораблей и выносливых коней. Давно уже и херсонеситы, и боспорцы поняли, как прогадали они, когда решили: лучше жить под мышкой у сильного, чем умирать за свободу в чистом поле.

...Давно состарился, но не утихомирился царь Митридат, давно уже Боспором правит его тоже уже не молодой сын, но покоя не видно ни в какой дали. А между тем в эту выгоревшую на солнце даль боспорцы всматриваются пристально: что-то она принесет?

Нынче такое время: каждый час жди — то ли римский флот войдет в гавань, то ли Митридат ворвется в Пантикапей, круша собственных подданных кого за нерасторопность, кого за измену...

Только зачем ему в Пантикапей? Даже сын его давно уже, чтоб не прогадать, проданся римлянам,

послав им хлебные и другие запасы, которые, ограбив боспорцев, заготовил для отца.

...Однако Митридат в Пантикапей все же входит и угрюмо глядит на остатки догорающего флота, который сын сжег, удирая от отцовского гнева. Ну что ж, Митридат еще поспорит с судьбой! Теперь его оплотом станет Боспор, вот этот клочок земли, так хорошо видный с высокой горы Акрополя.

Митридат стоял на ее вершине, огромный и старый, но витые мускулы его по-прежнему напрягались под смуглой кожей, как под шкурой зверя, готового к прыжку. И ноздри раздувались, и сухие крепкие ноги переступали по вытоптанной траве нетерпеливо: царь готов был и в четвертый раз идти на ненавистный Рим.

И, кто знает, может, пошел, если бы не новое предательство: второй сын, Фарнак, тоже переметнулся на сторону Рима. И вон там внизу, на площади возле гавани, где дым все еще застилает воду, его венчают на царство! Гарнизон крепости на его стороне, и теперь высокие стены стерегут самого Митридата, и нет дороги из кольца...

Но царь не хочет живым сдаваться в плен. Мысль о позоре так страшно, что он даже смеется, поводя из стороны в сторону короткой шеей. Яд всегда при нем, и вот он высыпает на огромную ладонь желтые шарики цикуты, протягивает их дочерям. Невесты царей Египетского и Критского, они тоже предпочитают смерть позору. А его смерть не берет, цикута бессильна перед могучим телом, неукротимым духом. Впрочем, этому есть и очень прозаическое объяснение. Еще с детства будущий владыка Понта знал: римляне постараются его извести и вероятнее всего — ядом цикуты, как изводили

многих, ставших на их пути. А против цикуты помогает только цикута: просто надо приучать себя к ней постепенно. Итак, цикута не брала, оставался только меч. По преданию, царь приказал заколоть себя. Иные говорили по-другому: бросился на меч, воткнувший в землю острием вверх.

...А могилы или гробницы Митридата в Керчи нет. Так же, как когда-то живого, но побежденного скифа Савмака, мертвого Митридата повезли в Синопу, столицу Понта. Там его похоронили не только без надругательства, но с почестями, на которые расщедрился Рим.

В Керчи в память о Митридате осталось только название горы, откуда в последний раз царь смотрел на море, на зеленые холмы окрест, на белые кубики домов Мирмекия и Тиритаки...

Ничто в городе не напоминает сегодня о Митридате. Иная слава и у горы, когда-то названной его именем. Разве что остатки античных колонн сбоку ее, лежащие в прахе и в золотом цветении одуванчиков, кто-нибудь по неведению примет за гробницу Митридатову, как сделал это когда-то Пушкин, путешествуя по Крыму с семьей генерала Раевского. И, может быть, в воображение его узким солнечным бликом мелькнет хищная триера, но мгновенье — и растает. Потому что в гавань как раз в это время, перебивая мираж и деловито пыхтя, пройдет маленький буксир с громким названием "Красная армия" и приткнется к причалу...

Корсунь

О, земля моя Русская!

Уже позади

За курганом ты!

Слово о полку Игореве

Киевский князь Владимир, крестивший Русь, вошел в мое детство с четвертого класса и встал рядом с вещим Олегом, и Игорем, и Ольгою, которые сидели на крутом холме, пока на берегу пиновала дружина.

Действительно — рядом, поскольку Ольга была бабушкой Владимира и воспитывала его, когда отец, воинственный Святослав, барсом рыскал по болгарским, тмутараканским, а также греческим землям.

Владимир был знаком с четвертого класса, а то, что древний таинственный и бесплотный Корсунь — тот же Херсонес, нынешние развалины в черте Севастополя, это я по-настоящему не то чтобы поняла — почувствовала совсем недавно, побывав там еще раз ради Гикии, дочери архонта Ламаха. Стояла на берегу и спрашивала себя: стало быть, именно по этим, как бы от времени ржавым камням в конце десятого века, тысячу лет назад, сходила на берег дружина Владимира? В этой темной от водорослей воде отражались его ладьи, пестрые и тяжелые, как на картинах Рериха? И вот эти стены, нынче разрушенные и засыпанные веками, надо было брать то ли приступом, то ли осадой?

Почему мы часто не можем представить, что большие события происходили на нашей малой земле, той, что с детства избегана "казаками и разбойниками"? Потому, что она поросла слишком знакомой дерезой и одуванчиками? Потому, что на ней крутятся наши будни?

...У меня за спиной дышит море, глухо позвякивая оружием, на берег сходят воины... А передо мной, пуская

рыжую искру по меди проводов, бежит троллейбус. Сам он срезан холмом: я вижу только штанги и этот длинный скользящий огонь, и мне странно оттого, что связь времен в эту минуту проходит как бы через меня, шевеля волосы на голове, напрягая пальцы рук и ног.

...Итак, корсунцы затворились в городе, а дружина, идя на приступ, заявила формулой того времени. "Братья! Потянем по своему князю и по русской земле!" Однако приступ не удался, тогда "отстояли город", стояли девять месяцев, а грозили три года простоять. Но три года стоять скучно: принялись сыпать «приспу» к стене, чтоб в сражении иметь преимущество, как бы ступеньку для разбега. Но греки — недаром слыли самым хитроумным народом! — подкопали свою же городскую стену и уносили землю в город...

В тусклом свете солнца, еще не прорезавшегося как следует сквозь туман, блестят кольчуги, тает невидимое пламя костра, розовеют толстые стены Корсуня. Князь со своими крепкими мужами вольно устроился под городом: пригнали овец, отбитых в степи, щекочет ноздри запах мяса, капает жир на угли... И день пирует Владимир, и два на виду у осажденных. Князь без пира не может. Пир и развлечение, и урок врагам: против кого стоите, голодные?

Однако корсунцы сдаваться не спешили. Тогда, согласно одним летописям, грек Настас послал с городской стены князю в лагерь стрелу с надписью: источники, мол, питающие город, там-то и там-то. Можешь перекопать. Другие утверждают: не грек Настас, а варяг Ждьберн указал все так же — стрелой — путь, откуда поступали осажденным припасы и вода.

А может быть, не существовало ни грека, ни варяга. Многие ученые, во всяком случае, считают, что эпизод со стрелой вообще позднейшая литературная вставка: чтоб было красивее, сюжет так вот закручен. Чтоб впечатляло. И только известный исследователь Крыма Бертъе-Делагард, следуя указаниям летописи, поискал и нашел источники и древний городской водопровод. Так вот прямо подошел к «вычисленному» месту, копнул и нашел глиняные трубы. Потом сам удивлялся, до чего все обошлось малыми затратами на землекопов. Впрочем, стоило ли удивляться? Точно так же, следуя указаниям Гомерово́й «Илиады», археолог Шлиман обнаружил когда-то Трои, Бларамберг определил место, где стоял Неаполь скифский.

...Владимир перекрыл воду, корсунцы сдались. А дальше, по словам той же летописи, направил Владимир посла к греческим императорам в Царьград со словами: "Слышу, у вас сестра в девицах; если не отдадите ее за меня, то и с вашим городом будет то же, что и с Корсунем". Императоры после долгих торгов и сомнений решили: "Крестись, и тогда пошлем к тебе сестру".

Собственно говоря, именно этого предложения — креститься — Владимир и ждал. Христианство было безусловным шагом вперед по сравнению с язычеством, и этот шаг князь хотел сделать, однако как-то так, чтоб гордость не страдала... То есть принять религию от побежденных — это он мог, а от диктующих, снисходящих — ни в коем случае.

Что же касается Анны, она не хотела ехать в чужую страну: "Иду точно в полон, лучше бы мне здесь умереть". Но делать нечего, поплыла к Корсуню в горе и слезах. А там была торжественно встречена жителями:

расстилали ей ковры под ноги, служили молебны, смотрели, как на избавительницу.

Да, вот еще какая деталь: именно этот Владимир, князь Киевский, позднее в летописях назван Красным солнышком, и это именно в его времена и где-то рядом с ним совершали свои подвиги Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Интересно, не могли ли и они воевать Корсунь, стоять вот здесь у рва, нынче мирно заросшего ломкими прутьями дерезы, а когда-то грозного в своей неприступности?

Берег третьего моря

Из Трапезунда корабельщик брался довести Никитина до Кафы за золотой. Второй золотой шел уплатой за пропитание.

Афанасий отошел от корабельщика довольный, думая, что и больше не жаль отдать, только бы позади оказалось это последнее море, отделявшее его от родины. Правда, Кафа — тоже чужая земля, генуэзская. Но там живут и русские, и оттуда на родину прямая дорога через степь, если пристать к надежному купеческому каравану, миновать Перекоп — узкое горло ловушки, где так легко попасть в плен.

Когда подплывали к Кафе, Афанасий стоял на носу корабля, и грудь его выгибалась так, как будто он хотел помочь парусам. Он устал от опасностей, от чужих слов чужого языка, оттого, что шесть лет не ступала его нога по мокрым заречным лугам, рука не срывала горький осиновый лист.

Любопытство, жажда принести пользу и себе и отечеству потом, может быть, снова толкнула его в путь.

Но это будет не скоро. Пока же он везет на родину небольшой груз золотых, спрятанных в поясе, и вот эти записки, которые он вел все время пути, все шесть лет. В них обозначены дороги Индии, Персии, Турции. А также время, необходимое, чтоб их пройти, товары, выгоды и нравы дальних, никому еще неведомых стран... Кроме записок и нескольких золотых, он везет на родину свою тоску по ней.

Он был быстрым, не трусливым, верным слову человеком и не знал за собой раньше этой способности — тосковать. А вот пришла тоска — не отпускает.

В Кафе на берегу, еще не ступив на мелкий, ласковый песок, Афанасий услышал родную речь. Двое из тех, что помогали тащить лодку подальше от прибоя, переговаривались по-русски. И головы у них были светлые, в грубо обрезанных, еще и на солнце выбеленных волосах. Они были рабы.

Афанасий шевельнул языком, разом пересохшим и непослушным от волнения, однако ничего не сказал: побоялся, с отвычки и не прозвучат хоть самые простые звуки.

И молитву первую у дверей православного храма прочел на чужом, басурманском языке, к которому привык: "А урус ерве таньгры сакласын; олло сакла, худо сакла..." Значило это: "Да сохранит бог землю русскую! Боже, сохрани ее! В сем мире нет подобной земли. Хотя бояре русской земли не добры. Да устроится русская земля!"

Весь следующий день он ходил по городу, приглядывая себе попутчиков. Русских купцов в Кафе, нынешней Феодосии, было много, торговали медом,

мехами, хлебом, холстами. Но из Твери никого не встречалось...

Было жарко, в синей тени, падавшей от квадратной облупленной башни, примостились гости из Смоленска, молодые парни, приказчики, работники и охрана купца Свяслова. Афанасий рассмеялся, заметив, как смотрели они на заморское чудо — высокого двугорбого верблюда. Верблюд презрительно перекатывал жвачку, пускал зеленую слюну.

— Страховиднее не придумаешь... — Парень залез пятерней в густые, давно не стриженные патлы.

— А выручает хозяина, где конь не пройдет. В горячих песках.

— Сам бывал-то в песках?

Он только собрался объяснить, где бывал, что видел, как уловил дальний, нарастающий, еще не громкий, но почему-то показавшийся ему тревожным шум. Может быть потому, что даже верблюд повел в сторону мерного шума маленькой головкой. Старик-погоныч, сидевший у ног верблюда на коврике, забитом пылью, тоже рыскнул враз проснувшимися глазами.

...Шаркали по глинистой, до белого камня выбитой земле тысячи ног, гнали невольников. Они шли по трое в ряд, и не шли и не бежали, а семенили, втянув головы в плечи, стараясь не сбиться с шага, не отстать. А главное, не подвернуться под плетку. Татары на конях торопили их, пугали, разворачивая над головой длинные, свистящие, узорно рассекающие воздух бичи. Невольники все шли и шли, и казалось, еще секунда, тебя тоже втянет их пыльный страшный поток.

— Остались ли еще люди там, где вы были? — льстиво спрашивали у всадников встречные, и пальцы их сладко замирали на четках в предвкушении завтрашнего барыша.

— Остались, остались, пусть попасутся на воле, в будущем году Кафе нужен будет товар.

...Шаркали тысячи ног, синяя тень от башни ползла все дальше в город, солнце закатывалось в розовой пыли, испуганно жался к Никитину парень, только что дивившийся на верблюда.

...Афанасий Никитин выехал из Кафы со смолянами через три дня. Крымские степи и Перекоп миновали благополучно, но в Киеве он заболел. В Смоленске ему стало совсем плохо, там он и умер. Однако тетради его с драгоценными записками первооткрывателя не пропали. И тут надо сказать, что русский путешественник на четверть века обогнал таких великих, как Васко да Гама и Колумб. Еще и в помыслах у тех не было посвятить свою жизнь открытию наиболее доступного пути в Индию, когда Никитин, вернувшись из-за трех морей, стоял на берегу и молился не о своих барышах, а о том, чтоб устроилась русская земля.

Эти скандальные братья Гуаско

Консул Солдаи Христофоро ди Негро диктовал: "...Идите вы, Микаеле ди Сазели, кавалерий нашего города, и вы, аргузии нашего города, ступайте все до единого и направляйтесь в деревню Скути..."

За окном ласточки обучали птенцов последним премудростям перед тем, как отправиться в теплые края, может быть, в Геную. Он же, Христофоро ди Негро, был

прикован к городу и крепости. Не имел права покинуть их ни на одну ночь. Кроме того, консул был опутан интригами, доносами сограждан, недоверием сильных соседей, не желавших, чтоб Солдаёя снова стала на ноги. Пусть возделывает виноградники и платит подати — это ее дело. Торговать будет Кафа...

Консул слегка откашлялся перед тем, как бросить писцу следующую фразу:

"Повалите, порубите, сожгите и бесследно уничтожьте виселицы и позорные столбы, которые велели поставить в том месте Андреоло, Теодоро, Деметрио, братья ди Гуаско".

Консул умолк, набирая в широкую грудь воздух; голос его прокатился под низким потолком зала еще круглее и внушительнее:

"А если Теодоро ди Гуаско или кто-нибудь из братьев его станут мешать вам исполнить этот приказ... то именем достопочтенного господина консула объявите ему о наложении на него штрафа в размере..."

Тут консул задумался, глядя на лысеющую голову писца. Никакой штраф не был бы чрезмерен для наглецов и богатеев братьев Гуаско, скупавших или просто присваивающих огромные участки виноградников в окрестностях Скути и Тасили... Если бы он, Христофоро ди Негро, был бы так богат, как эти разбойники!

Сообразив, наконец, какой штраф наложить в случае неповиновения, ди Негро диктовал дальше:

"...ибо те Андреоло, Теодоро и Деметрио посягнули и продолжают посягать на права, которые им не

принадлежат, нарушая честь и выгоды светлейшего совета святого Георгия и общины Генуэзской".

...Кавалерий Солдайи и служившие под его командой аргузии вернулись в Солдайю под вечер в самом жалком виде. Лица их были в грязи, плащи порваны, и самое страшное, что еще у ворот они принялись кричать и жаловаться на то, что братья Гуаско будто бы избili их палками!

Впрочем, что-то вроде этого позора консул предвидел, отправляя в Скути кавалерия вместе с семерыми стражниками в порыжелых от времени плащах и сношенных сандалиях... Люди Гуаско, поенные вином, веселые и уверенные в себе от безнаказанности, вопили, наверное, громко, что господа их вовсе не обязаны исполнять повеления какого-то консула Солдайи. И если это консул, Христофоро ди Негро, вздумает сам явиться со своими распоряжениями, они и его прогонят в тычки!

Христофоро ди Негро скрипнув зубами, представляя, что они там еще кричали, сам рыжебородый и красноглазый Теодоро и челядь его, которая тоже не стесняется, чувствуя, что господам покровительствует могущественная Кафа.

Консул не ложился спать, хотя время было позднее. За окном стояла светлая лунная ночь, и консул решил пойти проверить караулы у городских ворот и в дозорной башне. Но, только что выйдя из дверей, переменил свои планы: не было сил сейчас еще раз увидеть физиономии Микаеле или Кароци, Якобо или Сколари, тупые ото сна, испуганные неожиданностью его визита.

Консул пошел вдоль стены, отводя плащ от кустов терновника, прислушиваясь к дальнему бляенью коз. Он шел, как бы измеряя шагами длину стен своей крепости,

а взглядом проверяя красоту и надежность ее башен. Рыже-серые, того же цвета, что и окрестные холмы, они были строги и достойны. И на каждой надписи возвещала о том, при каком консуле свозили, клали друг на друга, скрепляли грубым раствором огромные, пиленные глыбы известняка. Башня консула Бернабо ди Франки ди Пагано, башня Джудиче, башня Коррадо Чикало, башня Джиованни Марионе, башня Гварко Румбальдо...

Ну что ж, он, Христофоро ди Негро, в зрелом возрасте по зрелым размышлениям не надеялся оставить после себя башню с выбитыми на ее стене словами "во время правления именитого и могущественного мужа, достопочтенного консула, главного казначея и военачальника Солдайи..." Правда, в молодости томили честолюбивые мечты, но они прошли, как проходит болезнь. Однако не до такой же степени он переменялся, чтоб молча сносить все, что преподнесет ему наглость этих скандальных братьев Гуаско.

Консул притронулся рукой к холодному, влажному от росы камню стены. Небо становилось розовым с той стороны, где на горе чернела Дозорная башня, самая прекрасная и горделивая из всех. Каменистый холм служил ей как бы пьедесталом, и с моря, по крутому склону этого же холма, никакой враг не смог бы взобраться...

Но врагов так много у Солдайи, что не известно, с какого боку их ждать. И, может быть, перед лицом этих врагов ничтожными кому-нибудь показались бы счеты с братьями Гуаско...

Кому-нибудь, но не ему, Христофоро ди Негро! Он-то знает, что сегодня братья Гуаско присвоили себе

право пороть и вешать, право, которое принадлежало только ему, консулу, а завтра посягнут на другие.

27 августа 1474 года был написан приказ, повелевавший сжечь виселицы и позорные столбы в деревне Скути, а 1 сентября консул Кафы уже писал консулу Солдайи: "Достопочтенный господин! Дорогой наш! Явился к нам благородный господин Андреоло с жалобой... Он искал защиты у нас, указывая на свои соглашения с светлейшим советом святого Георгия... Мы не имеем возможности рассмотреть сейчас эти соглашения и изучить права ди Гуаско, поэтому... строго предписываем повременить и воздержаться..."

2 сентября Христофоро ди Негро диктовал ответ, на сей раз смиряя звуки своего голоса:

"Мы считаем себя обязанными законом, следовать которому мы стремимся во всем, присудить его к... наказанию... Но поскольку вы отдали... приказ повременить..."

Допрашивались свидетели, перечислялись обиды, умножались угрозы, стрелой неслись кони по горным дорогам, отделявшим Скути от Солдайи, Солдайю от Кафы. Писцы ровным бесстрастным почерком записывали диктуемое и в том случае, когда гремел голос Христофоро ди Негро, и в том, когда слова с шипением слетали с тонких губ Андреоло Гуаско. И в том, когда визгом буравил воздух консул Кафы, уязвленный упрямством этого Христофоро ди Негро. Пусть управляет своими аргузиями да двадцатью наемными солдатами и пусть — пиши, писец! — пришлет шесть каменщиков: Кафе нужны руки для ремонта ее башен — турки могут напасть каждую минуту.

И турки действительно напали. Ровно через четыре месяца и двадцать дней после того, как был написан последний из приведенных документов, они взяли штурмом Солдайю, убили или отправили в рабство жителей ее, сожгли храм, в котором, по некоторым преданьям, сгорел и Христофоро ди Негро, последний консул Солдаи.

...Тонкой струйкой стекает осыпь с пустынных холмов Судака, редкие стебли трав не в силах задержать это течение. Оно напоминает мне песочные часы, у которых срок — вечность. А крепость в Судаке все стоит, наводя на мысль не столько о могуществе генуэзских консулов, сколько о могуществе строителей, которые одни смогли удержать мгновение и преподнести его нам.

Деревня Скути, в которой когда-то братья Гуаско ставили свои виселицы и позорные столбы, нынче называется так: село Приветное. А следы Тасили затерялись...

Легенда о Феодоре

Легенда эта кочует из сборника в сборник, из путеводителя в путеводитель. Поскольку считается, что привязана она к Алустону, Алуште, моему родному городу, я думала о ней, вспоминала особенно часто.

Суть этой легенды заключается в том, как некая царица Феодора сражалась плечом к плечу с мужчинами-воинами против войска захватчиков. По одним версиям, захватчиками были генуэзцы из Кафы, а родовым именем Феодоры, стало быть, являлась Сугдея, нынешний Судак. Это уж потом из Сугдеи, после ее падения, верхом прискакала царица в Алустон, вернее, на гору Кастель, где оставалось у нее последнее

прибежище — крепость. Там Феодора и погибла со своим войском.

Как часто в легендах, в этой тоже были замешаны коварство и любовь. Выступали в ней действующими лицами наравне с Феодорой два брата-близнеца Кирилл и Ираклий. Один из них олицетворял верность, другой — измену. Легенда рассказывала о подкопе под крепостные стены, о перекрытых источниках, украденных ключах. Существовал вариант, по которому выходило, что захватчики приплыли морем, а не явились из-за соседних холмов, — значит, не беспокойными гражданами Кафы они были, а, скорее всего, турками, покорявшими крымское побережье огнем и мечом. Многие связывают имя Феодоры с именем жены византийского императора Юстиниана. Но почему? Та ведь и в Крыму никогда не бывала...

Однако пути легенд неисповедимы. Известно только: совсем из ничего, из пустоты, воздуха или, как сказали бы в наше время, "из головы" они не рождаются. Они рождаются от случая и мечты. Мечты о сильном характере и случая, который характер этот проявил. Показал всем, всем, всем: вот каков человек, когда борется за жизнь, за независимость этой жизни от прихотей завоевателей.

Очевидно, была и в самом деле какая-то женщина, поразившая воображение, не попавшая в летопись, оставшаяся в легенде. Где-то между Кафой и Алустоном по шиферным мрачным и сыпучим холмам действительно цокали копыта ее коней. И соплеменники, действительно увлеченные ее порывом, тоже до последней минуты метали камни с крепостных стен на ненавистные головы побеждающих врагов.

Ах, Феодора, Феодора! В детстве четко, как увиденный вблизи, рисовался ее профиль, могучие складки одежды... Вот только крепости на Кастели и следа не было. А стоявшая среди города башня, известная под прозвищем «Генуэзская», никак не подходила ей ни по размерам, ни по духу. Домашняя, всем известная башня, окруженная одноэтажными постройками...

О Феодоре, вернее, о женщине, метавшей камни, поднимавшей над головой и бросавшей многопудовые обломки скал, я вспомнила, когда увидела развалины древнего города Мангупа. Поднятый над долиной, окруженный холмами, город этот был столицей таинственной страны Дори. И сейчас он еще остается во многом загадкой для ученых, в XVI же веке польский посол Мартин Броневский о нем и других пещерных городах Крыма писал так:

"...О владетелях и народах, населявших эти города и величайшие замки, нет уже никаких летописей". Только заезжие путешественники посещали мертвые города, дивясь, кто чему. Одни — изобретательности природы, вознесшей к небу белые известняковые мысы, другие — мастерству зодчих, которые нарастили высокие стены над естественными откосами. Недоумевали: впечатление было такое, будто вечно стояли без обитателей эти дворцы, эти казематы, всегда были пусты эти конюшни, никогда живое колесо не катилось по огромной, продавленной в толще известняка колее...

Величие построек и неожиданность местоположения Мангупа смущали посетителей, и они не знали, какому народу приписать возникновение его. Многие считали: Мангуп-кале основать под силу было только туркам. К

тому же Кале значит *крепость* именно по-тюркски. А может быть, Мангуп — византийское или генуэзское поселение? Нет, не похоже, эти строили свои города у моря, чтоб легче было сообщаться с родиной. Только в последнее время историки и археологи стали связывать именно с Мангупом глухие упоминания в письменных источниках о некоей стране Дори, о княжестве Феодоро, о тамошних князьях, которые были в родстве с самими Палеологами, последней династией византийских императоров. А один, по имени Исай, чуть было не женился на дочери великого князя Московского Ивана III. По меркам Таврии княжество Феодоро раскинулось широко между Главной грядой Крымских гор и предгорьями. Владения феодоритов на юге и западе выходили к морю, и поэтому еще одно название было у княжества — Поморье.

Со стен Мангупа не то что соседние земли — даже Чембало было видно, а находилась эта генуэзская крепость на месте нынешней Балаклавы. И стояла там одинокая башня над узкой бухтой, а бухта перетянута была длинной цепью: чтоб не зашли чужие корабли. Стерегли генуэзцы бухту от турок. И от соседей — феодоритов, кстати, тоже.

Ходит по стене своего города жених Исай, примериваясь к тому, как он определится в зятя к Московскому князю. Исай не так уж молод, но нетерпелив. Надоело ему непрочное равновесие сил между его княжеством и генуэзскими городами. Возникли по всему побережью крепости одна против другой, смотрят зрачок в зрачок узкие бойницы. Не спят генуэзцы, ворочаются, а не замыслили ли именно в этот момент феодориты что-то против них? И его, Исаю, подданные не спят: генуэзцы ведь не просто хитры —

они коварны, от них всего можно ждать. Но скоро ему, зятю Московского князя, нечего будет бояться...

...Однако честолюбивым замыслам Исаия не суждено было сбыться. К берегам Крыма не более чем через месяц после описанной ночи пришли турки. С разбегу взяли Кафу, сломали сопротивление Сугдеи и ринулись в глубь полуострова. Перед стенами Мангупа враг остановился надолго.

Пять раз ходили на приступ турецкие войска — все безрезультатно. Наконец город пал, население его было вырезано в отместку за мужество. Оставшихся в живых увезли за море. Так весной 1475 года кончилась прочная и громкая слава княжества Феодоро, соперничавшего некогда в силе с генуэзцами.

Новая слава Мангупа была зловеща: Мангуп стал тюрьмой, местом заточения пленников, за которых ставленники Турции, крымские ханы, ждали богатого выкупа.

Потом и вовсе опустел неудобный, на тычке построенный город. Времени сопротивлялись только стены его да легенды, вроде той, о царице Феодоре. Здесь, в Мангупе, существовала безымянная даже в летописи, но описанная в своем могучем порыве женщина. Она была из княжеского рода, а какая? Кто скажет теперь... И, может, обломки скал в ее руках — только дань воображению? А поднимала она, не давая отчаяться, только голосом своим, только слезами или силой характера?

И вот еще подробность, тоже запечатленная летописью: ее маленький сын был единственным,

уцелевшим после взятия Мангупа, потомком княжеского рода.

О мальчике этом известно: когда он вырос в Турции, султан послал его ко двору Московского великого князя (уже Василия III) в качестве дипломата с сохранением титула князя Мангупского. О матери же его подробностей мы не знаем, была — и все.

Стоит посреди полуострова мертвый город, больше всего похожий на памятник самому себе... И, может быть, моя догадка насчет царицы наивна, лишена достоверности, но всегда думаю о ней, только услышу: Мангуп. И еще думаю: стены Кафы были тоже высоки, да, видно, не в высоте стен дело. Для генуэзцев родина все-таки была за морем, а для феодоритов единственная — здесь.

Родственник Грозного

В мае пещерные города Мангуп-Кале и Чуфут-Кале в белых, тяжелых от росы цветах боярышника. Боярышник на воле пахнет тонко, нежно и печально. А куст, устремленный ветром к обрыву, похож на большое крыло вот-вот готовой улететь птицы.

Если по высокой траве, скрывшей старые тропинки и старые фундаменты, подойти к остаткам крепостной стены и глянуть вниз — дух захватит: так широко видны окрестные холмы, поросшие лесом, приютные долины и синие ущелья, так далеко внизу вьется узенький шнурок дороги, раздваивается, уходит и вас зовет. Словно это и не связь всего-навсего между селами или перевалами, а некий символ, призыв, против которого нет сил устоять. Но вы и в самом деле можете спуститься вниз и запылить на «москвиче» или «газике» в любую сторону, прочь от

бурых ракушечниковых стен. А представьте, как смотрел на дорогу пленник, за которого то ли дадут выкуп, то ли нет; то ли разменяют его на Донце на знатного мурзу, то ли так вот и гнить ему в сырой яме, вытесанной в толще ракушечника. Не одна такая яма сохранилась до наших дней, но сегодня все захвачено дерезой, шиповником, смотрится весело. Экскурсовод останавливает идущих за ним, говорит об удивительной жизни Афанасия Нагого, родственника Ивана Грозного, иногда путает, приплетая к его биографии еще и то, что случилось с царским воеводой Шереметевым сто лет спустя...

Афанасий Нагой прибыл в Бахчисарай, ставший к тому времени столицей Крымского ханства, первым послом окрепшего государства русского. Однако очередной из быстро сменявшихся ханов Гиреев этой силы еще не осознал. Стал по обычаю торговаться:

— Король польский мне дает казну ежегодно, а твой государь со мною бранится. Пусть шлет казну — будем говорить.

— Государь наш дружбы не покупает, — уже так мог сказать посол, и ногу мог смело выставить вперед, и шубой с царского плеча тряхнуть. Не свой гонор показывая, а помня: за ним стоит государство, набравшее силу.

— А я люблю того, кто больше денег дает...

Не один день прикидывал хан и так и этак: кому обещать мир — Польше или России? Лучше, пожалуй, с Польшей напасть на Москву. Авось удастся отбить Казань и Астрахань? Хотя нет, вряд ли отобьешь, да и попутная добыча не верна. И тем более она не верна, что поход затеян султаном турецким, а крымцы ему нужны лишь как живая сила. Велел султан приготовить оружие и

телеги под добычу. Но повезут добычу на тех телегах в Кафу, чтоб переправить за море.

Однако все равно, верна добыча или не верна, уплывет в Турцию или осядет в нарядном городе Бахчисарае, готовиться надо. Султан велел.

Послу, разумеется, о походе на Москву не говорят. Посол в это время сидит в яме, в колодках, рассуждает по свободному времени об участи своей и своего отечества.

Надо сказать, что и в обычной, более спокойной обстановке посла не балуют. Гирей охоч на всякие унижительные процедуры, без коих в его покои не взойдешь. Кроме того, разрешает унижать посла любому: дворцовой страже, просто всаднику на улице, который обдаст грязью из-под копыт коня, прошипит: "У, нечистый, собака. Зачем сидишь здесь? Не нужен — если Астрахань с Казанью для нас у своего государя выпросить не можешь".

На что Нагой по повелению Ивана Грозного отвечал: "Когда то ведется, чтоб, взявши города, отдавать их?"

А вообще, что за характер был у этого облеченного властью царского родственника! Его и в колодки забивали, и взащей грозились выгнать из Крыма — он все терпел, понимая, как может помочь родине. Ходил по чудному городу Бахчисараю, прислушивался к пестрой, разноязыкой толпе, поил "для вестей" турецкого агу и прочих. Всю обстановку знал чуть ли не лучше хана. Однако, как ни старался внушить хану, что с сильным соседом задираться не стоит, не все от его уговоров зависело. 17 000 турецкого войска прибыло в Кафу, к ним присоединилось 50 000 крымцев, и все это двинулось

по Дону на *каторгах*. А каторгами назывались всего лишь гребные суда, где прикованными к скамьям сидели рабы, пленники, и среди них много русских, даже и послы в качестве гребцов-каторжан встречались. Нагого участь подобная миновала, а других — нет...

Что же касается Казани и Астрахани, в том походе они вовсе взяты не были, и хан попросил эти два ханства за *Нагого*, в момент из посла превратившегося в пленника. Попросил на авось, отлично понимая, что никто их ему не отдаст. Не та, как сейчас говорят, ситуация.

Хотя почему — не та? Три года сряду на Руси неурожай. А теперь еще и мор. Ослабела Русь — бери ее голыми руками. И весной 1571 года в самом деле набежали крымцы на Москву, сожгли ее предместья и ограбили. Добраться до Москвы без боя хану помогли бояре-изменники. В тот раз в полон взяли много русских, говорят — до ста пятидесяти тысяч. То-то был рынок в Кафе! Красавиц продавали в турецкие гаремы, русских мамок — в далекий Египет. Считалось — нет кормилицы лучше: будет она жалеть и чужое дитя как свое. Продавали молодых мужчин на каторги всех морских держав, включая Испанию. И ее армады не на этой ли мускульной тяге, не на этих ли живых моторах ходили к чужим берегам, когда не случалось ветра?..

Я брожу по Бахчисараю поздней весной, цветет боярышник; сильно — жизнью, солнцем пахнет молодая трава, и даже разогретые камни тоже пахнут, — в расселинах их проклюнулся чабрец. Пытаюсь представить, что чувствовал Афанасий Нагой в мае 1571 года, глядя вот на это цветение, на эти минареты, на эти нарядные кровли, на чужую, но в чем-то уже привычную

жизнь? Что испытывал он, когда в город пригнали пленных? И что, когда узнал об измене, указавшей открытую дорогу к стенам Москвы?

"Чайки" в Кафе

Почему это возле крепостей земля похожа на пепел, а рано засохшая мусорная трава покрывает склоны холмов, как ржавчина? Во всяком случае, в Судаке так и здесь, в Феодосии, у Карантина так. И одинаково тут и там растет куст сурепки на крыше старого храма, цветет низкорослая, обтрепанная персидская ромашка.

Башня Климента и вторая Угловая, и та, что у нынешнего рыбацкого причала, стоят рыжими, шершавыми громадами, сложенные из побуревших плит известняка. А где подходили к городу «чайки» гетмана Сагайдачного, завернув сюда после взятия Синопы и Трапезунда, точно сейчас никто не скажет.

Может быть, некоторые из них уперлись носами в песок вот здесь, где стоят четыре моторные фелюги? А может быть, казаки, опьяненные веселой удачей у турецких берегов, подгрести ночью прямо к подножию холма, на котором стоит Угловая?

Операция Сагайдачного — это был десант в самом прямом смысле слова: подошли на судах с моря, высадили войско, прокрались под покровом ночи к цитадели... Через триста шестьдесят лет никаких следов не могло сохраниться и не сохранилось от набега, кроме упоминания в летописях и песнях. А стены — стоят. Всюду на мелководье дотлевают железные останки другого десанта, тысяча девятьсот сорок первого года. Белые птицы обсели ржавое железо. Штиль такой, что

отчетливо розовеет на шелковой воде слабая радужная полоса мазута. Тишина.

Обыкновенно в таких случаях говорят: закрой глаза и увидишь... Сколько ни закрываю, не могу увидеть, как берут эти стены люди, вооруженные только пищалями да легкими пушками. Так же, как не могу представить те тридцать тысяч невольников, которые томились за стенами Кафы, ожидая своей участи. Единоновременно — тридцать тысяч. Одних продавали, других пригоняли на их место...

Зажурилась Україна, що ніде прожити,
Витоптала орда кіньми маленькі діти...

Так поют те, кто остался дома, в сожженном селе, а других гонят далеко, уже и из глаз пропали. Пахнет степь полынью и тоской, бредут пленники «связкой»: руки скручены сыромятными ремнями, сквозь ремни продеты деревянные шесты; так и на базар выведут в Кафе, проклятом городе.

Татарам хорошо, под ними крепкие кони, на одном едешь, два других отдыхают. Всадники предвкушают, как будут делить ясырь, продать выкликая: "Вот новые, простые, самые не хитрые рабы, зубы белые, крепкие, мышцы — канаты, гнали их из-под басурманского города Тернополя, ни один не пал..."

А ненасытная Кафа уже ждет. Перекупщики ходят по городу, оттопырив ухо: прислушиваются, откуда еще, кроме Стамбула, поступили заказы, кто может набить цену на раба... Но цены не растут. Пленные из Московии, с Украины идут еще дешевле прочих: ненадежны, могут убежать.

В Кафе пленников погрузят на корабли, и будут они уже не пленники — рабы. Повезут их через море, и тех, кто умрет, сбросят в волны, а оставшихся ждет разная участь: мальчиков заставят забыть обычай отцов, отдадут в янычары. Станут они "детьми султана", свирепой гвардией, которой поручаются самые рискованные и кровавые набеги. Молодых женщин продадут в гаремы. На стариках и старухах, как на дичи, будут учиться стрелять дети турецкой знати. А тех, кто в силе, скуют цепями, заклеят, погонят на работу.

Кто был уже в полоне, да вырвался по какому-то случаю, рассказывает, каково в туретчине. Показывали казаки рубцы на спинах, незаживающие раны на щиколотках, спрашивали: неужели же не дрогнет казацкое сердце за товарищей?

Сердце вздрагивало, обливалось кровью...

...В 1615 году, как и во многие другие годы, казаки валили лес, «шили» из него узкие, в 16 метров длиной лодки «чайки», смолили днища, готовили вязанки камыша, чтоб приторочить к лодкам — для устойчивости.

Старые кобзари ходили по пыльным селам, пели о турецкой неволе. Волосы на голове у слушателей шевелились сами собой, когда глухие голоса как будто издали выговаривали:

Село наше запалили

І багатство розграбили

Стару неньку зарубали,

А миленьку в полон взяли...

Кобзари пели не только для того, чтоб облегчить душу. У них была еще цель: создать, говоря современным слогом, общественное мнение. Пели затем, чтоб не забыли те, кто руководил походом, завернуть в Кафу после удачи своей в Синопе. Богатство, как известно, делает человека забывчивым, а тут, гляди, вспомнят, услышав в сердце дальний рокот бандуры.

...К Кафе подошли ночью. Стояли на воде высокие каторги. Казаки всматривались в них глазами, привыкшими просверливать тьму. Неужели твой брат, Дмитро, вот тут где-то совсем рядом тяжело дышит во сне, прикованный к тяжелому веслу? А про Петра точно люди говорили: таскает камни в городе, а ноги у него под кайданами гниют... Куда Петро таскает камни? Не на поновление ли башен, что выступили вдруг из темноты, закрыв собой полнеба?

Гребли так, что головы чуть не касались колен, а весла гнулись и поскрипывали в уключинах, хоть были те хорошо смазаны. Половина казаков гребла, другая стояла наготове. Еще взмах весел, еще, еще, и можно будет, зацепив каторгу крючьями, вскочить на ее палубу! А там пойдет пирушка!

Жестоки средние века, дешево стоит жизнь человеческая, а все равно ради нее, не ради заморских тряпок или золота шел в поход и Грицко, и Петро, и веселый Василь, у которого семерых братьев угнали в неволю.

Как разыгралась битва, ни летопись, ни другие документы до нас не донесли. Только потом всплескивали руками современники и очевидцы:

"Казаки так отважны, что не только при равных силах, но и 20 «чаек» не побоятся 30 галер падишаха", —

говорил итальянец д'Асколи, живший долгое время в Крыму.

"Можно без конца перечислять преимущества казацкой милиции, — вторит ему польский историк Пясецкий. — По словам самих турок, никого они не страшатся больше казаков".

А султан, как свидетельствует украинский летописец Григорий Грабянка, восклицал в досаде: "Когда окрестные панства на меня возстают, я на обидви уши сплю, а о казаках мушу единым ухом слухати".

...Тридцать тысяч запорожцев пришло тогда в Кафу на легких своих «чайках». Были среди них, конечно, и такие, что жили до того невольниками в городе и знали все ходы-выходы. Они и привели, очевидно, всю братию под стены так, что крепость была взята, хотя сегодня представляется это почти неправдоподобным.

Одно дело прочесть: пришли и — взяли. Другое — вот здесь, в бывшем Карантине, походить по пепельным холмам, представить, что нужно было взять...

Находившись, я сижу на скамейке, поставленной над обрывом в зарослях дерезы. В той башне, которая стоит у самой воды, рыбаки устроили себе кладовку и носят туда корзины со сладкой рыбой барабулькой, у которой есть и другое название: «султанка». Прошел по палубе старой фелюги рыбаки, нога не сгибается в колене. И другого хромого я минут пять назад видела на причале. Это — тоже война, как и то рваное ржавое железо, чуть выступающее над водой, которое нарядными белыми бусами обсели чайки...

Говорят, именно в чаек переселяются души погибших в море рыбаков. И вот так на мягких, быстро

трепещущих крыльях подлетают почти к родному порогу. А как быть с душами погибших казаков? Или с теми, кто ушел на дно, прикованный к своей скамье на лодке с красноречивым названием — каторга?

Тоже, наверное, прилетают, смотрят на прямоугольные башни, обрушить которые не смогло время, тоскуют, ищут своих. Никакой даже самой малой бусинки не найти от тебя, Настя, никакого следа на шершавом камне, а ямка от маленькой пятки в пыли точно такая же, как если бы ты ее оставила десять жизней тому назад.

...Сзади меня хлопает калитка, выходит мальчик. Мальчика догоняет старушечий трубный голос, таким хорошо кричать с причала:

— Томатного, скажешь, триста грамм. В бутылку набузуй квасу, а в банку бери абрикосового. Полную банку бери, Марина тоже любит абрикосовый!

Урчит мотор на одной из фелюг, старая женщина, присевшая рядом, вслух гадает, куда пойдут рыбаки сыпать сети; кричат чайки, и видно какого усилия стоит им, этим вроде бы легким птицам, удержаться в воздухе на одном месте, прямо над фелюгой, которую они провожают...

Как начинался Севастополь

России нужна вода

Петр I

Как начинался Севастополь

Очень странно, скажу я вам, держать в руках три толстых, обыкновенных, современных тома, на которых написано: "Суворов. Документы". Во втором, например, — сохранившиеся рапорты, письма, реестры о крымских и кубанских делах после Кучук-Кайнарджийского мира.

Турция в те времена все еще не могла поверить, что Крым она уже потеряла, что Россия уже вышла к воде. К тому самому Черному морю, к которому рвалась со времен Петра I и которое когда-то, в средние века, именовалось морем Русским.

Обстановка в Крыму была зыбкая, тревожная. Между тем требовалось соблюсти интересы России без выстрела, чтоб сгоряча не влететь в новую войну с Турцией, к ней Россия еще не была готова. Войсками в это время в Крыму командовал не кто иной, как Александр Васильевич Суворов.

В жизни Суворова так много блистательных страниц, что биографы его обычно пропускают страницы крымские. В самом деле, он здесь скучал без боевых походов, болел лихорадкой, томился от капризов бахчисарайского хана Шагин-Гирея, досаждавшего мальчишеским тщеславием, неумением наладить

отношения со своими же подданными, глупым, заведенным ни к чему французским политесом. Впрочем, в том ли заключалось главное? Важно, что положиться на Гирея нельзя: чуть что случится, перевернется к туркам. Положиться нельзя, а использовать в интересах России — можно.

Главный же интерес — освободить полуостров от турок окончательно. Что значит: выдворить их без выстрелов, даже худого слова не говоря, из Ахтиарской бухты, где стоят их корабли, неведомо на что питая надежду. То ли выжидают, то ли дерзят всем своим видом: землю, мол, вы у нас оттягали, а на море наша сила. Нечего вам против нас выставить. И действительно: пока нечего.

Но и на турецких кораблях положение, как говорили перебежчики, тяжелое: войско голодает плачевно. Высадиться на берег для закупки продуктов им не удастся, но и приказа отправляться назад в Стамбул они не получают. Иные турецкие корабли хитрости ради поднимали русский флаг, следуя мимо прибрежных укреплений. Иные готовы были по-петушиному задрать, втянуть в сражение любое русское судно.

"Что будет, — спрашивал Суворов фельдмаршала Румянцева, — если стамбульцы выгрузятца, укрепятца, моих внушений угроз не внимут, внедрятца внутрь земли? Вооруженная рука то зло одна превозможет!"

Однако именно о вооруженной руке даже речи вслух не должно было быть. А конфликт назревал — прорвалось напряжение в июне 1778 года. 16 числа в рапорте своем по начальству Суворов описывает вероломное нападение трех турок на донских казаков, одного из которых они убили и ограбили.

Дабы неповадно туркам было и дальше следовать по скользкому пути, который мог, наконец, привести к нарушению мира, Суворов требует, чтоб турецкий адмирал сурово наказал виновных.

Адмирал медлит. Нрав Суворова не позволяет бездействия. Между тем, как действовать? Как, если главная забота не подать Порте Оттоманской прицепки в нарушении якобы со стороны Российской дружественного союза? Тут приходится воевать не числом, не умением даже, а одной хитростью, выдумкой дипломатической. Таланта такого рода современники в Суворове не подозревали. Однако он у него был.

Прежде всего, Суворов пригласил с собой Шагин-Гирея верхами объехать берег, ту самую часть его, которая особенно хорошо просматривалась с турецких кораблей. Суворов все время держался рядом с Шагин-Гиреем, показывал туркам, с кем теперь дружит крымский хан. Да как дружит — так и пляшет его тонконогий черный конь рядом с суворовской широкоспинной кобылой! А сам Шагин-Гирей только что в лицо не заглядывает русскому генералу.

Но прогулка была не просто прогулкой ради порчи нервов турецкому командованию. Суворов еще раз осмотрел места будущих укреплений Ахтиарской бухты. И ночью 15 июня отдал приказ трем батальонам "с приличною артиллерией и конницей" начать скрытно земляные работы по обе стороны бухты. К рассвету, был приказ, работы прекратить.

Утром Гаджи-Мегмет, командующий турецким флотом, увидел позади кораблей, у входа в море, довольно значительные укрепления, а на них — ни единого человека. Что такое? Зачем? Уж не хочет ли

хитроумный Суворов запереть корабли в бухте? От Гаджи-Мегмета к Суворову полетел скорее нервный, чем обоснованный вопрос: что все это значит?

Впрочем, начиная работы, Суворов как раз рассчитывал на то, что у турецкого адмирала не выдержат нервы.

Морща в усмешке тонкие губы, Суворов писал размашистый ответ: "Дружески получа ваше письмо, удивляюсь нечаянному вопросу, не разрушили ли мы обосторонней дружбы... К нарушению взаимного мира никаких намерений у нас нет, а, напротив, все наше старание к тому одному устремлено, чтобы содружество сохранить свято. Итак, мой приятель, из сего ясно видеть можете мою искреннюю откровенность и что сомнение ваше выходит из действия вашей внутренности"...

Надо думать, иронию послания Гаджи-Мегмет понял. Но дело было сделано: «внутренность» адмирала не выдержала — неприятно, почти невозможно было наблюдать, как за спиной у тебя вырастают укрепления. Гаджи-Мегмет отдал приказ своим кораблям: из бухты выйти! Ветра не было, весельные лодки тянули фрегаты из гавани — такую порол спешку турецкий адмирал.

Потом Гаджи-Мегмет локти себе кусал, поняв, сколь опрометчив был его приказ. Суворов же мог не без торжества наблюдать турецкие корабли, освободившие Ахтиарскую бухту и стоявшие на рейде напротив деревень Учкуй и Авлита.

А бухта была доподлинно хороша. Или, может быть, к красоте и удобству ее многое добавляло то, что и туркам она приглянулась? Засватанная девка, известно, всем кажется краше. Но нет, бухта была точно хороша —

в белых берегах, кое-где поросших лесом, узкая, недоступная ветрам, прозрачная...

Между тем Гаджи-Мегмет решил зайти снова в нее, якобы за пресной водой. Его не пустили. Проторчав несколько дней в виду строящихся русских укреплений, флот ушел в Синоп.

Императрица Екатерина отметила заслуги генерал-поручика Суворова. "...За вытеснение турецкого флота из Ахтиарской бухты" Суворову пожалована золотая табакерка. Слово *вытеснение* очень точно передавало суть дела.

Однако турки на том не оставили свои притязания. Уже в августе того же 1778 года их флот численностью более 170 «флагов» вновь приблизился к южным берегам Крыма, а затем блокировал все побережье от Балаклавы до Кафы. Ну что ж, корабли, как на прогулке, дефилировали взад-вперед вдоль берегов, пытались приглядеть место удобное для десанта. А по бурой от пыли и выжженных трав прибрежной степи, тоже взад-вперед, передвигались русские войска. Турки просились "сходить на берег для прогулки, — отказано под карантином; нескольким чиновным посидеть в Кафской бирже — отказано; набрать на суда пресной воды — отказано; той воды несколько бочонков — с полной ласковостью отказано" — так доносил в реляциях Суворов, провожая взглядом турецкие корабли, взявшие обратный курс на Константинополь.

Ставка турок на восстание татарской знати в Крыму провалилась. Укрепления береговой линии не разрешали надеяться на легкий успех. Эти укрепления и были, по существу, началом военному городу Севастополю. Я подумала так, стоя в Ленинграде в Александро-Невской

лавре. Стояла я там над надписью на мраморном полу: "Здесь лежит Суворов". И никаких объяснений к этой чисто суворовской краткости. А уж если русский ты, должен сам знать, кто такой Суворов.

И мне захотелось написать о летних зеленых с белыми срезами холмах Севастополя, чтобы напомнить: "Здесь тоже стоял Суворов!" Стоял, нагнулся для чего-то, помял в маленькой быстрой руке комок земли, кивнул солдату, поднявшему к нему загорелое лицо:

— Ну, услужил, братец, услужил! Не с твоей ли лопаты город начался? Большой город, упаси бог: опора флоту, берегам — крепость, слава оружию русскому.

Несколько случаев из жизни Федора Ушакова

Писать об Ушакове мне, признаюсь, долго не хотелось. Рядом привычно блистал остроумием и удачливостью Суворов и затмевал адмирала, сочинявшего пространные реляции, а также жалобы Потемкину на то, что его затирают, чернят бездарности граф Мордвинов, контр-адмирал, и граф Войнович, контр-адмирал.

Что оба графа и действительно были бездарности, а также тормоза российскому флоту, — из истории очевидно, но лицо самого Федора Федоровича взглядывало на меня с портретов до того постно и достойно, что рука не поднималась писать о чужом человеке. И вдруг случился случай: я увидела еще одно изображение Ушакова, причем столь же документальное, как если бы могла существовать фотография великого флотоводца. Дело в том, что это была опять-таки

реконструкция М.М.Герасимова, представившего нам истинные, не приглаженные модой черты.

И тут, глядя на сильное, огрубелое в опасностях войны лицо, я почувствовала связь между этим человеком и давним моим понятием слов — флотоводец, полководец. Тут легко мне стало писать о том, без которого, как считают историки, не было еще настоящей славы русского Черноморского флота, а ведь флот без славы как бы и не существует вовсе. Есть корабли, более или менее удачно построенные, но флота еще нет.

Ушаков сам создавал Черноморский флот на верфях Херсона, Севастополя, и сам завоевывал ему славу в битвах при Фидониси, Керчи, Тендре, Калиакрии. Все подробно рассказать об этой длинной жизни флота и флотоводца невозможно в рассказе на несколько страничек. Но — две истории.

...Федор Федорович Ушаков не перебивал греческого шкипера, когда тот наивно хвастался товарами: оливковым маслом, изюмом, лимонами. Расспрашивал. Грек сказал, что султан турецкий, разгневанный и удрученный прошлогодними поражениями в Керченском проливе и у Тендры, призвал из Алжира несравненного по удачливости корсара Сеид-Али с тем, чтоб корсар тот, наконец, разбил русских...

На этих словах грек для приличия слегка споткнулся, но потом продолжал:

— А еще Сеид-Али грозился, ваше превосходительство, Ушак-Пашу в плен взять и в клетке в Константинополь доставить.

Федор Федорович Ушаков был мнителен и обидчив. Порой ему чудился шепот за спиной или перемигивание, которых не было. А порой он и в самом деле ловил завистливые или злорадные взгляды. Сейчас адмирал как будто заметил тонкую улыбку переводчика, которую тот, впрочем, поспешно слизнул с сухих губ.

Ушаков задал греку еще несколько вопросов, но расспросить насчет угроз Сеид-Али так и не решился, хотя самого кольнуло, и пребольно.

С глазу на глаз говорить об этом он бы стал, но то, что тут переминался офицер-переводчик на красных своих каблуках, мешало. Адмирал уже видел: побежит, растрепывая в спешке букли, известие-то какое! То-то радость друзьям графа Мордвинова, то-то веселье сторонникам графа Войновича! Слушайте, господа, что алжирский корсар грозитя сотворить с нашим выскочкой, с нашим лапотным дворянином!

Тут надо заметить, однако, что лапотным дворянином Ушаков, как бы опережая насмешки, часто называл себя сам. Может быть, и мнительность его родилась из того, что был он бедного рода, а вокруг, куда ни глянь, — одни титулованные. Разве ж с такими потягаешься в достатке, в манерах? О нем вон и в Петербурге говорят, что пушки русских кораблей бывают красноречивее под его командой, нежели он сам...

...29 июня 1791 года, оставляя Севастополь, выходя на встречу с турецкой эскадрой, чтоб любой ценой навязать ей бой, Ушаков выходил как бы еще и на поединок, где драться предстояло на кулачках, как дрались в его родной деревне парни с разных "концов".

Нетерпения такого рода трудно было ждать от этого обстоятельного, сорокашестилетнего человека с тяжелым

лицом и любовью к длинным объяснительным запискам, но, как бы там ни было, оно как раз и охватило его.

Командующий держал флаг на корабле "Рождество Христово". Корабль отличался лучшим в эскадре ходом и имел 84 пушки. Вторым по достоинствам своим шел бывший турецкий «Мелики-Бахри», взятый в плен у Тендры и переименованный в "Иоанна Предтечу"... А вообще-то перевес сил был явно на стороне турок, но рапорт Ушакова Потемкину пестрит такими выражениями: "Я спешил атаковать"; "я нагонял его"; "я гнался за ним".

Как это было похоже на Ушакова и как противоречило науке морского боя, которую навязывали русскому флоту иностранные авторитеты вот уже сто лет подряд, учившие *уклоняться*, но не наступать. Ушаков остался и в этом бою верен своей тактике: с ходу ударил по врагу, оттеснил флагманский корабль, предоставив своим кораблям наносить удары противнику согласно конкретным обстоятельствам, а не уставным предписаниям... Но сколько к тактике примешалось еще и личного жара, когда Ушаков встретился в бою с Сеид-Али! Он ему попомнил железную клетку и отрезанные уши, когда ядро за ядром посылал в развороченную корму турецкого корабля и кричал:

— Сеид-Али, бездельник! Будешь еще хвастаться или зарок дашь? — Весь покрытый копотью, он был страшен в азарте боя. Пот градом струился по загорелому лбу, застилал глаза. — Вот тебе за клетку! За то, что не меня — флот русский оскорбить осмелился, адмирала его не почитая равным! — Ушаков сорвал с себя парик, вытер им лицо, рука так и застыла, вцепившись в фальшивые букли, жестоко потряхивая

ими в моменты особенно успешного маневра или при хорошем попадании.

Впрочем, и турецкий командующий почувствовал, что бой как бы перерастает обыденное. Под вой своих подчиненных, сбиваемых с палубы меткой картечью, Сеид-Али велел одному из матросов взобраться на верхнюю рею фок-мачты и гвоздями приколотить флаг, чтоб команда не могла его спустить.

А может быть, тут был некий вызов Ушакову, наблюдавшему маневр с флагом в непосредственной близости?

Во всяком случае, неслышимый стук молотка Ушакова подстегнул, и "Рождество Христово", огромный корабль под многотонными парусами, легко, как гребная лодка, повернулся, обходя турецкий флагман «Капитанию», разряжая свои пушки в ее пышную золоченую корму. Откалываясь, сыпалась в воду резная обшивка, металась команда, выскочил на палубу человек в богатой пестрой одежде — может быть, сам Сеид-Али, гроза Средиземного моря? Грозил равно и русским и своим кораблям, рассыпавшимся в беспорядке, наострившимся удирать.

Угрозы возымели действие: четыре судна прикрыли собой «Капитанию», и теперь с ними со всеми вел бой Ушаков, собираясь потопить и второй корабль под этим несчастливым для турок наименованием, как потопил первый в прошлогодней битве при Тендре... Однако внезапный штиль помешал Ушакову.

Ночью после разгрома под Калиакрией «Капитания» шла к столице, буквально затопая на ходу; пушечные

выстрелы ее, требовавшие помощи, взбудоражили спящий Константинополь.

Султан поспешил заключить мир с Россией.

...Матрос, лежавший на койке в углу, был совсем плох.

— Необходим при лечении сей лихорадочной маяты бульон хорошего навара, — доктор, подумав, добавил сокрушенно: — И прочее соответственно...

И вдруг адмирал узнал матроса. Это был Василий Голота, гребец со шлюпки, что в памятный день 8 июля 1790 года в Керченском проливе подобрала в море флаг турецкого подбитого корабля. Теперь матрос отплывал в иной мир, где ему не придется страдать ни от турецких пуль, ни от скудости казны...

— Семнадцать! — зло сказал адмирал, ударяя сам себя кулаком по ладони. — Семнадцать служителей потеряли мы в славном деле при Калиакрии. Двадцать девять в баталии у берегов Керчи, а нынче в Севастополе, у себя дома, без славы, и без боя каждый месяц отдаем смерти более двухсот!

Доктор, втянув голову в плечи, закивал согласно. Потом адмирал отправился домой и вот пишет расписку, в которой одной видит выход. Предстоит занять денег под залог дома, того самого, где он сидит, обдумывая пути и возможности дальнейшего развития флота и порта...

Дальнейшее развитие и даже просто поддержание состояния благополучного требует денег и денег. Казна денег не дает ни на медь для обшивки кораблей, ни на мясо для матросского рациона. Война с Турцией кончилась, мир заключен почетный и выгодный, флот

подождет. Ждать не могут столичные маскарады, золоченые кареты цугом — флот ждет.

Федор Федорович отложил перо, загибая пальцы крупной руки, стал считать, в который раз закладывает дом свой. Не в том заключалось постыдное, что закладами этими он давал понять: за столько-то лет службы не скопил надобных ему пятнадцати тысяч. В краску вгоняло, что казна не имела для Севастополя тех денег.

Кроме долговой расписки, в тот день 18 октября 1792 года написал адмирал еще приказ "О сохранении здоровья матросов и об улучшении их питания", о том, что крыши казарм можно крыть местной черепицей, а окна, за неимением стекла, затягивать парусиной, но не допускать, чтоб за скудным содержанием ослабленные служители мерзли. Также не допускать, чтоб мерзли они на работах рано утром и в туман. В приказе предписывалось также заготовлять хрен, солить капусту, следить за тем, чтоб порция матросская содержала 1/2 фунту говядины, по тому же числу капусты. На соблюдение такового рациона по флоту полагал Ушаков своих "десять тысяч отпустить в контору Севастопольского порта для покупки свежих мяс, а три с половиною тысячи госпитальному подрядчику Курапцову для содержания госпиталей".

Окончив писать, Ушаков поморщился, вспомнив: среди прочих насмешек графа Войновича и графа Мордвинова была та, что еще с Херсона дразнили они его клистирных дел мастером. Наверное, то, что в совсем молодых летах победил он там чуму, вызывало зависть. Но что, кажется, завидовать? Не проще ли проявить собственное рвение по службе? Однако ни один из

графов землянок госпитальных под Херсоном рыть не бросился. Здесь, в Севастополе, за мастера не работал, носилок с камнями не таскал, болот у пристаней не гатил. Зато зубоскальству нет конца: "последние портки лапотник наш в заклад несет, чтоб прикрыть дыры, коими флот сквозит при его управлении". И лица — спесивые, равнодушные, страшно сказать, к самой России...

Адмирал Сенявин

Однажды два петербуржца беседовали на балконе. "Видишь ли ты этого господина, который тащится по набережной, так гадко одетый? — спросил один. — Это великий человек! Это нищий, которому казна должна миллионы, истраченные им для чести и славы отечества. Это адмирал Сенявин!"

...Но начнем с начала. В юности Сенявин был строптив, дерзок, страстен в своих увлечениях и сумасбродствах. Ушаков, чуждый суетным радостям, недолюбливал его. Однако годы спустя великий флотоводец убедился: нет у него лучшего преемника, чем веселый, громкоголосый и удачливый Сенявин.

Младший современник Суворова и Ушакова, Сенявин жил во времена, когда под озадаченные возгласы Запада, под бормотанье блистательной Порты — смотря по обстоятельствам то озлобленное, то умильное, — в Черное, а затем в Средиземное море на всех парусах славы входили русские корабли. Они были прекрасны, и любовь к ним щемила сердце при вынужденной разлуке, наполняя гордостью при одном взгляде на огромные и в то же время как бы невесомые

громады, летящие к родному Севастополю под звуки веселой музыки и гром салютных выстрелов...

Корабли и Севастополь были страстью адмирала. А вот и слова его об этом удивительном городе, куда прибыл он отнюдь не адмиралом — мичманом: "1783 год. Перед обедом, когда командиры все собрались, адмирал (Мекензи) при объявлении им приказа главного командующего говорил: "Господа, здесь мы будем зимовать, старайтесь каждый для себя что-нибудь выстроить, я буду помогать вам лесом, сколько можно будет уделить, все прочее, как сами знаете, так и делайте, более ничего; пойдете кушать".

...Вот откуда начало города Севастополя.

Вот откуда начало его собственной блистательной военной карьеры. Не будем останавливаться подробно на тех ее страницах, что пройдены под началом Ушакова, нас интересует продолжение. Однако нельзя и совсем минут случившееся с капитаном во время второй русско-турецкой войны, начало которой заставило растеряться даже самого главнокомандующего, светлейшего князя Таврического. "Рано! — в ужасе воскликнул Потемкин, обращаясь к Екатерине, — Матушка, рано!"

Сенявин, со своей молодостью и нетерпеливым характером, ничего подобного, очевидно, не восклицал, просто устремился к заманчивым победам. И первую одержал осенью 1788 года у Синопа: "...множество народу турецкого жестоко защищали суда, но транспорты были потоплены" Сенявиным. Шла война с Турцией, которую выигрывал гений Суворова и Ушакова... Сенявин в этой войне еще оставался младшим. А в следующую севастопольский флот отправился к далеким берегам

штурмовать бастионы Ионических островов. Выступила на этот раз Россия в неожиданном союзе с Турцией против войск Наполеона Бонапарта.

"Ура Русскому флоту!.. зачем я не был при Корфу хотя бы мичманом?" — так писал в те дни пылкий Суворов. Сенявин в 1799-м был при Корфу, так что «ура» Суворова и к нему относилось.

Второй раз на Корфу, уже в начале нового века, Сенявин отправился главнокомандующим, сорокалетним вице-адмиралом. Как отмечает современник: "Народ (на Корфу) кричал «Vivat», женщины бросали вверх свои веера", а русские солдаты мирно, но лихо вышагивали по улице, уже названной к тому времени именем Ушакова, бросая любопытные взгляды на прекрасных гречанок или разглядывая непривычные фигуры албанских легионеров.

А рядом, на материке, были земли, куда с часу на час ожидалась французы — земли области Которской, населенной в основном сербами.

Это была земля, политая кровью южных славян и греков в борьбе за независимость. Здесь, как писали современники Сенявина, "каждый камень может служить памятником геройских защит и удачных нападений, всякая скала помнит чью-нибудь мученическую смерть". Люди, жившие на этой земле, сочинили песню, в которой говорилось:

Сенявин, славный генерал!

Спеши, как можно скорее:

Тебя желают бокезские сербы,

Желают тебя, как сыновья отца.

Тут надо сказать, что победа Сенявина на Балканах была почти ровесницей поражения под Аустерлицем. Александр I мог бы оценить ее особенно. Но не оценил, скорее, испугался в запутанной политической ситуации 1806 года. Адмирал еще сражался за Балканский плацдарм, а ему уже преподносили: "Честь имею сообщить вам, что согласно полномочиям, данным мне его величеством императором, я подписал сегодня окончательный мирный договор между Россией и Францией..."

Надо было уходить с Корфу, уводить войска с Балкан, все победы сводились на нет этой бумажкой. Было жалко жертв, трудов, российского престижа. А, кроме того, Сенявин предвидел в Наполеоне неминуемого врага своего отечества.

С неуловимой быстротой менялась политика Европы все десятилетие с 1797 по 1807 год. И вот в 1807 году, подстрекаемая дипломатами Наполеона, Турция — в который уже раз! — объявила войну России, заняла привычную для нее позицию. Сенявин, отойдя от Корфу, поспешил при известии этом к Дарданеллам, ждал, когда турецкая эскадра оставит константинопольские причалы, примет сражение... Дал туркам наконец 10 мая это сражение, в котором "стремительная атака была ужасна". Бой длился 5 часов, окончился отступлением, но не разгромом турок. И на этот раз, как во времена Ушакова, ими руководил отчаянный Сеид-Али, его не так-то легко было разгромить.

19 июня началось новое сражение при Афоне; сотни орудий "изрыгали смерть и гром, колебавшие не только воздух, но и самые бездны морские. При самом конце

сражения в трех шагах от Сенявина поражен был двумя ударами вестовой, державший его зрительную трубу. Картель оторвала ему руку, когда подавал он трубу адмиралу. И в ту же минуту ядро разорвало его пополам и убило еще двух матросов".

Однако и противник его Сеид-Али находился точно в такой же близости от пролетающих ядер. Турки вообще, по словам очевидцев, дрались "с отчаянным мужеством", предпочитая взрывать свои корабли, но не сдаваться.

За победу при Афоне Сенявин был награжден орденом Александра Невского.

А дальше что? А дальше завистливая неблагодарность плешивого щеголя, Александра I, мнившего себя полководцем, дальше та страница, с которой мы начали: "Сенявин доведен до того, что умер бы с голоду, если бы не занимал денег, покуда без отдачи, у всякого, кто только дает..."

Бредет по набережной пожилой человек в порыжелом платье, в худых сапогах, а на юге империи, над нарядной, как праздник, бухтой, стоит город, в памяти которого Сенявин живет молодым капитаном, молодым адмиралом. Серые матросы и жилистые, прокаленные всеми ветрами офицеры в отставке, говоря о нем, перечисляют победы: при Корфу, при острове Тенедос, при Дарданеллах, в виду афонских берегов. С особым удовольствием величают они Сенявина человеком, "не страшась жертвовать собою пользе и славе Отечества", и вспоминают, что худшим наказанием по эскадре считалось когда-то лишиться ослепительной, ободряющей, сулящей победы улыбки Сенявина...

Потомству в пример

А вот еще одна страница славы Севастополя и русского флота: на Матросском бульваре стоит кораблик на высоком постаменте. Это *первый* памятник в Севастополе, поставленный брига «Меркурий», хотя отлит из бронзы не его уменьшенный образ, а условное подобие греческой триеры. За что же «Меркурию», его капитану Александру Ивановичу Казарскому и всей команде такая честь? Каким подвигом продиктована надпись на постаменте: "Казарскому. Потомству в пример?"

В 1829 году Россия опять воевала с Турцией. 14 мая бриг «Меркурий» и два других русских корабля встретили вдали от своих берегов турецкий флот. Неприятель шел на ветре тремя колоннами, в полнеба развернув могучие паруса: шесть линейных кораблей, два фрегата, два корвета, бриг и еще три одномачтовых судна...

"Штандарт" с «Орфеем» помчались навстречу туркам для полной разведки. «Меркурию» было приказано лечь в дрейф. Ничего еще не предвещало великого дня. Вполне еще можно было уйти в сторону от опасности, да к тому же навести уклончивую турецкую армаду на наш флот. Так и собирался сделать Казарский. Он стоял на шканцах, готовый отдать команду, круглое с некрупными чертами лицо Александра Ивановича было сосредоточенно...

Вдруг на рее русского флагмана появился сигнал: "Избрать каждому курс, каким судно имеет преимущественный ход". Это меняло дело: «Меркурий» предоставлялся сам себе, своей скорости, своей удаче.

Солнце вставало над морем, розовым светом горели выпуклые паруса, расстояние между «Меркурием», самым тихоходным среди русских кораблей, и преследователями уменьшалось. Турки сочли, что нечего всей массой преследовать такую ничтожную добычу. Вперед вырвались два корабля: на одном 110 пушек, на другом — 74, то есть на одно орудие «Меркурия» приходилось 10 турецких, да еще гораздо большего калибра, так что артиллерийская мощь противника в тридцать приблизительно раз превосходила мощь "Меркурия".

Казарский подозвал лейтенанта Новосильского:

— Федор Михайлович, поговорите с канонирами, с Лисенко, с Кабановым, на них вся надежда!

— Понял вас, Александр Иванович.

— Маневр — наше с вами дело, но ведь без канониров маневр обернется пустым фокусом...

Потом были сделаны приготовления чрезвычайные: принесли, по приказу Казарского, и положили у порохового погреба заряженный пистолет; связали в один тюк все документы, судовые журналы, тайные приказы, привязали ядро: на случай, если придется выбросить за борт, чтоб надежнее бумаги пошли ко дну.

Настоящий бой завязался залпом из девяти орудий «Меркурия». Потом бриг получил 22 пробоины в корпусе и 133 в парусах. Потом начинался пожар, валились мачты, ветер уходил в вышину, лишая корабль маневренности. Турки зажали бриг с двух сторон и расстреливали почти в упор, предлагая сдаться, но «Меркурий» отнюдь не собирался этого делать.

В том аду, который царил на корабле, был свой порядок, и не было отчаяния. Отважно вели себя офицеры, чудеса храбрости показывали матросы, старые, бывавшие в сражениях при Сенявине, молодые, еще не нюхавшие пороху.

И вот тут-то, воспользовавшись усилившимся ветром, Казарский сделал свой главный маневр: вывел «Меркурий» из огненных тисков, а турецкие корабли некоторое время еще продолжали, не ведая того, палить друг в друга.

Но и на этом сражении не окончилось...

Был момент, когда, сбив с реи Андреевский флаг, турки решили, что бриг сдается. Был момент, когда зажигательный снаряд упал совсем рядом с пороховым складом и русские решили, что сейчас взлетят на воздух... Ранено и убито было более половины команды, контузило капитана. Едва придя в себя, он вытащил из кармана черный коленкоровый платок, разорвал пополам, одной половиной стянул себе окровавленную голову, вторую протянул матросу, стоявшему рядом: "Перевяжись!"

Лишь к вечеру турки отказались от преследования, боясь налететь на русскую эскадру. А на рассвете «Меркурий» встретился с остальными кораблями. Для героев с флагмана был спущен правый парадный трап, послан за ними адмиральский катер. Явиться Казарскому велели в том мундире, в каком он вел бой. Закопченный мундир висел победными ключьями...

В награду офицеры «Меркурия» получили право внести в свой герб изображение того самого пистолета, из коего в пороховой погреб должен был выстрелить последний оставшийся в живых... О подвиге же

маленького корабля существует свидетельство и самих турок, в одной из реляций писавших: "Корабль капудан-паши и наш вступили с ним в жаркое сражение, и дело неслыханное и невероятное — мы не могли принудить его сдаться. Он сражался, отступая и маневрируя со всем военным искусством, так, что мы, стыдно признаться, прекратили сражение, между тем как он, торжествуя, продолжал свой путь... Если древние и новые летописи являют нам опыты храбрости, то сей последний затмит все прочие и свидетельство о нем заслуживает быть начертанным золотыми буквами в храме славы. Капитан сей был Казарский, а имя брига — "Меркурий".

Тут надо сказать, кроме памятника на Матросском бульваре, подвиг «Меркурия» увековечен еще и тем, что на русском флоте с тех давних времен и по сей день всегда существует корабль, который называется так: "Память "Меркурия".

Три вечных недели

*Кто видел край, где роскошью
природы*

*Оживлены дубравы и луга,
Где весело шумят и блещут
воды*

*И мирные ласкают берега,
Где на холмы под лавровые
своды*

Не смеют лечь угрюмые снега?

*Скажите мне: кто видел край
прелестный*

*Где я любил, изгнанник
неизвестный?*

Златой предел!

А. Пушкин

Три вечных недели

*Друг мой, любимая моя
надежда —*

*увидеть опять полуденный
берег и*

семейство Раевского.

*Из письма А. Пушкина к брату
Льву*

Непосредственным толчком к этому рассказу стала однажды наново прочтенная мной строчка пушкинского письма: "Разноцветные горы сияли". Следующим же

утром подъезжала я к Гурзуфу в тот же приблизительно час и в то же время года, в какое легкий бриг «Мингрелия» доставил сюда когда-то из Феодосии семью генерала Раевского, а с ними двадцатилетнего, опального и романтически настроенного поэта.

Серебром и чернью, коваными гранями сверкал правильный выступ Парагильмена. Адалары — эти сказочные каменные парусники, заснувшие посреди моря, — были кудрявы и розовы в утреннем свете. А остальное все переливалось — от дальних сине-лиловых красок до ближних палевых и рыжих.

Особенно много палевого и рыжего пробивалось на вытертой шкуре Медведя — Аю-Дага. И вдруг глаз поймал на откосе тропинку среди железистых плит и трещин. Стало ясно — это та самая тропинка. Именно по ней "в час утра безмятежный" конь привычно и легко нес поэта, а зеленеющая влага волн блистала и шумела внизу столь же празднично, как блещет и шумит она сегодня.

В Крыму Пушкин, по дороге в кишиневскую ссылку, провел всего три недели. Но долго еще, всю жизнь, пожалуй, память возвращала его к крымским берегам, где вкусил он счастья безоблачного и безгрешного, глубокого. Может быть, самым любопытным в этом свете были строки письма от 10/XI 1836 года: "Как я завидую прекрасному вашему климату: письмо ваше разбудило во мне множество воспоминаний всякого рода. Там колыбель моего «Онегина»: и вы, конечно, узнали некоторых лиц".

А между тем не многие, говоря о прототипах романа, вспоминают эти строки. Рассуждают о Елизавете Ксаверьевне Воронцовой с ее малиновым беретом, о селе

Тригорском близ Михайловского и живших там сестрах Вульф. Но о том, что Пушкин сам назвал «колыбелью», — молчат.

Не будем, однако, вдаваться в литературоведческие споры.

Представим, как плыл корабль, как влажно хлопали паруса и как стоял, прислонившись к мачте, "руки сжав крестом", двадцатилетний гениальный мальчик, а в каюте на узкой койке, поджимая зябнувшие на рассвете ноги, спала пятнадцатилетняя девочка с широким носиком и кудрями, похожими на веселую грозовую тучу. Подумаем о том, что и Пушкину, и Марии Раевской, хотя и по-разному, суждено было стать гордостью нации, высшим выражением ее духа.

Но до тех дней еще далеко. Жизнь только начинается, и Пушкин досадливо морщится на слова капитана. Пушкину не интересно знать, кому из петербургской и иной знати принадлежат прибрежные долины. В груди закипают строки элегии, он чувствует, как они именно закипают, как слезы просятся к глазам, а восторг холодит кожу между лопатками:

Шумы, шуми, послушное ветрило,

Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

Фамилии землевладельцев так не идут к Океану и к той грусти, о которой он еще не знает, что это не настоящая грусть, что настоящая будет впереди... Грусть его слишком молода, в ней есть надежда, а тут еще девочка в каюте, в которой он видит не только грацию, но и душу отважную. Хотя бы потому, как она переносит

опасности путешествия и, смеясь, забегают за черту прибоя во время прогулок.

Я помню море пред грозою,
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам...

Это напишется много позже, и хотя поэт хотел, как будто сказать только о красоте и своем поклонении красоте, сказалось гораздо больше: недаром море предгрозовое и недаром волны бегут, не ластясь, не сияя, но бурной чередою. Он создал и в этих кратких строчках характер. Непреднамеренно, может быть.

Но это — потом, сейчас же, отдав дань романтической грусти, Пушкин чувствует себя счастливым в кругу счастливого семейства. Невозможно, чтоб он не сравнивал, а сравнивая, видел разницу между тем безалаберным, скудным бытом, что окружал его в детстве, и приветливой достоинством дома Раевских.

Когда генерал входил утром в столовую и луч солнца, пробиваясь сквозь густые ветви трех молодых лавров, солдатиками стоявших под окном, ложился на румяную, грубо заросшую бакенбардой щеку старика, на белую скатерть, на медный бок самовара — Пушкину казалось: не может случиться ничего плохого. Генерал, усаживаясь, ширил руки на столе, оглядывал домашних и так же внимательно — Александра. Нет, ничего не могло случиться плохого. Надо было, забыв о краткости отсрочки, купаться в море, подбегать к взлохмаченному ветром кипарису под окном, пробираться по горным

сыпучим тропинкам и вдыхать томительные, как предчувствие, запахи остывающего лета.

Впрочем, царившую в доме атмосферу женского очарования и мужского острого ума Пушкин вдыхал, я думаю, и впитывал еще неутомимей. Он знал цену Раевскому-генералу, герою двенадцатого года, и оттого отеческая ласка казалась еще ценнее. Рука, на минуту задержавшаяся на курчавой, низко стриженной его голове, была рукой человека, спасавшего отечество. Голос, слышный из сада и предлагавший подождать к завтраку Александра, был голосом человека, который отказался от громких титулов, предложенных государем, на том основании, что он и так Раевский...

Пушкин к тому времени уже написал «Деревню» и оду «Вольность», настроил против себя самодержца, но оставался при том почти мальчиком, как и следовало в его годы. А дом Раевских был полон женщин — по образованию, гражданским убеждениям, девочек по летам... О Екатерине Раевской в письме к брату Пушкин сказал: "Старшая — женщина необыкновенная". Елене, безнадежно больной и оттого особо трогательной, посвящены чуть ли не самые нежные строки его молодой лирики: "Смотрю на все ее движенья, внимаю каждый звук речей — и миг единый разлученья ужасен для души моей". А мысли о Марии не укладывались ни в короткую реплику, ни в одно определенное стихотворение.

Подумать только, как много досталось нам из-за того, что Пушкин познакомился с Раевскими! Я ни на минуту не забываю также, что все это случилось на крымской земле, и точно такие же тополя (тогда говорили: тополи) осеняли долину, и точно так же покрытый пухом ломонос полз по каменным россыпям. А

вот и тропинка, по которой "за нею по наклону гор он шел дорогой неизвестной".

Или тропинки не живут по полтора века? Ведь каждое поколение прокладывает свои. Однако след той девочки, с которой вместе поэт подбегал к волнам или взбирался на ближайшие, пышущие зноем холмы, не стерся ни в русской истории, ни в русской литературе.

Есть свидетельство современника, будто сам поэт признавался, что она была идеалом, то есть прототипом черкешенки из "Кавказского пленника". Ей посвящена «Полтава» и, как многие утверждают, с нее списаны характер и наружность Марии Кочубей, во всяком случае, ее походка и грозные локоны. А имя дочери малороссийского гетмана? Возле чернового текста посвящения Пушкин написал по-английски: "Я люблю это нежное имя".

И в самом деле — любил. Оно появилось, прежде всего, в "Бахчисарайском фонтане". И хоть трагическая судьба пленницы ничем не напоминала судьбу дочери славного генерала Раевского, тут есть примечательные моменты. Во-первых, пленница названа Марией... А во-вторых, вслушайтесь в строки: "Седой отец гордился ею и звал отрадою своею", "Для старика была закон ее младенческая воля". Именно отец, о матери — ни слова. Ситуация точь-в-точь такая, как в семье Раевских уже в те крымские дни. А девять лет спустя умирающий генерал произнесет: "Вот самая удивительная женщина, какую я знал", — и кивнет на портрет дочери.

Мария Раевская, давно к тому времени став Марией Волконской, последовала добровольно вопреки воле царя и своих ближних за мужем-декабристом в гиблые Нерчинские рудники. И старик отец, и только что тогда

вернувшийся из ссылки поэт видели ее в последний раз в декабре 1826 года. С нею Пушкин хотел передать в Сибирь свое послание декабристам.

Но это все будет потом, потом... Пока же полдень пахнет разогретым виноградным листом и неширокая струя источника бежит в кувшин, который, играя, ставит на плечо девушка в батистовом платье, отделанном нежным светлым кружевом.

Я не знаю, ставила ли... Но, наверное, ей хотелось проверить, правду ли она похожа стройностью походки на горянку, как многие ей говорили. И не отсюда ли, не от того ли, как скользила она, улыбаясь, мимо поределых от августовского зноя деревьев, пошло: "Как тополь... она стройна. Ее движенья то лебедя пустынных вод напоминают плавный ход, то лани быстрые стремленья". Правда, в поэме говорится: "Как тополь *КИЕВСКИХ ВЫСОТ*", но ведь это уже о Марии Кочубей, у которой был такой же решительный, властный, способный к сильным страстям характер и которую в жизни, не в поэме, звали, кстати, не Марией, а Матреной.

Впрочем, в «Полтаве» самая явная дань Пушкина впечатлениям юности не это сходство характеров, а прямое посвящение: "Тебе — но голос музы темной коснется ль уха твоего?" Коснется ль? Дойдет ли во глубину сибирских руд? "Иль посвящение поэта, как некогда его любовь, перед тобою без ответа пройдет, непризнанное вновь?" Та юношеская любовь и самим поэтом оценилась по-настоящему много лет спустя и всю жизнь диктовала сравнения, убеждая, что значительнее девочки под тополями на крымском берегу он так и не встретил никого.

Вот отсюда и строки письма в Артек Н.Б.Голицыну, и прощальное в "Евгении Онегине": "А та, с которой образован Татьяны милый идеал... О много, много Рок отъял!" Рок — это ссылка декабристов и добровольное заточение Марии Волконской. Рок — это свирепость самодержавия и собственная "изменчивая судьба" опального поэта.

...Если бы можно было отгадать, о чем говорили они, пробираясь тропинкой, заросшей голубыми кустиками поджарой дикой гвоздики. Какая ее шутка, какое суждение заставили поэта остановиться, задумчиво следя, как плоские камешки стекают из-под ног? Тут нет достоверности, тут каждый волен придумывать какие он хочет слова, какие он хочет движения мысли, души.

Но каждый должен помнить: над ними тогда, как над нами сейчас, стояло огромным куполом крымское лето, шиповник был уже весь в праздничных ягодах, крошечные радуги сверкали на каждой чешуйке сланца, горы наводили на мысли смелые и способные к дальнему полету, и становилось понятно: жизнь надо посвятить высокому...

Об этом Пушкин говорил, наверное, с другом своим Николаем Раевским, младшим сыном генерала. И, наверное, прерывая серьезные разговоры, бросался в воду, смеялся, фыркал, плыл, расплескивая лунную дорожку — ему было двадцать лет...

Потом время отсрочки кончилось. Пушкин, весело держась за хвост низкорослой лошаденки, поднялся по Чертовой лестнице, побывал в Георгиевском монастыре, равнодушно побродил по Бахчисараю и уехал. Но много раз потом возвращался в Крым напряженной мечтою или в стихотворных строках. Крым становился для него

"златым пределом", местом, которое могло как бы вернуть юность, стоило только вновь увидеть "моря блеск лазурный и ясные, как радость, небеса".

Там пел Мицкевич вдохновенный

И посреди прибрежных скал

Свою Литву воспоминал.

А. Пушкин

Мицкевич в Крыму

Как ни странно, и маленький мой родной городок вошел в историю мировой литературы. Случилось это оттого, что Алушту, тогда даже не городок — поселение, воспел великий польский поэт Адам Мицкевич.

Путешествие Мицкевича в Крым состоялось летом 1825 года и современниками объяснялось просто: отчего бы романтическому поэту ни посетить романтические края? Если к тому же не так давно их посетил другой, тоже романтический и тоже изгнанный поэт — Александр Пушкин. Отчего молодому человеку не последовать за прекрасной пани Собаньской?

Дело житейское, обыкновенное: Александр Сергеевич из той же Одессы мечтал на паруснике проехаться в Гурзуф, да его не взяли Воронцовы. Может быть, слишком откровенно он вздыхал о Елизавете Ксаверьевне... А Мицкевича взяли, вот он и едет...

А почему взяли? Да как же не взять? Пани Собаньская — ему соотечественница, это, во-первых. А во-вторых, какой женщине не льстит столь пылкий и

столь прославленный уже поклонник? Воронцов ждал от Пушкина — пусть воспоеет его административную деятельность. Граф Витт, гражданский супруг пани Собаньской, сквозь пальцы смотрел на ухаживания поэта, тоже ждал от Мицкевича чего-то. А чего — доподлинно стало известно только в наши дни, в 1957 году, когда были разобраны некоторые архивы...

Но начнем с путешествия.

Общество подобралось не безукоризненное: генерал Иван Осипович Витт, начальник военных поселений и тайной полиции на юге России, некий прилипчивый натуралист по фамилии Бошняк... И все же язвительная красота, остроумие, образованность и приветливость Каролины Собаньской заставляли забыть многое.

Путь, который проделало общество, с точностью географического описания представляют нам "Крымские сонеты" Мицкевича. Читая их, мы видим лиловые поля солероса и счастливо-сонную волну круглых бухт Тарханкута, вместе с поэтом едем в возке, утонувшем в цветах медуницы, и нам так же, как ему, в первозданной степной тишине слышится и полет мотылька, и ход змеи, и трепет флага на только что оставленном корабле. А дальше — Бахчисарай, Байдары, Алушта, Чатыр-Даг.

Однако не точностью пейзажных деталей примечательны стихи, а тоской по далекому родному краю, напряженной философскою мыслью...

Надо сказать, что в путешествии был момент, когда Мицкевич оторвался от своих спутников, задержавшихся по делам в Евпатории — древнем Гезлеве, или Козлове, как еще одно время звали город. В одиночестве он пристальней вглядывался в пустынную степь и величественную красоту Чатыр-Дага, возникшего на

горизонте "престолом, отлитым из тучи..." С Чатыр-Дага Крым открылся поэту почти весь; лежал, как карта, готовая для обозрения. Простор настраивал на размышления, вызывал особые чувства к горе, на самом деле вовсе не самой высокой среди южнобережных. И, противопоставляя Чатыр-Даг суетному миру, Мицкевич говорит:

Меж небом и землей, как драгоман
творенья, —

Под ноги гром людей и земли подстелив,
—

Внимаешь одному: глаголам провиденья.

Таков и ты быть должен, настоящий поэт, — невольно напрашивается продолжение мысли... Но не будем навязывать Мицкевичу не сказанного. Предположим только, что именно на Чатыр-Даге, в одиночестве, он мог задуматься, сколь мимолетны были его одесские светские радости, сколь опрометчиво он согласился на путешествие, которое пока что выделило его из всех ссыльных соотечественников, а могло и отделить от них...

...Шло время, когда особенно волновался юг Европы, когда Средиземноморье кипело сражениями и предчувствием сражений; Греция, Кипр боролись за свободу; умы развивались, и политика была делом каждого третьего. Как раз в это время тайные общества, возникая из дружеских разговоров на пирушках холостых, вырабатывали свои программы и искали пополнения в свои ряды...

У Мицкевича был не только демонический профиль, но и мятущаяся душа, и очень легко можно представить, как горный ветер рвал его волосы и плащ, а он стоял над пропастью со сжатыми на груди руками и вглядывался вдаль: что несет время ему, что несет народам?

И не здесь ли, на Чатыр-Даге, Мицкевич решил, пока подоспеют его спутники, посетить в Гурзуфе другого изгнанного поляка, графа Олизара?

Густав Олизар был тоже поэт, но жизнь его текла строго и уединенно, не в пример одесским дням Мицкевича.

Очевидно, поэты разговаривали, встретившись, о Польше, России, о греческих патриотах и лорде Байроне. Теперь, после его смерти и после стихов Пушкина, невозможно было не говорить о нем в виду моря, под рокот волн. Скалы обступили уединенную бухту, пахло ветром, слетавшим с окрестных гор, запах этот был прохладен и чист, а также какая-то грусть проступала в нем: то в речных долинах цвел ломонос...

Могли ли говорить между собой поэты о тайных обществах?

Они не могли не говорить о них, пусть даже не зная точно, где, когда и кем те образованы, что предлагают.

...А через несколько дней, когда впечатления от свидания с Олизаром отошли, когда жаркое утро началось совместной поездкой с пани Собаньской в горы — Мицкевича ждала разительная неожиданность. Все было восхитительно в тот день: спелые колосья трав, пунцовые цветы дикой гвоздики, гибкий и сильный стан Каролины Собаньской, стянутый амазонкой.

Натуралист Бошняк, их докучный спутник, отстал, сославшись на головную боль и слишком резкое солнце. Вперемижку с вопросами о графе Олизаре пани Собаньская смеялась над натуралистом: как он полз по краю заросшего шиповником гребня! Интересно, что тому виной — трусость или близорукость?

Вечером, отправившись на обед к Витту, Мицкевич имел случай убедиться, что близорукостью страдал скорее он: за столом присутствовал и натуралист Бошняк. Витт вторично представил его, теперь уже в качестве человека, очень и очень помогающего государству вылавливать некоторых злонамеренных «букашек»! Поэт замкнулся, задумался. Знала ли Каролина об истинном лице Бошняка?

Утром по прибрежной тропе он поскакал на Аю-Даг и с высоты отвесного обрыва наблюдал за игрой волн. Может быть, думал об их неуловимом коварстве, о том, что женщина, ради которой он терпел общество Бошняка, тоже коварна не менее, чем красива. Однако коварство пани Собаньской скорее всего представлялось ему чисто женским, разбивающим послушные сердца. Его сердце не хотело быть послушным, и в восемнадцатом крымском сонете Мицкевич написал:

Не так ли, юный бард, любовь грозой
летучей

Ворвется в грудь твою, закроет небо тучей,
Но лиру ты берешь — и вновь лазурь
светла.

Не омрачив твой мир, гроза отбушевала,

И только песни нам останутся от шквала —
Венец бессмертия для твоего чела.

О себе он это говорил, или обращался к Олизару, безнадежно влюбленному в Марию Раевскую?..

...Осталась еще одна нераскрытая страница этого путешествия, о которой я упомянула в начале рассказа. Заключается же она в том, что архивные документы Третьего отделения с неопровержимой точностью установили: пани Собаньская была платным осведомителем будущего шефа жандармов Бенкендорфа. А Мицкевич в этой прелестной прогулке рассматривался, скорее всего, как приманка, на которую кто-то должен клюнуть. А там пойдет разматываться ниточка, та, что столько времени не давалась в руки генералу Витту.

...Я рада, что Мицкевич не узнал всего о Каролине Собаньской. Дойди до него, правда, он, возможно, не смог бы воспеть ни радужных лесов, роняющих красные искры росы, ни зарниц над морем, ни туч на вершине Чатыр-Дага. А так Алушта прочно вошла в историю мировой литературы: имя ее в названиях крымских сонетов Мицкевича "Алушта днем", "Алушта ночью".

Звезда над домом

Дом с тонкими колоннами стоял в конце ветхой каштановой аллеи, и сам был стар, не наряден. Как одно из зданий в современном поселке, занятое детским садом и почтой, снабженное мемориальной доской, напоминавшей, что именно здесь гостил Грибоедов. Но горы вокруг стояли те же, и туманная от цветения садов долина сейчас в сумерках казалась прежней, пустынной и тихой. Над домом еще не мерцала, а только угадывалась

одинокая звезда, и обстоятельства были таковы, что вспоминалось почти вслух: "Звезда пленительного счастья". А может быть, лучше: "Звезда вечерняя, печальная звезда"? Во всяком случае, сто пятьдесят лет тому назад в доме звучали и эти, и многие другие строки Пушкина...

Исследователи иногда называют Саблы крымской Каменкой. И в самом деле, здесь, в имении Бороздиных, так же, как там в имении Давыдовых, собиралась молодежь; кружились в вальсе, поднимали пенные чаши, влюблялись, клялись в верности. Но здесь в Саблах, в пятнадцати верстах от Симферополя, так же, как в Каменке, этом южном гнезде декабристов, клялись не только нежным девам и юным женам. Была высшая верность — убеждениям.

И так же, как в Каменке, Пушкина здесь считали своим. Позднее в воспоминаниях один из декабристов скажет: "По крайней мере, 9/10, если не 99/100 тогдашней молодежи первые понятия о крайних революционных мерах получали из его стихов". Но Пушкина здесь считали своим не только на общих основаниях. Бороздины и Давыдовы — родня. А с Давыдовыми поэт дружит, любит их, почти так же, как Раевских, которые, кстати, тоже родня и Бороздиным и Давыдовым.

Девушки из семейства Раевских и Бороздиных пленяют сердца не только красотой, но и образованностью. Конечно, это из-за них, невест на выданье, толпами съезжается военная молодежь в южные усадьбы. По крайней мере, так думает старшее поколение. Да и все те, кто ничего не знает о существовании обществ. Например, в этом убежден

хозяин Саблов Андрей Михайлович Бороздин, сенатор, большой барин, бывший губернатор Тавриды. Хотя он склонен считать, что, кроме невест, Саблы привлекают внимание отлично устроенным хозяйством и его, Бороздина, гостеприимством. И в самом деле, кто только у него не бывал! Здесь подолгу гостили, например, Раевские, сюда заезжал генерал Михаил Орлов — муж Екатерины Раевской, генерал Сергей Волконский — будущий муж Марии Раевской.

Ах, какая здесь была библиотека, и какие речи в этой библиотеке велись! Кто только не витийствовал здесь о благе прогресса, о необходимости просвещения! Случалось, и сам хозяин поддакивал. В особенности, если речь шла о развитии экономики. Тут он себя считал докой.

И в самом деле, его сады, питомники многие вспоминали с уважением. Об Андрее Михайловиче вообще многие говорили не то, что с уважением — с восхищением. Правда, иные, в особенности иностранцы, удивлялись при этом отрепьям лакеев, раболепию многочисленной дворни. Или тому, что на суконной фабрике крепостные работают даром, за одно пропитание. Но это так, мимоходом отмечалось, а в основном: что за человек на краю Скифии — десять журналов выписывает!

Что за хлебосол, какие в подвалах французские вина!

Существовали, однако, и другие мнения о губернаторе. Однажды не слишком щепетильно повел он себя с каким-то перекопским купцом, то ли вступил с ним в незаконную сделку, то ли просто надул. С соседями судился из-за окрестных лесов и оттягал их, пользуясь

административной своей властью. Но многие от подобных слухов отмахивались: завистники, мол, их про Бороздина распускают.

Так текла жизнь в Саблах, двойственная, странная, если подумать. Жизнь администратора и крепостника, у которого очень скоро полродни окажется в кандалах или хотя бы просто под арестом по делу четырнадцатого декабря. Но пока все как будто мирно в большой семье. Вышли замуж дочери, за людей достойных. Может быть, чуть более беспокойных, чем хотелось бы бывшему губернатору. Мария, старшая, замужем, за отставным штабс-капитаном Иосифом Поджио, младшая, Катенька, жена подпоручика Владимира Лихарева.

...Через много лет в своих записках Сергей Волконский скажет о Лихареве: пылкий и неосторожный молодой человек. У Волконского будут на это основания: подпоручик ни много, ни мало открылся тому самому Бошняку, который когда-то расставлял сети Мицкевичу. Там не удалось, а здесь, "обворожённый принятой Бошняком личиною", Лихарев сказал ему об обществе, о том, что в него можно вступить. Так что, когда грянул гром на Сенатской площади, фельдфебели, посланные на юг арестовывать, знали, кого брать. Кроме Лихарева и Поджио, схвачены Василий Давыдов, Сергей Волконский, Михаил Орлов. Под подозрением младшие Раевские, под стражей добрый знакомый Александр Сергеевич Грибоедов, так недавно гостивший в Саблах и говаривавший, что счастлив здесь, как давно нигде не был счастлив.

В это тяжелое для Бороздина время было у него одно слабое и язвительное утешение: подпоручик Лихарев, конечно, неоснователен, и мысли у него

завиральные, но — подумать только! — совсем недавно в Катеньку был влюблен другой подпоручик, Бестужев-Рюмин — тот, повешенный в числе пяти, самых опасных. И Катенька отвечала его чувствам...

Можно представить себе смятение отца, но так хочется представить другое — характер самой Катеньки... Что влекло к ней самые прекрасные сердца? А также — что стало с этой юной женщиной после 14 декабря? Испугалась ли сразу, увидев в муже уже не милого мальчика, но государственного преступника? Спротивлялась ли Бороздину? Его крикам, угрозам? Или уткнулась в надежные колени отца, сенатора, защитника? Она ведь ждала ребенка, была совсем молода...

В Сибирь Екатерина Андреевна не поехала, но еще несколько лет стремилась помогать осужденному. Вторичное замужество ее в 1833 году сокрушило Лихарева. Вскоре он и погиб в стычке с горцами. При нем нашли портрет красивой женщины, его бывшей жены, Катеньки...

...У Бороздина были большие основания опасаться и за старшую дочь, любовь ее к мужу не вызывала сомнений своей прочностью. И эту любовь можно понять. С портрета на нас как живой смотрит молодой красавец, затянутый в нарядный мундир и лосины. Лицо у него не только красивое, но еще открытое, смелое, сильное. Лицо победителя, любимца фортуны, этакого серьезного весельчака. Увы, не знает Иосиф Поджио, что впереди ждет его судьба еще более трагичная, чем судьба большинства сосланных на каторгу. Там, хоть в кандалах, они были рядом с товарищами. Он — восемь лет просидел в одиночке Шлиссельбургской крепости. Только

через два года ему разрешили переписываться с семьей, да и то без права сообщать место заточения.

Такому повороту судьбы Поджио обязан своему тестю. Николай I, надо думать, охотно пошел навстречу просьбам Бороздина: оба зятя мятежники, а дочери молоды, хотят последовать дурному примеру Марии Волконской. Так нельзя ли сделать, чтоб *следовать* в буквальном смысле слова было некуда? Нельзя ли изъять Поджио из общества вообще, даже из общества ссыльных, к которым рвутся жены?

Вспомним, что Николай Николаевич Раевский тоже противился отъезду дочери, однако не сделал ничего бесчестного, чтоб задержать ее. Но у него и у Бороздина понятия о чести, очевидно, расходились. Бороздин не был брезглив. И тут невольно вспоминается обманутый купец, слухи о взятках, утверждение, что при Бороздине (впрочем, как и при других) "правда сгорела, правосудие в бегах, добродетель ходит по миру..."

Что же касается гостеприимства, образования — все это было. Со счетов не сбросишь. И дружба с Грибоедовым была. И приезжал Грибоедов в Саблы, вполне возможно, с каким-то поручением от северян к южанам. Или за тем, чтоб увезти какие-то поручения на Кавказ, в армию. Во всяком случае, иные исследователи склонны считать, что дело обстояло именно так.

И Бороздин тоже мог, сопоставив факты, предположить, что дело обстояло именно так, и ужаснуться. Теперь, когда под угрозой были собственные интересы монархиста, крепостника, любящего отца, недавнее прошлое Саблов его ужасало. Однако оно все равно было, и в этом прошлом счастливые девушки Машенька и Катенька любили в предвечерних сумерках

отыскивать высокую, яркую звезду и загадывать на нее желания...

...Я хочу сказать еще несколько слов о дальнейшей судьбе Саблов. Интересно, что имение это, проданное Бороздиным, перешло в руки графини Лаваль, а от нее ее дочери Екатерине, по мужу Трубецкой, той самой, которую наряду с Марией Волконской воспел Некрасов в поэме "Русские женщины" и которая для нас тоже стала символом самоотверженности и верности.

Екатерина Ивановна последовала за мужем в Сибирь и умерла там, в Саблах она никогда не жила. Жила здесь, вернувшись из Сибири, ее дочь Елизавета Сергеевна. Елизавета Сергеевна была женой сына декабриста Василия Львовича Давыдова, бывшего владельца Каменки. Вот так переплелись судьбы...

Нынче Саблы называются село Партизанское, а дом Бороздина — не здесь, немного дальше, в Каштановке, отделении огромной птицефабрики «Южная», к которой я тоже подойду в конце книги.

Керченские сокровища

Молодой офицер, скакавший на белой лошади, вез известие чрезвычайное, и не кому-нибудь, а господину градоначальнику Ивану Алексеевичу Стемповскому. Ивана Алексеевича в музее на сей раз не оказалось, не было его и дома, и на постройке порта, куда, как знал офицер, господин Стемповский заглядывал не реже, чем на раскопки...

Исполнив долг и передав музейным служителям, что господин Дюбрюкс просит поторопиться, офицер пустился в обратный путь шагом, не подозревая, что

известие, которое он отвез, было не просто чрезвычайным известием, но открытием мирового значения.

В 1830 году солдатами местного гарнизона при ломке камня для построек в одном из керченских курганов, известном под именем Куль-Обинского, была обнаружена скифская гробница.

Пока молодой офицер едет по степи, пока любители древностей, которых в городе немало, волнуясь, рассовывают по карманам очки, лупы, серники и свечи, пока у нас еще есть время — давайте познакомимся с двумя основными действующими лицами этой истории, которая началась так стремительно, через три дня превратилась в детектив и продолжается до сих пор...

Павел Дюбрюкс. Официально занимает должность смотрителя керченских соляных озер. В настоящее время, волнуясь, стоит в степи у подножия кургана, то и дело заглядывая в темный проем, над которым нависли готовые ежесекундно оборваться камни. Дюбрюкс ведет раскопки и поиски уже давно. Молодой Пушкин десять лет назад писал, что Дюбрюксу недостает для основательных находок ни денег, ни сведений. Характеристика определенная и краткая, как формула. Но от небрежного ее употребления понятие *сведений* вскоре было заменено понятием *образования*.

Между тем Дюбрюкс если и не получил систематического образования, если даже не знал латыни, то исступленная страсть его к обнаружению и сохранению древностей искупала многое. Древних историков он читал во французских переводах, а от других *копателей* его отличало то, что он искал не клад, а следы жизни, свидетельства культуры.

Пантикапей, Мирмекий, Тиритака, Нимфей, Киммерик — все эти имена боспорских городов сверкали в трудах Птолемея, Плиния, Страбона и других древних историков, до боли сердца волновали воображение, когда Дюбрюкс рисовал планы полуразрушенных, но все еще внушительных их стен возле горы Опук или подбирал черепок на берегу Чурубашского озера.

Дюбрюкс был, кстати, первым, кто определил места многих древних поселений — уже одного этого хватило бы, чтоб войти в историю археологии с честью. И вот через некоторое время он будет первым, кто увидит и опишет, кстати, четко и квалифицированно, захоронение Куль-Обы...

Но за Дюбрюксом прочно тянется слава неудачника. Может быть, он сам способствовал ей, жалуясь своим покровителям на старость, безденежье и малые успехи?

"С начала февраля у меня нет огня в комнате; случается часто, что по два, по три дня сряду я не знаю другой пищи, кроме куска дурного хлеба. Давно уже отказался я от моей бедной чашки кофе без сахару, которую пил я по утрам. Солдатский табак покупаю я тогда, когда у меня есть лишние две копейки".

Стемпковский Иван Алексеевич, сорока лет, красив, темно-рус, сухощав, городской голова. Был адъютантом дюка Ришелье, устроителя Одессы, участвовал в кампании 1814–1815 годов. Полковник в отставке. Учен, четыре года прожил в Париже, изучая труды Французской академии. Считает, что "ничто не может быть утешительнее для ума просвещенных людей, как стараться спасти от совершенного забвения существующие в отечестве нашем остатки образованности народов столь отдаленной древности".

Это его стараниями организован музей древностей в Керчи, в основу которого легли коллекции Дюбрюкса.

Но Стемпковский, несмотря на свою должность, тоже в некотором роде неудачник и уж во всяком случае — чужак. Вместо того чтоб прозябать в маленькой, воняющей рыбой Керчи, он мог оказаться в Одессе, в Петербурге, где угодно, в непосредственной близости к сильным мира сего. Сам дюк Ришелье души в нем не чаял, граф Воронцов не раз изъявлял желание иметь археолога под рукой для ученых бесед.

Вот таковы были два человека, равно сжигаемые страстью найти, сберечь от расхищения остатки красоты, культуры, вдохновения, свидетельства давней жизни, когда-то столь бурно расцветавшей на этих берегах. В примечательный день сентября 1830 года один из них осторожно, будто боясь спугнуть удачу, подошел к пролому, заглянул в темноту...

Он заглянул в темноту буквально и фигурально: пройдет несколько часов, и в этой темноте будет найдена ваза из сплава золота и серебра, на которой один бородатый скиф в высоком колпаке натягивает тетиву на лук, а другие, столь же бородатые и столь же живо изображенные, врачуют друг друга, очевидно, после удачного, но тяжелого сражения. А до того весь мир, зная не так-то мало о скифах, мог только гадать о том, как они выглядели...

...Три дня керченские археологи перебирали и описывали находки, равных которым не знал мир. Скифские звери боролись на тисненной золотом рукоятке меча; грифон и лев терзали оленя, леопард нападал на антилопу на других золотых украшениях, золотая гривна, почти полукилограммовой тяжести, оканчивалась

фигурками конных скифов. А еще был тут роскошный золотой фиал — плоская чаша с чеканными изображениями чередующихся голов медузы и бородатого скифа; серебряные вазы с птицами, рыбами; серебряные блюда.

Отдыхая, Дюбрюкс садился прямо на землю, прислонялся спиной к вытертой шкуре кургана, смотрел в синее эмалевое небо. Кажется, он не зря прожил жизнь, если люди увидят такую красоту, поймут, на что способно искусство. К концу третьего дня ученые ушли, зная, что в склепе находится еще тайник, намереваясь к нему вернуться в ближайшее время. Но той же ночью тайник был ограблен.

Кое-что Стемпковскому удалось потом вернуть человечеству, перекупив на свои деньги у *копателей*. Кое-что помог спасти Дюбрюкс. Но судьба, как всегда, была к нему жестока, он не только не был вознагражден, но имя его не упоминалось ни в одном отчете о Куль-Обе. Что же касается Стемпковского, у того были даже неприятности по службе из-за промедления с отправкой сокровищ в столицу. Впрочем, неприятности его не волновали. Он не мог простить себе оплошности. Сердце колело, когда он представлял, что еще могло храниться в тайнике. Он был больным человеком, и однажды ему показалось, что сердце и вовсе остановится, когда у подножия своего Митридатова холма он увидел свежие черепки, а рядом и камень: воры били булыжником чернолаковую гидрию за то, что в ней не оказалось золота.

...На первой странице этого рассказа я не оговорила: история керченской находки действительно продолжается до сих пор. 15 февраля 1976 года в

Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, открылась выставка сокровищ скифских курганов. Особенно приятно мне было увидеть куль-обинские находки в почетной нише, откуда еще недавно улыбалась Джоконда. Неожиданно маленькая, стояла там ваза с изображением бородатых скифов, а рядом золотой олень и гривна, наоборот, казались предназначенными для великанов.

Но дело не в том, как сместились масштабы увиденного. Дело в том, сколь четко скифское золото, найденное Дюбрюксом, ощущалось здесь в эти дни всенародным достоянием. Только вот фамилия его опять-таки не значилась ни в одном указателе. Другие фамилии были, например П. Н. Шульца, а его и Стемпковского — нет...

Прощаясь

В августе 1863 года в Ялту приехал великий русский артист Михаил Семенович Щепкин. На набережной возле порта его уже ждал экипаж, лошади переступали тонкими, нетерпеливыми ногами. Повезли Щепкина в имение Воронцовых — Алупку. Михаил Семенович был благодарен пригласившим его. Он к тому времени как бы пережил уже свою громкую славу, болел и просто-напросто нуждался в заработке...

Итак, ехали во дворец, покойно покачивая экипаж, Щепкин, тяжело справляясь с одышкой, торопил дорогу — ему хотелось отдохнуть.

Тут надо сразу сказать, что самого хозяина знаменитого Алупкинского дворца в живых уже не было, но вокруг дворца, вокруг семьи, жившей в нем, еще куполом стояла атмосфера раболепного, до дрожи в

коленях преклонения перед властью и успехами наместника на юге России.

И тут я должна несколько слов сказать о человеке, не так давно занимавшем этот пост. Молчанием обойти его просто нельзя: слишком видную роль играл граф в устройстве, в экономической жизни края. Так, например, дорога, по которой мы ездили до 1959 года из Симферополя в Ялту, построена при нем, благодаря его служебному рвению и честолюбию. А также своекорыстию, ибо, проводя казенную дорогу на Южный берег, он тем самым проводил ее и к собственным землям. Дорога была проложена жесткой энергией графа, руками и горбом крепостных, сложивших по обочине ее свои косточки русские. Те привычные косточки крестьян, солдат, матросов, что сопровождали все начинания Воронцова. Даже легенда есть на этот счет, но я не о ней хотела вести рассказ.

...Итак, дворец не мог не поразить Щепкина отборным гравием, скрипевшим под дутыми шинами, своими величаво-мрачными, точно замковыми стенами, плющом, который полз по ним, стрельчатými окнами, взглядывавшими на мир холодно и отчужденно. Потом артиста повели осматривать и другой фасад — южный. Здесь, на Львиной террасе, все было празднично, нарядно, открыто солнцу, вспоминалась уже не Англия, а Восток.

Я не думаю, чтоб, глядя на грубо отесанный лабрадор или белый мрамор, Щепкин вспоминал легенду, по которой выходило: в свое время, после какого-то слишком уж откровенного графского злодеяния, на камнях алушкинского замка выступила кровь замученных.

Наверное, легенды этой Щепкин вообще не знал, как не знал и о самом злодеянии.

Но вот что мне кажется: обходя дворец, шаркая по его террасам, через силу восхищаясь диковинками, вдруг да вспомнил старый артист строчки Пушкина. Написанные сорок лет тому назад, они с гениальной прозорливостью определяли половинчатую, двуликую сущность графа:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда...

Мне могут возразить: почему так уж обязательно должен был вспомнить? Может быть, просто не чаял, как бы прилечь, наконец, расстегнуть все крючки и пуговицы, расслабить галстук? Может быть. Но, во-первых, манера соотносить многое с личностью великого поэта или со сказанным им — привилегия не только наших дней. А тут к тому же был прямой предлог. Во-вторых, Щепкина с Пушкиным связывала особая близость, о ней позже.

Общество собиралось в голубой, яркой, точно сам летний день, гостиной. Щепкин читал из "Мертвых душ", как всегда оживляясь чтением. Одышка отступила, теперь он мог свободно раскинуться в кресле; входя в роль, сладко поджимая губы, топорщил мизинец, как делал это незабвенный Павел Иванович Чичиков.

И вдруг при взгляде на хозяйку дома ему опять пришла мгновенная мысль о том, кто дал Гоголю сюжет для поэмы, кто написал когда-то свое волшебное «Прощанье», обращаясь в нем к Елизавете Ксаверьевне:

Бегут, меняясь, наши лета,

Меняя все, меняя нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

Да, она изменилась. Она давно существовала в другой жизни, сидела напротив него, прямой спиной не касаясь дивана, властная, тяжелая старуха. Ничего в ней не осталось от ясной пронзительности черт. Уж кто-кто, но она должна была заметить, как ему трудно, и хоть бы в первый вечер освободить от чтения.

Стало так обидно, и не только за себя, в груди что-то пискнуло, обрывая, путая привычный ритм чтения, но он постарался заглушить эту обиду, только передернул стариновскими разросшимися бровями. В конце концов, почему он решил, что участие, а не тщеславие заставило обитателей дворца послать экипаж к пароходу? Тщеславие, скука, желание показать, вот, мол, какие капризы им, Воронцовым, доступны...

Отрабатывай, артист! Старайся.

Ночью Щепкину стало совсем плохо. Он лежал в темноте, думая о жизни своей, как о чем-то уже решительно ушедшем, и, прощаясь, вспоминал ее начало: траву, зеленыя сбитые коленки, гусиный пух на траве, шершавый фартук матери, к которому он прижался щекой. И тут же воспоминания рванулись в другую сторону: он увидел тонкую смуглую руку, выводившую на чистом листе бумаги то, что должен был писать он сам: "Я родился в Курской губернии Обоянского уезда в селе Красном, что на реке Пенке", — эти строки 17 июня 1836 года за него на чистом листе

бумаги вывел Пушкин. А потом передал ему перо: "Совестно будет, Михаил Семенович, не продолжить".

...Утром доктор осматривал Щепкина озабоченно, да он и сам понимал, что плох. Однако даст Бог, отлежится в тишине, в уюте большого дома, поскрипит еще. Доктор ушел, слышались голоса за дверью. Слов он не разобрал, но понял, что говорит графиня, что она недовольна чем-то.

Чем она недовольна, он смутно уже догадывался и понял окончательно, когда ему сказали, что коляска подана, надо ехать в Ялту, там ему будет, дескать, спокойнее...

В Ялте он и умер. В плохонькой шумной гостинице, в которой в тот вечер танцевали над самой его головой, справляя какое-то торжество.

...А мне все-таки хочется сказать еще о легенде.

Я не люблю Воронцова той тяжелой нелюбовью, которую, казалось бы, можно питать только к живым. А не любя, собираю как улики: донос на Пушкина, трагедию Хаджи-Мурата, смерть того безымянного горца, которого перед тем, как повесить, граф уговаривал: "Друг мой, нельзя так волноваться, вот вода — выпейте".

Вот так же, наверное, корректно, с благожелательной улыбкой на лисьем бритом лице, организовал он в Севастополе чумной карантин, некий прообраз концлагеря, и уморил в нем несколько сот душ простого звания. И когда я думаю о Воронцове, я вспоминаю не только эпиграммы Пушкина, но и того опухшего мальчишку, который стоял за проволокой и просил у солдата безнадежно и гундосо от голода:

— Дяденька, хлеба! Хоть крихтиночку, дяденька, мамка померла, дяденька...

Легенда о крови, выступившей на камнях, как раз возникла после расправы с «чумными», а чумы-то никакой, как считают, и не было.

Дань Пушкину

Плыли как-то на одном корабле к берегам Кавказа генерал Раевский-младший, друг Пушкина, молодой Айвазовский и Лев Сергеевич Пушкин... И почему бы не домыслить к этому факту такое, вполне возможное: Левушка Пушкин тут же на шканцах под открытым и ясным небом читает посвящение "Кавказского пленника", обращенное к Николаю Николаевичу Раевскому:

Прими с улыбкою, мой друг,

Свободной музы приношенье:

Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье

И вдохновенный свой досуг.

Читает громким, радостным своим голосом, закидывая голову и ероша поределье кудри. А молодой генерал слушает не без некоторой досады много раз уже слышанное и все же поднимающее в душе воспоминания, которым вот уже почти двадцать лет...

Весь домысел, собственно, в том, что именно в тот раз читались именно эти стихи, а так действительно: военный корабль «Колхида» в составе русской эскадры направлялся в 1839 году с десантом на Кавказ, и, если уж перечислять имена, надо добавить, что вел эскадру адмирал Лазарев, а, кроме того, были здесь Нахимов и

Корнилов, не в адмиральских еще чинах, но видные офицеры русского флота. Что ж, история любит проделывать такое, собирая, сталкивая, перекидывая мостики от одного к другому через третьего...

А вот и официальный документ, объясняющий, как художник оказался на борту «Колхиды»: "...Генерал Раевский, узнав, что с высочайшего соизволения находится в Крыму для снятия морских видов академист Гайвазовский и полагая, что величественная природа берегов Черного моря, плавание эскадры и военные сцены при занятии десантом неприятельской земли представят предмет, достойный кисти этого художника, предложил ему отправиться с экспедицией..."

Но вернемся непосредственно к нашему повествованию. Нельзя, конечно, ручаться, что на палубе «Колхиды» читалось именно посвящение "Кавказского пленника". Однако услышать его в той обстановке было бы очень естественно: вспомним цель десанта и роль в нем Раевского, начальника Кавказской береговой линии.

...Итак, резво бежит по невысокой волне "морей красавец окрыленный", и звучит на шканцах, где собрались офицеры:

Мы в жизни розно шли: в объятиях покоя

Едва, едва расцвел и вслед отца-героя

В поля кровавые, под тучи вражьих стрел,

Младенец избранный, ты гордо полетел...

Голос у Льва Сергеевича все еще пленителен, мелодичен и очень напоминает голос брата. Так что Раевскому, который смотри в сторону моря, вполне может показаться, что слышит он привет друга,

долетевший из тех дальних дней. Из тех дней, когда *Кавказ* значило для них не только опасность, боевой риск, но еще и возможность встретиться с некоторыми из тех, кто взят по делу 14 декабря.

И было еще обстоятельство, толкавшее вспомнить великого поэта: Айвазовский в молодости, по мнению многих, чертами лица и живостью движений удивительно напоминал Пушкина. И в этом обществе, где видели художника впервые, вполне могла прозвучать просьба к генералу Раевскому — подтвердить сходство. Генерала, я думаю, должно было тронуть то, как почти искательно смотрели на него глаза молодого человека: действительно, похож ли?

— Отчего же, — мог сказать генерал, отворотясь от волны, окидывая художника приветливо и благосклонно. — Иван Константинович напоминает покойного друга моего — чертами, так же, как Лев — голосом.

Но, сказав это, Раевский, наверное, подумал и то: черты — чертами, а в друге его, который в Крым приехал тоже двадцатилетним, было нечто, отличавшее его от ровесников. *Нечто* заключалось в том, что юный Пушкин был автором не только романтического «Руслана», но еще и «Деревни» и оды "Вольность".

...После похода на Кавказ в Субаш к берегам Мингрелии Айвазовский, еще более увлеченный образом поэта, задумал целую серию картин, где образ Пушкина должен был занять центральное место. Художник был молод, планы теснились в его голове, вызывая иногда даже усмешку окружающих своею неумностью. Жадно расспрашивая Раевского о его друге, он заносил в тетрадь названия будущих картин: "Восход солнца с

вершины Ай-Петри, откуда Пушкин любуется им", "Пушкин у Гурзуфских скал", "Семья Раевских и Пушкин", "Пушкин у скал Аю-Дага".

Тут нам, заглядывая вперед, надо сказать, что не все молодые замыслы Айвазовского воплотились. И еще: с некоторыми маринами на пушкинскую тему приключилась странная история. Так, во втором томе собрания сочинений А.Пушкина, изданных в начале века солидной издательской фирмой Брокгауза — Ефрона, воспроизведены: "Пушкин с Раевским на Южном берегу Крыма", "Пушкин на Южном берегу Крыма", "Пушкин на Ай-Петри", "Пушкин у скал Аю-Дага", "Пушкин в Крыму" — и все помечены как картины Айвазовского. Однако искусствоведы до сих пор сомневаются: все ли его? а если не все, то — какие? Кроме этого, подоспел второй вопрос: а не изобразил ли художник на некоторых своих полотнах не поэта, а себя, лежащего на скалах, любующегося морем?

Кроме замыслов картин о Пушкине, кроме полотен "Десант в Субаше" и "Вид Севастопольского рейда с военными судами", художник привез из этого похода живой и продолжительный интерес к русскому флоту и его победам. Сам Субаш тоже занимал его, надо сказать, и в последующие годы, даже имение свое под Феодосией Айвазовский назвал этим именем в честь воспоминаний молодости.

Эскадра в Феодосии

Весенним утром 1846 года Феодосия была разбужена пушечной пальбой: шесть военных кораблей на всех парусах по розовому от солнца морю входили в бухту.

В вышине, набегая друг на друга, клубились облака, а в городе цвели сады, и все это как бы повторяло пышность парусов, так что весь мир представлялся бело-розовым и торжествующим.

Корабли палили, жители города толпились на набережной. Однако никто из них не гадал, что бы могла значить пальба. Знали: севастопольская эскадра приветствовала Айвазовского в его праздник. Художник праздновал свое возвращение в родной город из заграничных странствий. Дальних, четырехлетних, — в Европу и близких, недавних, — к берегам Турции, Малой Азии, островам Греческого архипелага. Кроме того, сегодня Айвазовский отмечал десятилетие своей художественной деятельности. Начало ее он отсчитывал от той выставки 1836 года в Академии художеств, принесшей ему золотую медаль и официальное признание успехов. А быть может, от другой, состоявшейся позднее, где его обласкал сам Пушкин?

Как бы то ни было, а за десять лет, протекших с той поры, художник успел не только прославиться в родном отечестве, но поразить возможностями своей кисти Италию и Францию. Нынче он числился по военному ведомству первым живописцем Главного морского штаба с почетным правом носить военный мундир.

Таким образом, не было, пожалуй, ничего удивительного, что на своем линейном корабле "Двенадцать апостолов" приветствовать художника прибыл сам Корнилов. И вот он стоит на носу шлюпки, которая под радостные возгласы мчится к берегу, весла влажно поблескивают, разом опускаясь и поднимаясь в могучих матросских руках.

Шлюпка не успела врезаться в песок, ее подхватили, смеясь, втащили на берег. Некоторая чопорность Владимира Алексеевича Корнилова была нарушена ликованием и пестротой южной толпы, радовавшейся за своего земляка. Правда, офицеры в парадных мундирах, направляясь на выставку картин Айвазовского, старались держаться обособленной кучкой, но горожанки в ярко-палевых и розовых платьях, чиновники, смуглые торговцы с пальцами, несдержанно украшенными золотом, танцующие на цыпочках джигиты и просто феодосийские мальчишки то и дело вклинивались в их общество — замкнутость сегодня была неуместна. По-южному — сердце и двери нараспашку — Феодосия праздновала торжество своего великого сына.

На выставке говорили не только о достоинствах картин. Вспоминали, как бесстрашно вел себя художник во время десанта в Субаше. Восхищались тем, до чего точно воспроизводит Айвазовский подробности морских сражений, им самим не виденных, как безошибочен бывает в изображении кораблей. Вспоминали, как во время похода в Субаш Айвазовский начал писать портрет адмирала Лазарева.

— Михаил Петрович, помнится, обещал вам успехи необычные, — говорили друзья. — Коль скоро при самом начале пути вашего вы его, рисуя, во фрунт поставили, то далеко, мол, пойдете...

— Рассказы Михаил Петровича Лазарева о Наварине во многом способствовали моей любви и гордости флотом...

— Гордость и приверженность самого Михаила Петровича к флоту были несоизмеримы. — Владимир Алексеевич Корнилов наклонил голову, произнося это.

— Отчего же несоизмеримы? Я думаю, и вы, Владимир Алексеевич, любите флот и славу его, отдаваясь службе беззаветно...

— Господа! Господа! Ура имениннику, ура художнику, который один может столь поэтично выразить чувства, теснящие грудь каждого из нас!

— Ура! И да представится ему возможность прославить грядущие победы!

— Ура! За славу!

Фейерверк, зажженный на корабле, рассыпал свои искры на полнеба. Зрелище было неповторимо праздничным. Зрелище соответствовало духу и палитре картин Айвазовского. И более того, глядя на сноп огней, внезапно вознесшихся к небу, нельзя было не подумать о том, что сам жизненный путь босоногого мальчика из Феодосии, сына базарного старосты, а ныне признанного в Европе художника, так же блестящ и крут...

Айвазовскому в 1846 году, когда приветствовать его стекался весь город, когда своим вниманием почтила его Черноморская эскадра, было всего двадцать девять лет. И не скоро еще станет он тем стариком в парадном мундире, тесно увешанном орденами многих государств, каким многие из нас запомнили его по автопортрету.

Сегодня он молод, бакенбарды без единого седого волоса, в глазах откровенное любованье и собой и тем, что делается вокруг.

— Матушка, — находит он минутку подойти к невысокой женщине в темном платье, — матушка, вы довольны? Кто бы мог подумать, матушка?

Женщина кивает, несколько оглушенная происходящим, осторожно прикладывает платок к уголкам глаз. Взгляд ее в сторону сына, когда тот удаляется танцующей, легкой походкой, тревожен: а вдруг все сон? А вдруг судьба сделает непредвиденный поворот и отнимет то, чем одарила так щедро?

Сыплется на ковры розовый персиковый цвет, лежит на воде розовая лунная дорожка, бегут к поблекшим звездам огни фейерверков, старушка может спать спокойно: ее сыну до конца дней предначертана необыкновенно счастливая судьба.

И то сказать, что у него необыкновенный талант и не менее необыкновенная работоспособность. Но одного этого для счастья, для благополучия, особенно в России Николая I, мало. Счастливые дарования должны еще сочетаться со счастливым характером и крайне счастливым стечением обстоятельств.

Счастливым стечением обстоятельств было то, что Айвазовский как маринист родился как раз в свое время. Далеко еще было до печальной Севастопольской кампании, до конца парусного флота, и, наоборот, так близко, казалось, звучали еще раскаты побед, одержанных Ушаковым, Лазаревым, Сенявиным...

В тридцатых годах девятнадцатого века так же, как и в конце прошедшего, флот притягивал к себе всеобщие взгляды и мнения. Флот был гордостью державы. И эту гордость запечатлевал художник: нарядны и одушевлены корабли на его картинах, те, что стоят в Феодосийской бухте, и многие другие, — то окутанные белыми облаками пушечных выстрелов, то мирно красующиеся в виду холмистых берегов. Кажется, видишь не только сами фрегаты, линейные корабли, бриги, но и свечение

славы, им сопутствующее. Это свечение лежит на севастопольской воде еще в 1852 году, и, глядя на его безмятежность, едва ли можешь представить во всем реализме картину, развернувшуюся здесь через какие-нибудь два года. Картину, на которой кровь и жестокие страдания затмят все другие краски.

Впрочем, со всем реализмом картина эта и Айвазовским отображена не была, хотя у него есть несколько полотен, посвященных обороне Севастополя, и хотя во время осады города он приезжал в действующую армию.

Приезд его был краток, и не потому, что не хватило личной храбрости. Дело заключалось в другом: эту войну ни с каких позиций нельзя было изобразить победоносной, а тем более романтически-нарядной. Она шла в промозглой грязи окопов, она славилась казнокрадством и неразберихой, в первые же дни ее погиб блистательный и умный военачальник — Владимир Алексеевич Корнилов...

Много лет спустя Айвазовский нарисовал картину: на Малаховом кургане, возле того места, где погиб Корнилов, у креста, выложенного ядрами, стоит старый солдат-инвалид. Так же, как этот солдат, стоял на роковом холме сам художник. Стоял и думал о том, наверное, что прекрасная судьба адмирала Корнилова стала символом чести и непреклонности флотской. Или о тех затопленных в бухте кораблях он мог думать, чья красота безмолвно ушла на дно морское: А может быть, просто вспоминал далекий, сияющий день в Феодосии, когда все они были молоды и когда, казалось, в мире не оставалось других красок, кроме ликующей розовой и ликующей голубой...

...Возвращение в мыслях к этому дню было так естественно и сопровождало художника всю жизнь. Но пока этот ясный день 1846 года не кончился, пока ликует Феодосия, чувствуя своего сына, ликуют жители: судьба земляка столь сказочна, что даже не вызывает зависти. А вызывает только желание приобщиться к гордости и за него, становящегося великим художником, и за русский флот, и за Корнилова, который — какой молодец! — привел корабли в Феодосию, украсил праздник...

* * *

Вы заметили? Так много встреч и расставаний на этих нескольких страницах. Как в сюжете хорошо сочиненного романа, все оказываются втянутыми в круг, судьбы переплетаются, на них лежит как бы общий отблеск. Кто бы мог подумать, что таинственная цепочка тянется от одного к другому и дальше, дальше, а в каждом звене звенит напоминание о доблести, о славе, о верности и любви.

Я начала с Пушкина, кончила Корниловым, рассказывая о молодом крае. Айвазовский раз видел Пушкина, но не мимолетной была встреча, если поэт присутствовал в биографии художника всю жизнь. Я писала о Дюбрюксе, но ведь я для начала повторила сказанное Пушкиным. Мицкевич и Пушкин были связаны взаимной симпатией, но, кроме того, им обоим не посчастливилось: в разное время, но оба достаточно сильно они были увлечены Каролиной Собаньской. И, не разгадав, тратили на нее сердце, тосковали, посвящали ей прекрасные стихи. Но, переплетаясь, судьбы зовут нас и дальше: Корнилов оказался знакомцем мариниста Айвазовского — это не удивительно, но брат поэта Лев Пушкин тоже ведь — знакомец адмирала. А Николай

Николаевич Раевский как бы начинает и заканчивает эту выстроенную линию, но и это еще не все. Вот последний штрих: Александр Пушкин в Лицее учился вместе с Александром Корниловым. Александр Корнилов был родным братом будущего адмирала.

Случай так удивительно распорядился? Или активность вела человека, семью, род в Историю. А История, что ж, история? Она очень пристально в те времена приглядывалась к полуострову, как, впрочем, и во все последующие.

Ключ к Севастополю

*Не может быть, чтобы при
мысли, что и вы в Севастополе,
не проникало в душу вашу
чувство какого-то мужества,
гордости и чтоб кровь не стала
быстрее обращаться в ваших
жилах...*

Л. Толстой

Адмиралы

Рассказ о Нахимове, если захотеть, можно сложить из строк его сослуживцев, друзей, подчиненных, собственных его строк. И в рассказе этом будет достоверность, а также полная картина войны. И суть взаимоотношений Павла Степановича Нахимова с Корниловым и Истоминым осветится и, главное, подтвердится, что не только мы понимаем, — современники тоже понимали, какова была роль его в организации обороны Севастополя во время Крымской кампании 1854–1855 года.

Стараясь как можно чаще подкреплять свои рассказы документами, я так и начала выписывать эти строки:

"Настало, наконец, для Севастополя время тяжелое. Целый год спали, а теперь пришлось жутко. Городовая сторона укрепилась и продолжает укрепляться благодаря медлительности союзников. В городе ощутителен недостаток воды, нет мяса, нет фуражу для скота по беспечности.

Павел Степанович имеет по-прежнему флаг на "Двенадцати Апостолах" и в настоящее время как-то ни при чем".

24/IX 1854 г. Из письма капитана 2 ранга М. М. Коцебу.

"Владимир Алексеевич не существует. Он умер как герой. Завтра снова дело. Я не знаю, что будет с Севастополем без него — и на флоте и в деле на берегу".

5/X 1854 г. Из письма П. С. Нахимова контр-адмиралу Метелину.

"Сам же скажу, что Павел Степанович как бы ищет смерти, разъезжая под самым убийственным огнем; недавно матросы без церемонии сняли его с лошади и отнесли в место более безопасное. Он один теперь ездит по линии, воодушевляя своим присутствием и матрос, и солдат".

19/X 1854 г. Из письма М. М. Коцебу.

"Станюкович... на каждом шагу поперечит мне и как будто боится, чтоб не отнеслось чего-нибудь ко мне. Зная меня хорошо, вы, конечно, поймете, что я говорю это не из желания властвовать или управлять. Князь заперся на Северной стороне, ни во что не входит, и к нему нет никому доступа, а, между прочим, по всему управлению, в особенности по городу и войскам, страшный хаос...

...Бог знает, чего еще ожидают, и отчего мы не действуем наступательно".

8/XI 1854 г. Из письма самого Нахимова.

"Не говоря уже о матросах, но и солдаты так полюбили его, что называют батька-адмирал".

13/XI 1854 г. Из дневника М. Ф.Рейнеке.

"Распорядительно и всегда лично наблюдая за своевременным их снабжением всеми материальными к защите средствами, он сверх того одушевлял войска непрерывным своим присутствием всюду, где опасность".

31/XII 1854 г. Из рапорта князя А. С. Меншикова о награждении П. С. Нахимова.

"Нет даже никакой возможности уговорить его надевать шинель или пальто, напротив: ежедневно разъезжает по бастионам в сюртуке и эполетах".

27/I 1855 г. Из письма П. В. Воеводского.

"Пользуясь этим случаем, чтобы еще раз повторить запрещение частой пальбы; кроме неверности выстрелов, естественного следствия торопливости, трата пороха и снарядов составляет такой важный предмет, что никакая храбрость, никакая заслуга не должны оправдать офицера, допустившего ее".

2/III 1855 г. Из приказа П. С. Нахимова по Севастопольскому гарнизону.

"Ваше высокопревосходительство, Екатерина Тимофеевна! Священная для всякого русского могила нашего бессмертного учителя приняла прах еще одного из любимейших его воспитанников. Лучшая надежда, о которой я со дня смерти адмирала мечтал — последнее место в склепе подле драгоценного мне гроба, я уступил Владимиру Ивановичу! Нежная, отеческая привязанность к нему покойного адмирала, дружба и доверенность Владимира Алексеевича, и, наконец, поведение его, достойное нашего наставника и руководителя, решили меня на эту жертву" — так писал Павел Степанович Нахимов в марте 1855 года вдове адмирала Лазарева о смерти своего младшего сослуживца Владимира Ивановича Истомина. И дойдя до этих строк, столь трагических в своей корректной сдержанности, мое перо переписчика остановилось. Заработало воображение.

О чем мог думать в этот, один из самых трудных для себя вечером адмирал Нахимов, человек про себя давно решивший, что живым из Севастополя не уйдет? Не только долг его к этому призывал, было нечто еще более пронзительное: понятие воинской чести... Это жестокое понятие больше других воспитал в нем Михаил Петрович Лазарев, и сейчас, сидя за письмом к его вдове, он не мог не вспоминать учителя, не побежать мыслью к тем дням, когда все они, и даже сам Лазарев, были молоды, жгли турецкий флот под Наварином и так славно входили в историю под рукоплескания Европы, под одобрительный гул отечества, где щеголи-штафирки стали заказывать себе сюртуки самого модного цвета "наваринского дыма с пламенем..."

Может быть, в тот вечер сквозь туман времени увидел Нахимов поднятые высоко в небо пышные паруса «Азова», услышал звуки иного, первого в своей жизни сражения, и молодые лица, вызванные памятью и печалью, приблизились к нему. Среди них было и его собственное, почти неузнаваемое лицо, лицо двадцатипятилетнего лейтенанта, командовавшего на «Азове» управлением парусов, а также орудиями на баке и не подозревавшего, что через четверть века с лишком на его плечи ляжет оборона Севастополя...

При Наваринском сражении Корнилов служил в чине мичмана, ему шел двадцать второй, гардемарину Истомину исполнилось восемнадцать. Молод был и капитан первого ранга Михаил Петрович Лазарев, командир «Азова». В произнесенных клятвах давали они друг другу руки на верность общему делу — служению отчизне. И еще была такая подробность в этих клятвах — каждый из них уже тогда величайшим счастьем посчитал бы гибель в бою рядом с Лазаревым — учителем и командиром.

Лазарев умер своею смертью, но в отличие от Ушакова или Сенявина был похоронен в Севастополе в склепе на высокой меловой горке в центре города, где начали возводить храм. В том же склепе в самом начале обороны похоронили адмирала Корнилова, убитого на Малаховом при бомбардировке 5 октября. А теперь рядом с ним и Лазаревым покоится адмирал Истомин, а он, Нахимов, сидит и пишет это печальное письмо.

Лампа горела неярко, он подкрутил фитиль, протянул обе руки ладонями к теплоте, пузатому стеклу. Ночь была тиха, сюда, к нему в дом, почти не долетали звуки случайной, ленивой перестрелки. Привыкшие к

ней, где-то наверху, на горе, лаяли собаки, крикнул петух, отбивая полночь шумными крыльями, а Истомина уже не было...

Павел Степанович Нахимов переживал потери тяжело. Истомин же был ему особенно дорог и по прежним временам и нынешней своей беззаветной храбростью хозяина Малахова кургана. Вообще ко всем, защищавшим этот холм, эту ключевую позицию города, Нахимов относился с особой благодарностью. И сам хотел бы умереть именно на нем, как бы еще раз подчеркнув тем единство свое с товарищами давних лет.

В этом желании не было ни нервного надрыва, ни мрачного фанатизма. Войну он с чисто русским долгим мужеством понимал, как работу по охране отечества, и негоже было отлынивать от самой тяжелой части этой работы. Каждый день, и не один раз в день, исполняя эту работу, он объезжал позиции, появляясь в опасной доступности к неприятелю со своими приметными эполетами и в прямо надетой чуть смятой фуражке. Не гнулся перед ядрами, невольно пустил по городу поговорку "Не всякая пуля в лоб" и был противоречив в том, что только себе разрешал такое поведение. Всех же других призывал к осмотрительности, даже издал по этому поводу приказ, в котором требовал, чтоб при обстреле не бывало ни одного лишнего человека на открытом месте. И у орудий чтоб оставалась самая необходимая прислуга и делала свое дело спокойно. Это *спокойно* надо было понимать так: без паники и без лихости, ибо жизни рядовых и господ офицеров принадлежали теперь не им самим...

А Малахов курган — самое опасное место обороны — был вспахан ядрами, усыпан чугунными осколками.

Впереди же на Камчатском люнете было еще хуже — Истомин погиб на пути от люнета к кургану: кто знает, проявил ли лихость, спокойно ли исполнил долг? У него было круглое, усатое лицо, сейчас это лицо стояло перед Нахимовым в промозглой темноте запустелого жилья, которую не могла ни разогнать, ни обогреть единственная керосиновая лампа...

Он вспоминал быстрые шаги Истомина, ему даже почудился звук этих шагов под окном, и он, вздрогнув, снова наклонился над листком бумаги: "Впрочем, надежда меня не покидает, — писал он неторопливыми, важными словами, — принадлежать этой возвышенной семье; друзья-сослуживцы в случае моей смерти, конечно, не откажутся положить меня в могилу, которую расположение их найдет средство сблизить с останками образователя нашего сословия..."

В ту же ночь он писал письмо начальнику Черноморской береговой линии вице-адмиралу Л. М. Серебрякову о смерти его сына. Он сам нес гроб младшего Серебрякова, точно так же, как гроб любимца своего Александра Бутакова и многих других молодых, храбрых, не отмеченных большими чинами.

Но, кроме трагедий, на войне были еще будни, и утром, окунувшись в их сутолоку, Нахимов вынужден был думать о перерасходованной парусине, о подвозке дров для печей, в которых выпекались хлебы для армии. Объявлял он также выговоры за плохое медицинское обслуживание матросов.

Было замечено всеми: его слегка сгорбленная, не бравая фигура появлялась одновременно как будто во многих местах обороны. Неспешно трусил такой же не бравый конек, не боявшийся, однако, снарядов, адмирал

сидел на нем, неловко завалившись, брюки сбивались к коленям. Но матросы и солдаты, взглядом провожая Нахимова, знали одно: Павел Степанович с ними — город держится. Да и не может он пасть, этот город, колыбель флота, порт, куда из победоносных походов возвращались Ушаков, Сенявин, Лазарев. Город, где многие из них в обыденной, не военной жизни слепили себе жилье: мазанки, хатенки, лачужки с огородами, в которых цвели мальвы и картошка.

И в этом сочетании домашности и славы город был особенно дорог, и особенно дорог был «свой» адмирал, понимающий их жизнь, такую, казалось бы, отличную от его собственной, такую простую, что стоила ли она, право, его адмиральской заботы?

"Свой" адмирал между тем находил время на то, чтоб заниматься не только общими нуждами, но и на то, чтоб утешить и одарить деньгами из своего кармана жену матроса 30-го флотского экипажа, молоденькую беременную женщину с оторванной ногой, приютить раненого офицера Титова, заботиться о жене и детях убитого коллежского регистратора Севастьянова...

Этот человек был поистине средоточием обороны по моральным своим качествам. А по чинам? Задавшись таким вопросом, я не без удивления узнала, что полным адмиралом он стал всего лишь 27 марта 1855 года. За месяц до того, то есть 25 февраля 1855 года, был назначен командиром Севастопольского порта и временным военным губернатором. Даже командующим севастопольским гарнизоном он, оказывается, не был до 18 февраля, то есть практически все время до этого как бы был облечен властью только моральной. Только силой своего авторитета двигал он устройство обороны,

сопротивляясь малодушию, медлительности, преступному равнодушию официальных ее руководителей князя Меншикова, Остен-Сакена, Горчакова... Казалось — все на нем держится. И, исчезни он, исчезнет порядок на батареях, иссякнут боеприпасы и провиант, никто не будет знать, с чего начинать и чем заканчивать день.

Впрочем, не казалось — это было истинное положение вещей...

...Павел Степанович Нахимов погиб и в самом деле на Малаховом кургане. Он был смертельно ранен 28 июня 1855 года.

По свидетельству очевидцев, на этот раз в ответ на просьбу уйти в укрытие Нахимов произнес не свое любимое: "Не всякая пуля в лоб", но сказал задумчиво: "Как ловко стреляют", и тут же упал, смертельно раненный в голову.

В доме возле Графской пристани, где жил Нахимов, где он писал письмо вдове Лазарева, гроб его был покрыт несколькими пробитыми в боях флагами...

От скромной квартиры адмирала до самой церкви стояли два ряда солдат, взяв ружья на караул. Огромная толпа сопровождала прах героя, не боясь быть рассеянной вражеской картечью. Грянула военная музыка полный поход, грянули салюты пушек, корабли спустили флаги до половины мачт, для Севастопольской обороны наступали иные дни...

И каждый понимал это, поднимаясь на гору к собору, каждый знал, что теряет. Тело Нахимова опустили подле гробов его товарищей, предали земле как раз в том месте, где сам он стоял, когда хоронили Истомина.

Четыре жизни матроса Кошки

Матрос Кошка прожил, я считаю, четыре жизни, каждая из которых была не похожа на все остальные и не всегда вытекала как будто из предыдущей.

О первой, крестьянской, его жизни никто не помнит, и сам он ушел из нее навсегда, в солдатчину, в мир походов, маневров, где едко пахла начищаемая мелом медь амуниции и тяжело хлопали паруса. Вторая же началась по-настоящему в Севастополе в ноябре 1854 года, на батарее капитан-лейтенанта Перекомского, куда попал матрос в начале осады. Тогда были списаны на берег первые экипажи с кораблей.

...Белая севастопольская земля раскисла от непрерывных дождей и холодила тощее брюхо так, что двигаться хотелось до отчаяния, до пренебрежения к самой смерти. А еще больше хотелось сытых горячих щей вместо гнилых сухарей. О чарочке, — что говорить! — о ней уже и не мечтал, только вспоминал, как привычно разливается ее тепло, шевеля помимо воли руки и ноги.

Шла обычная окопная жизнь с перестрелками, с вылазками, с чувством, что и она может оборваться, если вдруг задумаешься, пожалеешь ее всерьез. Шла привычная жизнь, в которой он, неказистый, верткий и низкорослый, с желтыми отчаянными глазами, считался и был во время вылазок не храбрее многих. Но вот французская пуля достала Ивана Волосенко, как многих доставала. А утром выставили враги его тело на своем бруствере, еще и подперли, чтоб стоял Иван, чтоб свои же, неметкие, молодые солдатики в него попадали во время перестрелки, и это было уже невыносимо...

Кошка смотрел на закостеневшее, плоское Иваново тело, ругался вместе с другими и вдруг вспомнил, как Иван на прошлой неделе дал ему дратву и шило схватить разваливающийся задник сапога. Да не только дал, но и сам показал, нажимая сильными, желтыми от табака пальцами, как ловчее пустить шов.

— Ваше всокородь, ось бачьте, згиляются, дозвольте сходить его выручить! — Кошка стоял, пыжа грудь, перед Перекомским, краем глаза показывал в сторону, туда, где стыл Иван. — Нехорошо нашим на Ивана смотреть — усомниться могут.

Перекомский устало потер щеки, всматриваясь в невзрачное лицо матроса с лихо подвернутыми усами:

— Пожалуй, ты прав, братец — нехорошо. До ночи, однако же, подождать надо, и посоветоваться не лишнее, у нас каждый на счету.

К ночи разрешение было получено. Кошка пополз, прикрыв казенную шинель грязной мешковиной. Однако совсем близко от Ивана стоял часовой: подступиться оказалось невозможно. Но и вернуться ни с чем он не хотел. "Усомниться могут", — ворчал он, беззвучно, локтями и острыми коленями вжимаясь в землю за белым камнем возле самых вражеских позиций. Там пролежал весь день до следующей ночи, а в той ночи до смены караула.

Один миг был, пока солдаты, замешкавшись, стояли к нему спиной, но мига хватило: Кошка подставил мертвому свою спину и вместе с ним побежал к русским окопам.

— Страх небось все поджилочки тряс? — спрашивали Кошку.

— Да нет, страху чего ж поддаваться! Поддашься — и нет тебя. Так что я не о страхе — об обиде думал...

— А может, о чарочке?

— Без нее не обойдется. — Он подмигивал негустой, лихо заломленной бровью. — А я теперь, братцы, всегда туда буду ходить, чтоб не сомневались.

И он действительно каждую ночь *ходил*, точнее, полз к вражеским позициям, приволакивая «языков», приносил дальнобойные ружья союзников, патроны к ним. Однажды, за неимением лучшего трофея, явился с госпитальными английскими носилками.

Но больше всего любил не тихие эти визиты в стан противника, а ту кутерьму, какая начиналась на передовой, когда англичане, охотясь за ним, палили в белый свет, как в копейку. Странное чувство гордости поднималось в нем оттого, что на него одного изводят свои боеприпасы целые батареи.

Его знал уже весь Севастополь, а он был примером, и это тоже волновало кровь. Заставляло все время делать что-то такое, чтоб превзойти самого себя.

Так, он угнал у англичан лошадь, оказавшуюся между батареями. И не так уж нужна была эта белая кобыла, сколько хотелось показать, чего стоит русская лихость, чего он сам стоит... Но, кроме лихости, которая бродилом бродила в нем, горячей кровью толкаясь в пальцы рук и ног, кроме лихости жила в нем любовь к Севастополю, только он не мог выразить ее словами. Слова были простые, маленькие: "Так что все умрем, ваше благородие", а любовь заходила в грудь, как доходит до самого сердца теплый, погулявший в полях ветер.

...Третья, вроде бы последняя жизнь началась тогда, когда рядовой П. М. Кошка был отпущен теперь уже навсегда из флота и уехал на родину в Подольскую губернию, в хату под соломой и с вишневым садочком.

А четвертая — не имеет конца:

— Матроса Кошки остановка! Следующая — Малахов курган, — объявляет кондуктор в троллейбусе сто двадцать лет спустя.

...Севастопольская учительница задала своим ученикам сочинение, в котором они должны были описать событие или судьбу, скрывающуюся за тем или иным памятником города. Учительница не ограничивала ребят ни хронологическими, ни какими-нибудь другими рамками.

Естественно, выбрали себе героем и матроса Кошку. Причем они писали так: Матрос Кошка — с большой буквы. А что? Это было его имя, может быть, если вдуматься, звучащее несколько необычно, но так сросшееся с фамилией... В разных сочинениях о матросе говорилось разное, а в одном вот что:

"Матрос Кошка был храбрым разведчиком. Он каждую ночь пробирался в окопы к фашистам и приводил оттуда языков. Он был сильный и выносливый и однажды притащил трех пленных сразу. Враги боялись Матроса Кошку, а он не боялся их, потому что решил оборонять Севастополь до последней капли крови...

Матрос Кошка погиб, когда наши брали Сапун-гору. За его бессмертный подвиг Матросу Кошке поставили памятник. Все вы видели этот памятник на проспекте Героев".

Может быть, кто-нибудь скажет: незнание истории, и все тут. А я скажу: просто для мальчишки, только что начавшего ходить в школу, история слилась в один сплошной, протяженный во времени подвиг, блестящий, словно длинная остановившаяся молния. И сам Петр Кошка встает перед ним не маленьким, курносым, незнающим грамоты недавним крестьянином, но богатырем в тельняшке, едва не лопающейся на мощной груди. И уж, конечно, никто из них не может представить, что умер матрос у себя в подольском селе, а не в бою, взлетев на гребень вражеского окопа.

Даша Севастопольская

Она была рослая, темноволосая, синие глаза ее смотрели самостоятельно, не по возрасту, потому что она осталась сиротой, и сама должна была определять свою жизнь.

Соседка, оторвавшись от корыта, в котором стирала господское белье, говорила ей, быстро глотая слова:

— Там така хмара стоит, моря за кораблями не видно! Ты меня слушай, девка, войны той не на один день. Мне сам Николай Михайлович, их благородие, говорили: миром надо за Севастополь стоять!

Как они будут стоять миром за свой город, ни Даша, ни соседка, бывшая куда старше, еще не понимали, но их волновали и эти слова, и предчувствие опасности. И Даша смутно ощущала еще как бы какое-то перемещение, движение времени возле себя, и ей хотелось пристроиться к этому движению на манер того, как летом на выбеленной солнцем улице мальчишки пристраиваются к марширующей роте. Кажется, что рота

прямо сейчас с твоей щербатой, заросшей дерезой
Корабельной отправится в дело. Как же тебе отстать?

— Я скажу: продавай хату, покупай конячку с
бричкой, а насчет товара людей спросим, какой пойдет...

Даша ничего не отвечала, только чувствовала, как
от нетерпения напрягается тело. И я вижу, как быстро,
чтоб заняться чем-то, перекладывает она тугую, молодую
косу на затылке, как развязывает тесемки фартука и все
смотрит туда, откуда надвигается на нее и на город
совсем неизвестное будущее. К сожалению, вижу я это
только своим внутренним взором, а того, какой была
Даша на самом деле, никто с точностью сказать сегодня
не может.

Сведения о ней скудны и противоречивы,
наружность ее можно только попытаться восстановить по
той фотографии уже начала XX века, где старухой среди
таких же стариков, участников обороны, сидит та
женщина, которая и была как будто Дашей по прозвищу
Севастопольская.

Но вот точные сведения: корабли вражеской
эскадры появились в виду города 1/IX 1854 года, а 8-го
того же месяца Даша уже оказалась в том бою на Альме,
который определил ее путь сестры милосердия. Известно
также, что под Альмой была она с лошадьёю и повозкой
пока кем-то вроде маркитанки.

Сражение на Альме было проиграно русскими из-за
бездарности общего командования. Но о том, что
сражение проиграно, и о том, почему оно проиграно,
Даша слышала, очевидно, много позже... А в день
сражения ей должно было показаться сначала, что сама
земля раскалывается со страшным треском, извергая
пламя и смертоносные осколки. Во всяком случае, многим

ее современникам, участникам этого сражения именно так казалось. А потом она услышала пробившиеся сквозь механические звуки стоны и просьбы раненых:

— Дочка, водицы испить, дочка!

— Дочка, тряпицы какой-нибудь, как хлещет, не унять...

— Дочка, вели, чтоб с носилками: их благородие в голову ранеты...

Иные называли ее сестрой, сестрицей, не подозревая, что уже величают будущим титулом, с которым этой женщине суждено войти в историю:

— Сестрица, в затишек меня куда-нибудь...

— Дочка, меня не тягни, я все одно мертвый, а вон молодой мучается...

И она тащила их в «затишек», под старый орех, который рос у изгиба долины, и, сострадая им, исполняла дело, при котором оказалась, наверное, неожиданно для себя самой.

Потом во время обороны прямо на позициях и в госпитале она перевязывала раненых, как, впрочем, делали многие женщины с Корабельной, видя, в том свой обыденный, почти бытовой долг. Когда город стал крепостью, на бастионы и люнеты этой крепости они носили мужьям обед, и часто снаряды или пули настигали их в пути. Но на следующий день после того, как хоронили Василису или Петровну, другие все равно шли...

В одной из своих книг о Севастополе академик Тарле возражает против исключительного внимания, доставшегося на долю матроса Кошки: "Чем же не равны

матросу Кошке все полтора-двадцать матросов Новосильского, не пожелавших никому уступить своей первой очереди — быть в полном составе перебитыми на четвертом бастионе? А ни одного имени этих людей не дошло до истории".

Однако История и обыкновенная людская память устроены так, что выбирают из многих один образ, один характер, наиболее полно в своем деянии воплощающий характер народный. Многочисленные и неоспоримые подвиги вроде подвига рядового Комиссарова или Цветковского задержались в письмах очевидцев, свидетельствуя о готовности русского рядового безропотно, даже с прибауткой терпеть лишения, жертвовать жизнью во имя общего дела. Но подвиг Кошки имел перед другими то преимущество, что совершался весело, лихо, занозисто.

Что-то, видно, было и в Даше, что привлекло к ней внимание очевидцев и потомков. Выбрало из десятков других... Что-то было, что заставило ее одну прозвать Севастопольской.

Даша, прозванная Севастопольской, дожила до 1910 года, а между тем никто доподлинно не знает ни фамилии, ни каких бы то ни было достоверных подробностей жизни этой женщины. Ее называют и Дарьей Алексеевой и Дарьей Александровой. Недавно появилось небезосновательное сомнение: не является ли Дарья Севастопольская той самой Дарьей Шестоперовой, о которой нам рассказали скудные документы архивов?

Шестоперовой тоже было 15 лет, как и Даше, когда началась осада города. Жила она вместе с матерью на Корабельной. Осталось в архивах прошение ее матери Агафьи Леонтьевны Шестоперовой из города Николаева

от 31/V 1856 года с ходатайством о награждении дочери за участие в оказании медицинской помощи раненым в период обороны Севастополя. А также свидетельство, что Дарья действительно занималась перевязкой с 5/X 1854 года по 17/IV 1855 года, доклад Инспекторского департамента от 4/VIII 1856 года с резолюцией Великого князя о награждении и, наконец, донесение полиции города Николаева о том, что серебряная медаль на Владимирской ленте вышеозначенной Дарье выдана.

Но, в конце концов, не так уж важна настоящая фамилия Даши. Важнее, что она жила на самом деле, проворная, умевшая одна поспеть за троих, наивно гордая своей наградой, такой, какая еще была у петербургских сестер из Крестовоздвиженской общины, а больше ни у кого... А еще важнее, что она не оказалась исключением: только что приведенный пример Шестоперовой об этом тоже свидетельствует.

Пирогов и сестры

Она шла рядом с высокой фурой, груженной ранеными. Совсем недавно в таких же фурах к Графской пристани свозили мертвецов, и потом унтер-офицер, прозванный Хароном, переправлял их на Северную сторону — хоронить...

Теперь между Южной и Северной сторонами навели мост, и войска уходили по нему, оглядываясь на горящий город. Севастополь держался 349 дней, пережил несколько штурмов, и вот в ночь на 27 августа 1855 года началась эвакуация войск и жителей. Под тяжестью повозок и людей плавучий мост то и дело погружался в воду, а тут еще ветер...

Екатерина Михайловна Бакунина последней из сестер покидала Севастополь. Разительно непохожим на всю ее предыдущую жизнь был этот год, проведенный под выстрелами, среди умирающих. Весь этот год она была защитницей отечества точно так же, как идущие рядом, неразличимые во тьме, глухо и дружно ступающие разбитыми сапогами по настилам моста...

— Приустали, ваше благородие сестрица? — скуластое лицо под блином фуражки выглянуло из общей тьмы, крепкая рука взяла ее за локоть. — Подсесть бы вам, лошади выдюжат.

— Ничего, и я выдюжу.

— Обвыкли, стало быть, обтерпелись?

Бакунина кивнула молча, больше своим мыслям, чем спрашивающему, пошла дальше, рядом с медленно следующей по настилу фурой.

О чем думала сестра милосердия Крестовоздвиженской общины Екатерина Михайловна Бакунина, дочь сенатора и внучатая племянница Кутузова? Может быть, вспоминала Севастопольское дворянское собрание в его страдные дни и ночи: ряды носильщиков при тусклом свете фонарей; кровь, льющуюся рекой на трех столах операционной залы; сваленные грудой в ушаты отсеченные руки и ноги, а над всем этим стоны, крики, призывы и команды врачей... Думала она, наверное, и о Пирогове, с которым привыкла мысленно беседовать и советоваться, сверяя свои поступки с тем, что требовал хирург от сестер.

...Фура дернулась и стала, высокий бок ее накренился. Колесо защемила трещина между наспех сколоченными бревнами. И сейчас же десятки рук

рванулись к работе. Что-то символическое было в этом рывке, что-то, повернувшее мысли Бакуниной в другую сторону.

Боже мой, несколько месяцев назад, собираясь там, в Петербурге, в Михайловском дворце, перед отъездом на театр военных действий, что знали они о войне? И что о своих обязанностях? Им, конечно, было небызвестно: на войне стреляют и льется кровь... Но тиф, унесший не одну из них! Но раненые, лежащие прямо в зловонных лужах под дырявым брезентом палаток! Но преступная нерадивость военных чиновников, когда даже то, что есть, не раздается со складов, и обескровленные умирают, жутко стуча зубами от холода. Господи, что бы было, если бы не Николай Иванович Пирогов! Военный хирург Пирогов был ей под стать резкой энергией, любовью к отечеству, прочным желанием служить ему до конца. Сейчас Пирогов был в отъезде, но доходили слухи: из Петербурга, куда ездил по делам, уже отбыл, вот-вот приступит к своим обязанностям.

Пирогова и Бакунину связывали многие годы взаимной симпатии и уважения. И если я в этом рассказу могу только предполагать, что думала Екатерина Михайловна о своем начальнике, то что он о ней думал и писал, известно доподлинно.

"Удивительная женщина, — писал хирург в письмах к жене, в обзоре работы Крестовоздвиженской общины, в записках. — Удивительная женщина, она с ее образованием работает как сиделка и не слушает никаких наветов", "редкий характер; нельзя не уважать".

И еще: "Ежедневно днем и ночью можно было ее застать в операционной комнате, ассистирующей при операциях; в это время, когда бомбы и ракеты то

перелетали, то не долетали и ложились кругом всего Собрания, она обнаружила со своими сообщницами присутствие духа, едва совместное с женской натурой и отличавшее сестер до самого конца осады".

...Но пока еще строки эти не написаны. Пока еще скрипит, подворачивается под ноги скользким, круглым бревном бесконечный мост, далеко не молодая сестра Екатерина Михайловна Бакунина идет по нему, заглядывая в лицо раненому с такой глубокой детской ямкой на подбородке...

— Жив? — спрашивает сестра, когда он на мгновение открывает глаза. — Жив? Потерпи еще, вот Николай Иванович вернется, веселее пойдет.

...С Пироговым сестра встретилась, чуть ли не на следующее утро. Вместе стояли и смотрели они на дальнее пепелище, на проходящие войска... Это был взгляд назад, но для хирурга война еще не была кончена. Поэтому сразу же заговорил он о будущем, спросил, понимает ли она всю незаконченность их миссии.

— Ну, разумеется, Николай Иванович. Понимаю и готова продолжать служить под вашим попечительством, — сестра отвечала спокойно, сложив пальцы больших красивых рук перед грудью.

— А если я поручу вам самостоятельную и притом совершенно мужскую роль?

— Еще один аптекарь? — спросила Екатерина Михайловна устало, но готовно.

Намек был на херсонского проворовавшегося аптекаря, пустившего себе пулю в лоб после ревизии,

проведенной пироговскими сестрами. Хирург кивнул большелобой головой:

— Превеликое множество аптекарей, Екатерина Михайловна...

Бакунина наклонила голову, показывая тем, что согласна и слушает дальше продуманный, научно обоснованный план сортировки и эвакуации раненых.

...Историки и романисты любят рассказывать, как раненый, которому Пирогов в первые дни обороны Севастополя ампутировал ногу, прийдя в себя от хлороформа, развязал припрятанную тряпицу, вынул из нее два скопленных на службе рубля и один протянул хирургу:

— Хорошо отрезал, батюшка. Прими за работу.

Но главная заслуга Пирогова заключалась все-таки не в том, что он лично резал хорошо. Крупны были его масштабы как ученого, как организатора. Хорошо резал, потому что впервые в России и одним из первых в мире применял хлороформ, наркоз, изобрел гипсовую повязку, сберегавшую от ампутации многие перебитые пулями, искалеченные конечности.

Не менее важно было и то, что он установил впервые в мире сортировку раненых, очередность при оказании помощи, отдельное содержание тех, у кого чистые раны, и тех, у кого — гангренозные. И вот теперь Пирогов предлагал Бакуниной проехать по всему пути следования, установить порядок в этапных пунктах от Симферополя до Петербурга, требовать, с неженской суровостью трясти нерасторопных, следить за порядком, уличать «аптекарей». Она согласилась и вот "в больших сапогах и в бараньем тулупе тащилась пешком по

глубокой грязи и сопровождала мужицкие телеги, битком набитые больными и ранеными; она заботилась, насколько было возможно, о страдальцах и ночевала с ними в грязных, холодных этапных избах..."

Так пишет Пирогов о последнем периоде совместной работы с Бакуниной, которую любил и почитал, пожалуй, больше других сестер. Но и к остальным относился с благодарностью за их безропотное самоотречение, за практическую сметку, трудолюбие. "Что из всего этого хаоса точно хорошо, так это сестры милосердия", — писал он и отмечал в своих письмах и записках и тех, кто занимал положение, равное положению Бакуниной, был образован, богат, и тех, кто едва ли умел писать, но в ком чувства долга и сострадания шли впереди всех других чувств.

Ключ к Севастополю

На Малахов курган надо приезжать осенью или зимой, когда не видна красота нынешних пышно разросшихся деревьев и легче представить, каким был этот холм тогда, при Корнилове, Нахимове, Истомине, Хрулеве.

Но я иду по кургану в разгар лета, смотрю на купол панорамы на месте четвертого бастиона, на блочные, многоэтажные дома на месте пятого, на желтый, основательный дом, построенный там, где стояла батарея Жерве. До того дома совсем близко, я спускаюсь по склону к нему и тут у самой куртины узенького заборчика, опоясывающего курган, ловлю миг времени столетней давности.

Заморенные засухой плети дерезы, чахлые столбики полыни, пыльный тамариск — и через все это

просвечивает белесая горячая земля. Очень много панцирей улиток, приклеенных слюдяной слюной к давно высохшим стеблям травы и закрученных на манер крохотных труб духового оркестра.

Как близко все это: место, где смертельно ранили Корнилова, место, где смертельно ранили Нахимова, место, где убили Истомина. Скорым шагом за полчаса можно обойти печальный треугольник. Но не надо ходить скорым шагом по Малахову кургану, слишком многое здесь говорит сердцу.

Этот вот такой будничнейший пригорок, даже с каким-то ларьком у бока, и есть Зеленый холм Камчатского люнета, поглотивший столько жизней и видевший столько героизма, что на него как-то странно смотреть: неужели он и впрямь, не в легенде, не в литературе и истории, существует? И до места, где стояла батарея Жерве, — рукой подать. Но не надо торопиться. Лучше представить себе, как скачет на своем приметном белом коне по Корабельной генерал Хрулев, чье имя связано с обороной не менее прочно, чем имена трех адмиралов.

Он скачет по городу, разрушенному третьим бомбардированием почти до сплошных руин. Снаряды, какие упали на Корабельную в эту, третью, бомбардировку, подсчитают потом: более пятидесяти тысяч. Пока что они не выстроились в колонки цифр, рвутся в воздухе, осыпая осколками, калеча и унося человеческие жизни. Точно так же потом подсчитают, что для атаки на Корабельную новый французский главнокомандующий, генерал Пелисье, выделил сорок тысяч войска. А пока эти сорок тысяч, затопляя пространство красными и синими мундирами, бегут,

сваливаются во рвы, карабкаются по откосам, стреляют и победно звонко горланят. Их надо понять: наконец кончается, так им кажется, долгий срок осады: сегодня, 27 мая, город, безусловно, будет в их руках, надо только взять этот проклятый курган, этот ключ к городу: ура! за Францию!

Горят красивые прочные здания городской стороны, воющие языки пламени лижут колонны; рушатся, поднимая пыль, мазанки Корабельной. Генерал торопится по опасной, пристрелянной и длинной дороге с Северной на Корабельную. Немолодой, грузный, с обвившими усами и худыми, как бы опаленными войной щеками, в лохматой, приметной папахе, а возможно, что и в той бурке, в которой любили изображать его портретисты и вспоминать очевидцы...

... А на Камчатский люнет, Волынский и Селенгинский редуты идут четыре дивизии. С нашей стороны им почти нечего противопоставить, восемьсот человек всего, потому что чудовищная неразбериха, царящая в главном штабе, дошла до апогея. До такой степени, в какую ум отказывается верить. Возмущаясь сейчас, мы должны представить, что думал и чувствовал Хрулев, спеша на Корабельную. Но есть ли у него время думать? Или все душевные силы сосредоточены на одном — поспеть? Однако почему он спешит на Корабельную? Ведь совсем недавно генерал командовал там всеми войсками и никуда не отлучался? Командовал, но был отставлен, переведен на спокойную, почти бездейственную Северную. Вместо него назначили генерала Жабокритского, да тот, узнав от перебежчиков о предполагаемой атаке, сказался больным, самовольно удалился с Малахова...

Позже историки запишут: "...Но в Севастополе видели в этом другие причины и имели основания говорить, что редуты наши проданы неприятелю". Позже историки вообще восстановят по черточкам весь этот страшный день. И о том, как кинулись к Хрулеву, напишут они, и как, прибыв на Малахов курган, генерал увидел: в ложементы перед третьим бастионом — англичане, на Камчатском люнете — французский флаг.

Правда, он не увидел, как до этого матросы и солдаты в рукопашной схватке отбили у французов Нахимова, оказавшегося, конечно же, в самом опасном месте на Камчатском люнете.

Солдаты, надо сказать, отбивали адмирала голыми руками и банниками, патроны кончились, да и целить было невозможно: как одно тело перекатывались комом наши и французы, охмелевшие от удачи.

Почти без всяких потерь дошли французы до рвов Волынского и Селенгинского редутов и овладели ими. Небольшая кучка защитников, стреляя, перебегала с одной стороны бруствера на другую. Видя неустойку, матросы стали заклепывать орудия. Лежащий у порохового погреба раненый хотел взорвать его вместе с собой, но был заколот.

Надо представить ту тоску в сердце, с какой смотрел Хрулев на вражеский флаг и думал: все могло повернуться иначе, если бы не дурацкая «распорядительность» Жабокритского, приказавшего отводить войска с передовых на ночь, несмотря на явные признаки подготавливающейся атаки...

Впрочем, как и следовало ожидать, Хрулев не остановился на Малаховом в бездействии, пораженный отчаянием, а силой шести приведенных с собою

батальонов отбил у врага Камчатский люнет. И это похоже уже на чудо, так как самое малое по 10 вражеских солдат приходилось тут на одного нашего... Но удержать «Камчатку» возможности не было.

Пять тысяч человек сложили головы в день 27 мая на бастионах и в люнетах Севастополя. А за генералом Хрулевым в этот день, наверное, еще прочнее укрепилась наивная и давно уже идущая по пятам слава "заговоренного".

И эта слава человека, который все может, и которого пули не берут, сопровождала Хрулева во время четвертого бомбардирования Севастополя и последующего за ним в июне штурма.

Штурма ждали, он был естествен после падения редутов и ключевого Камчатского люнета. Осадные батареи союзников насчитывали около шестисот орудий, и было у них вдоволь припасов. А у защитников города снарядов осталось так мало, что велено было даже переносить бомбы с судов и раскапывать старый вал полигона Северной стороны и выковыривать оттуда ядра.

И вот за сутки перед штурмом артиллерия союзников буквально стала поливать город огнем. Он "был так част, что промежутков, казалось, не было никаких, и все это с визгом и шумом лопалось в воздухе и сыпалось на город, как град!..". "Да, ночь эту я никогда не забуду. Работа была у нас ужасная, по крайней мере, 2000 человек толпилось на маленьком пространстве, чтобы достать несколько земли для заделывания повреждений от дневной бомбардировки", — вспоминают участники обороны...

А утром 7 июня огромные массы неприятеля ринулись на приступ. "На всем протяжении перед

Малаховым курганом быстро двигалась густая, черневшая лавина штурмующего неприятеля. Офицеры с саблями наголо бежали впереди".

Большую часть этой наступающей массы противник обратил против батареи Жерве. Она была взята.

И тут-то, в самый отчаянный момент, снова появляется генерал Хрулев, будто судьба его выносила именно на те участки обороны и в те моменты, когда уже ничто, кроме его личной храбрости и удачливости, не могло спасти положения.

На этот раз дело шло так.

Хрулев объезжал позиции в тот момент, когда высшего своего предела достигли стоны умирающих, проклятия раненых, крик и ругательства сражающихся, оглушительный треск, гром и вой выстрелов, лопающихся снарядов, батальонного огня, свист пуль и стук оружия.

Взята была батарея Жерве, и домики Корабельной стороны заняты французами, обходившими Малахов курган с тыла.

— Ну, ребята, навались! — будто бы именно этими словами подбадривал Хрулев солдат, и солдаты подбадривали друг друга так же: "Навались, ребята, навались!" А их оставалась кучка, и тут генерал увидел пятую роту Севского полка, возвращавшуюся откуда-то с земляных работ.

— Ребята, бросай лопаты! — Генерал кинулся к этой кучке людей в порыве, который невозможно описать. — Благодетели мои! В штыки! За мной! Дивизия идет на помощь! — А дивизии не было между тем, но момент был схвачен. Остановились растерявшиеся, выбитые с

батареи солдаты Полтавского полка, подоспел шесть рот Якутского. Французов выбили из домиков Корабельной, потом с батареи. Из 138 солдат пятой роты в живых осталось 33.

Очевидцы рисовали потом картинки, как в одном месте наши влезли на крышу и поражали неприятеля обломком трубы, в другом кричали, ворвавшись в какую-то занятую зуавами халупу: "Проси пардону, мусью!" В третьем рядовой Ищук преследовал французов, остря на ходу: "Куда же вы? Гости! Гости!"

И все это было на самом деле: и фантастическая храбрость, и шутки, возникавшие в самой неподходящей обстановке, вошедшие в историю как одно из выражений духа народного, и вера в генерала, который все может.

...Генерал Хрулев пережил оборону и умер много лет спустя вдали от Севастополя, но похоронить себя завещал на Братском кладбище, среди ста тысяч своих сподвижников. И там стоит ему памятник. "Хрулеву — Россия" — написано на нем, и еще:

К бессмертной славе за собой

Он благодетелей водил

И громкой славой боевой

Средь благодетелей почил.

А город долго лежал в руинах. Глухо стучали о каменистую землю деревяшки инвалидов, и казалось — во всем опустевшем Севастополе только и живут эти старики, неизвестно чем кормящиеся у *своих* священных развалин. Некоторые из них стояли с протянутой рукой у ворот кладбища, другие обосновались на Малаховом, где было еще тише и пустынное. Несколько тумб с

металлическими плашками обозначали, где стояла какая батарея. Несколько миндальных и оливковых деревьев коряво росло на скудной почве. Инвалиды, расстелив прямо на земле чистые тряпицы, предлагали на память грошовый подсвечник, стаканчик для карандашей, вылитые из осколков гранат, маленькую пушчонку, наверное, похожую на ту, что когда-то стреляла боевыми снарядами, обороняя курган...

Подпоручик от артиллерии

Лев Николаевич Толстой прослужил всю Крымскую кампанию в чине подпоручика. В поручики же был произведен лишь в апреле 1856 года "за отличную храбрость и мужество, оказанные в деле 4 августа у Черной речки".

Сражение у Черной речки было одним из последних и одним из самых кровопролитных сражений за время обороны. Успеха оно, как и надо было ждать, не принесло, повернуть ход войны не смогло. Тут же по горячим следам «дела» Толстой сочинил так называемую солдатскую песню, или "Песню о сражении на Черной речке".

"Как четвертого числа нас нелегкая несла горы отбирать" — так начиналась «Песня» и была одним из наиболее беспощадных произведений писателя, хоть и в совершенно как будто не свойственном ему жанре. Тут, однако, надо сказать, что Толстому принадлежит не только одна, но еще и другая песня о Севастополе, сочиненная им, правда, не полностью, как утверждают литературоведы. Песня эта родилась значительно раньше августа и наращивала куплеты по мере движения событий.

Вполне можно представить, что Толстой сам не раз слышал ее не только в исполнении сослуживцев, но также и какого-нибудь яличника, перевозившего его с Северной стороны к Графской пристани в апреле 1855 года.

"Меншик, умный адмирал, суденышки затоплял в море-пучине", — пел этот старый солдат, взглядывая на барина так, будто хвастался смелостью своих суждений, против которых нечего было возразить, под редкие всплески долетавших до бухты снарядов.

"Просил Меншик подкрепленья, а ему во утешенье Сакен приезжал..." — Ялик приткнулся бортом к шершавым камням пристани, Толстой, расплатившись, шел по разбитой, заваленной огромными брусьями, пушечными станками, заржавевшими ядрами площади, и усмешка шевелила его губы, приподнимала над внимательными глазами большие, смолоду разросшиеся брови.

Может быть, он даже продолжил негромким, но четким голосом не законченное яличником: "Меншик, умный адмирал, царю прямо отписал: Батюшка — наш царь! Ерофеич твой не крепок..."

Куплеты эти можно было услышать в штабе главнокомандующего и в землянке Малахова кургана, на Приморском бульваре в кругу офицеров во время *музыки* и в казармах, где какой-нибудь разбитной матросик, обмакивая в кипяток расплзающийся гнилой ломоть, вдруг вскрикивал высоким голосом ложечника:

"А и Залтер генерал сухари нам доставлял: больно хороши!"

...Наверное, и тот ясный, относительно тихий день, который начался скольжением ялика по голубовато-розовой воде, подпоручик Толстой провел на четвертом бастионе, где служил весь апрель и половину мая. И, возможно, именно тогда отметил он капитана-артиллериста, сидевшего на запачканном кровью лафете. Артиллерист, спокойно свертывая папироску из желтой бумаги, как показалось Толстому, кинул в его сторону взгляд недовольный. Может быть, усматривая в куплетах, в привязчивом мотивчике их некое балагурство? А может быть, просто слишком устав от полугодового сидения на четвертом, под слабой защитой туров и ям, в виду неприятельских позиций, до которых не больше тридцати-сорока саженей?..

Подпоручик Толстой мог знать только, что все его наблюдения и собственное участие в обороне города пригодятся ему для рассказов о Севастополе, один из которых был уже почти окончен. Пока подпоручик Толстой ничего еще не знал о себе как об авторе "Войны и мира", хотя и подозревал, что рожден для чего-то большего, чем для того, чтоб быть подпоручиком.

Теперь, когда прошло более полугодом с начала осады, он уже не был так восторжен, как в ноябре, когда писал брату Сергею из Эски-Орды: "...Дух в войсках выше всякого описания. Во время древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: "Здорово, ребята!" говорил: "Нужно умирать, ребята, умрете?" и войска кричали: "Умрем, ваше превосходительство. Ура!" И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что, не шутя, а *взаправду*, и уже 22 000 исполнили это обещание".

Не то, что теперь, весной, дух войска казался Толстому слабее, но как бы отпала необходимость доказывать беспримерную храбрость солдата, и он благодарил судьбу за то, что видел этих людей и жил в это славное время.

..."Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, — писал он дальше, — то потомство поставит ее выше всех других... Только наше войско может стоять и побеждать (мы еще победим, в этом я убежден) при таких условиях. Надо видеть пленных французов и англичан (особенно последних): это молодец к молодцу, именно морально и физически, *народ бравый*. Казаки говорят, что даже рубить жалко, и рядом с ними надо видеть нашего какого-то егеря: маленький, вшивый, сморщенный какой-то..."

Что ж, это был тот самый егерь, которого проворовавшийся Залтер кормил, и то не досыта, гнилым провиантом, которого "Данненбергу поручили, при сем особенно просили: войску не жалеть!" Которого оставил в поле под Альмой *умный енерал*. Меншик молвил: "Счастья вам желаю, сам пошел в Бахчисараю".

Именно из этих безымянных солдат и офицеров, окружавших Толстого на четвертом бастионе и далеко не принадлежащих к блестящим фамилиям (в письмах Толстой говорит о них: *из темненьких*), родились не одни герои "Севастопольских рассказов", но и герои "Войны и мира", ибо близко, очень близко с четвертого бастиона до капитана Тушина, да и, пожалуй, до генерала Серпилина, хотя это уже совсем другая страница, написанная другим автором...

Красное зарево на фоне серого неба

*Мало их, но ими расцветает
жизнь всех; без них она
заглохла бы, прокисла бы; мало
их, но они дают всем людям
дышать; без них люди
задохнулись бы.*

*Велика масса честных и добрых
людей, а таких людей мало; но
они в — ней теин в чаю, букет
в благородном вине; от них ее
сила и аромат; это цвет лучших
людей, это двигатели
двигателей, это соль земли.*

Н. Чернышевский

Перед смертью за 10 минут

Перед самой казнью, стоя на черном помосте, она все еще вглядывалась в толпу, которая собралась на Семеновском плацу. Лиц нельзя было разглядеть, но хотелось верить: не все пришли из любопытства или злорадства, будут среди тех, кто стоит там, внизу, и последователи. И не хотелось верить, что серый туман усталости опустится на империю, и каждый отныне займется своими ничтожными болячками, забывая о долге перед народом.

Нет, не в убийстве царей заключался долг. Как ни странно, она, Софья Перовская, не всегда была за террор. Но ведь невыносимо представить: кончится

террор, и все кончится, останется только эта барабанная дробь, под которую нельзя дышать, нельзя надеяться, думать...

Барабаны били, потому что при казни им положено бить: оглушать, диктовать одинаковость шага, готовность к исполнению. И еще барабаны нужны при казни для того, чтобы нельзя было разобрать слов, если кому-нибудь из осужденных вздумается крикнуть.

Сама Софья Перовская кричать не собиралась, она только перебирала своими светлыми, детскими глазами толпу, надеясь: вдруг различит чье-то знакомое лицо. Зачем ей? Ведь на таком расстоянии взглядом не обменяться, не понять, что там, в ответ тебе метнулось: страх, сочувствие, непоколебимое желание продолжить борьбу?

Двенадцатитысячное войско охраняло место казни и путь к нему в этот апрельский день. Может быть, это должно утешить? Силу выставляют против силы.

И вдруг там, далеко в узком разрезе улицы, где чернела и шевелилась толпа, она увидела море... Море блестело на солнце, а берег уходил в волны рыжим глинистым мысом. Подошвами ног, всем телом она почувствовала, как горяча галька, как весело идти по ней, отбегая от маленьких волн.

Море, неожиданно возникшее там, в конце петербургской улицы, подходило к ней все ближе: томительно пахла разогретая солнцем морская трава — камка, маленькие белые ракушки веерочками лежали на песке.

Раньше, когда впереди была целая жизнь, она не замечала эти ракушки. Но сейчас ей захотелось увидеть

их слабый рубчатый след на своем теле, услышать почти неуловимый звук воды, чмокающей в камнях, почувствовать тяжесть полуденного солнечного луча на поднятой к нему ладони.

Она оглянулась, отрываясь от моря, посмотрела на товарищей. Безобразные полосатые балахоны смертников, на груди каждого дощечка — «цареубийца»... А над этими дощечками — молодые, красивые, спокойные лица. Спокойнее всех Кибальчич. Андрей Желябов улыбнулся широко, взглядом отстраняя священника. Как можно улыбаться?

И вдруг она поняла, что видит его улыбку в последний раз, что все вообще в последний раз. И никогда уже не будет Севастополя, парома на Северную сторону, домика с двумя чердачными окнами, сухих, ласковых рук матери, ее печального лица. И никогда, никогда они с Андреем не пойдут по мокрому песку, по жесткой траве к горизонту, затянутому дрожащим маревом!

Это стало как будто открытием души, не нужным, возможно, за десять минут до смерти. Оказывается, как всем людям, кроме борьбы, ей хотелось обыкновенного человеческого счастья. И счастье во всей его полноте должно было оказаться вот таким простым: они с Андреем идут рядом по остывшей к вечеру земле. Пахнет сеном, предзакатная пыль мягка и тепла, и тяжело, размеренно навстречу ступают волны, поскрипывает мажара, загорелый парень-батрак покрикивает «цоб-цобе» и нехотя вертит над головой длинной лозиной.

Всю свою недолгую жизнь она отдала борьбе за народное дело: занятиям с рабочими, конспиративным

квартирам, нелегальной литературе и яростным, принципиальным спорам, когда до кости, не то, что до живого мяса, обнажались свои принципы и отвергались чужие. В 17 лет она ушла из дому, жила по чужим паспортам, была хозяйкой квартир, откуда начинались подкопы, где хранилась взрывчатка, куда сразу после побега приходили осужденные на каторгу товарищи.

Вспоминая о ней, будут говорить о ее детском лице с выпуклым по-ребячьему ясным лбом, о белом воротничке на черном единственном платье, о ее необыкновенной аккуратности, заботливости, самоотверженности. Но станут говорить также и о том, что ни в детские годы, ни борясь за свои убеждения, она не знала страха, о том, что душевные силы ее были безграничны, характер тверд, и именно она, принципиальная противница террора, в последнее время держала все нити покушения на Александра II в своих руках.

Но пока еще не время воспоминаниям, пока она еще жива, смотрит на Желябова, и степной берег, остывая, лежит у их ног...

Берег этот — около Приморского, имения матери Перовской вблизи Севастополя. Сюда приезжала Соня отдохнуть от очередных провалов "Земли и Воли", здесь скрывались товарищи, бывшие на нелегальном положении, от этого берега уплывала она так далеко к горизонту, что никто не решался догонять ее: "Соня, вернись! Ведь страшно же!"

Только сейчас стало по-настоящему страшно: никогда не будет над рыжим обрывом куста лоха, никогда не будет маков в степи и маленьких ракушек на песке...

Все трое подошли, поцеловали ее: Желябов, Кибальчич, Михайлов; от предателя Рысакова она отшатнулась... Первая женщина, казненная в царской России по политическому делу. В этом она добилась столь дорогого ей равноправия.

Впрочем, об этом сейчас не стоит думать. Лучше о том, что она была счастлива все-таки, хоть прожила мало, и будто отказываясь от всего, что составляет счастье молодости: от беззаботности и блеска, от вальса и белого платья, от свободного времени и свободных денег.

Рядом — виселица и пять черных наскоро сколоченных гробов. А там, в узком проеме улиц, веселится, разливаётся, обещает бесконечность море...

С Крымом Софья Перовская связана не только поездками в приморье к матери. В Крыму в первые годы ее отрочества Лев Николаевич Перовский, отец революционерки, был вице-губернатором. Отсюда перевелся в Петербург уже губернатором столичной губернии. К этому можно еще прибавить, что дед ее был когда-то губернатором Таврическим. Обыкновенно биографы Софьи Перовской с этого и начинают, а затем сами удивляются и читателя заставляют удивляться: из такой семьи! от чего отказалась! и как это могло получиться?

Действительно — как?

Когда Софью Перовскую арестовали, департамент полиции немедленно вызвал из Приморского ее мать Варвару Степановну. Граф Лорис-Меликов передал ей "настоятельную просьбу или вернее приказание государя употребить все влияние на дочь, чтобы она выдала своих

соучастников, потому что необходимо положить конец этому пролитию крови".

"Дочь моя с раннего детства обнаруживала такую самостоятельность, что ее нельзя было заставить делать что-нибудь по приказанию. На нее можно было влиять только лаской или убеждением. Теперь же она — взрослый человек вполне сложившихся взглядов. Она ясно понимала, конечно, что делала, и потому никакие просьбы не могут повлиять на нее", — ответила Варвара Степановна.

Не удивительно, что у такой матери выросла такая дочь.

Кстати, и младший сын Варвары Степановны Перовской, Василий, долгое время живший в Приморском, тоже был причастен к революционной борьбе.

Если же вспомнить губернаторов, то надо сказать, что дед Соню не воспитывал, семьи жили розно. А отец своим эгоизмом, капризной жестокостью и другими столь же мало симпатичными чертами только усиливал влияние матери. К тому же не следует забывать, что Соня очень рано ушла из дому.

Но одной думающей, чуткой, справедливой матери недостаточно для того, чтоб дочь выросла убежденной революционеркой. Нужны еще среда и случай.

Среда появилась в Петербурге на женских курсах, где училась Соня, и где живы были идеи социальные. Случай же пришел еще раньше. В Женеве, куда по семейным делам ненадолго выезжала из Крыма Варвара Степановна, Соня подружилась с такой же, как она,

двенадцатилетней девочкой Варенькой Поджио, дочь декабриста Поджио.

"Двенадцать лет, — скажут некоторые. — Не рано ли, чтоб воспринимать какие бы то ни было идеи?" Наверное, не рано, если это идея борьбы за справедливость.

...Зеленеет долина реки Бельбек, утопает в садах Любимовка, а обрывы над морем все так же яркие, и так же заваливается на ветру серебряный куст лоха. На пригорке напротив трехэтажной новой школы стоит дом с деревянной дряхлой верандой и двумя чердачными окнами, которые пусто смотрят на море.

Но я могу представить себе в одном из них маленькое лицо с детским лбом и щеками. Лицо сестры милосердия, учительницы, но никак, казалось бы, не террористки...

В Любимовке этой женщине поставлен памятник. 2 августа 1974 года сюда приезжала артистка, которая играла Софью Перовскую в одноименном фильме. Вот в музее совхоза в книге отзывов ее росчерк. Дальше мне предлагают написать что-нибудь, и я вывожу невразумительные слова...

Со страшной силой действует, когда ты можешь сказать себе: вот здесь она ходила, эта туя росла при ней, вот это она тоже видела. Хотя уместнее: вот этого она не видела. Потому что прежним осталось только море. А село все сплошь новое, и ничего напоминающего прежние мазанки в нем нет.

"Повій, вітре, на Україну..."

Было лето 1942 года. По симферопольским улицам гнали пленных из-под Севастополя. Канатами они были связаны друг с другом, шли, как одно большое тело двигалось. Когда падали раненые, остальные тащили их на себе. Волочились по пыли и умершие в этой страшной связке. Время от времени пленные начинали петь. Пели больше всего "Раскинулось море" и «Интернационал». Напрягались мускулы под изорванными тельняшками, под темными от пота и крови гимнастерками, напрягались глотки, глаза глядели прямо перед собой, не ища сочувствия. Немцы стреляли в певших, гоготали: хорошо бы через всю Европу, а не только через оцепеневший городишко прогнать этих в тельняшках, да так, чтоб отбить охоту петь.

"Катюшу", "Волочаевские дни" немцы тоже различали и по ним тоже стреляли. Но вот над улицей возникла и пошла вверх совсем другая песня:

Повій, вітре, на Україну,

Де покинув я дівчину...

Ее пел легкий, как будто ничем не утомленный, а только грустный голос. Пел сам по себе отдельно от шарканья подошв, от тяжелого запаха несмытой крови:

Де покинув карі очі,

Повій, вітре, опівночі.

Минуту-другую конвойные не обращали внимания на песню. Потом все-таки кто-то выстрелил, точно, спокойно прицелившись, как в неживую мишень. Охнул, захлебнулся убитый, шедшие по сторонам потянули

лямку со страшным грузом. И вдруг песня ожила. Несколько голосов пели ее теперь без нежности, на которую она была рассчитана, пели с угрозой, с последним вызовом.

...Я услышала эту историю сразу после войны, но только недавно, уже собираясь написать о поэте Степане Руданском, узнала, что он автор слов песни, о которой шла речь. Еще о Руданском я узнала, что служил он врачом в Ялте, был там же мировым судьей, но жил скудно. Хочется расшифровать это «скудно». Начнем с того, что вместе с приработками в имении Воронцовых Руданский имел в год 500 рублей. Что из себя представлял подобный доход, можно судить по письму Руданского к брату: "Я уже могу каждый день свой обед иметь. И только то, что обед, а ужина еще на эти деньги иметь не смогу". Но и сам страдая от нехваток, Руданский тем не менее умудрялся помогать городской бедноте. А как было не помогать, если на весь город 8 больничных коек? И те для мужчин. Женщина же — в каком бы состоянии ни была — лечись на дому!

Однако и тот, кто попадал в больницу, оказывался в положении далеко не завидном. Старое, отданное внаем каким-то купцом, здание было тесным, северная стена его никогда не просыхала, текла крыша в комнате фельдшера. Служитель, он же дворник, жил летом на открытом воздухе, зимой спал на полу в палате, в кухне на полу спала кухарка — так писал в своих отчетах городской врач Руданский. Там же он писал, что эпидемия холеры унесла тридцать больных из семидесяти двух; эпидемия оспы — девятнадцать из шестидесяти. Сам врач болел желудком "по бедности

содержания", боролся с чахоткой, которую получил в Петербурге во время нищенского студенчества.

Умер Руданский молодым, тридцатидевятилетним, похоронен в Ялте на Массандровском кладбище.

Печальна была судьба человека. Трагично, как считают литературоведы, сложилась судьба Руданского-поэта. Он сумел опубликовать всего семь стихотворений, несколько переводов, а написал совсем не мало. Но у его произведений была другая жизнь. Часто, оказавшись где-нибудь в бараке или у шалаша на виноградниках, где лежал в лихорадке батрак — хлопец с Подолья или дед из-под Полтавы, ялтинский врач мог наблюдать такую сценку. Поправляя под головой больного сопревшие лохмотья или подавая ему жбан с водой, земляк утешал земляка какой-нибудь байкой, например, о старухе, равно ставившей свечку и богу и черту: "Треба всюди, добрі люди, приятелів мати..." Или о мужике, отбрившем барина острым словом насчет цены дурням, о цыганчонке, которому для сугрева одно только оставалось на морозе: перепоясаться по голову пузу.

Я думаю, ялтинский врач улыбался в усы, узнавая свои *спивомовки*. Строчки спивомовок были как бы подслушаны у народа, возвращены ему еще более отточенными. И вот, сделав новый круг, они снова добрались до автора выдержавшими испытание...

Вряд ли Руданский не знал цены такому испытанию, вряд ли он не понимал: вот так ненароком подглядеть жизнь своего творения куда дороже, чем увидеть его напечатанным на самой роскошной бумаге в столичном журнале. Так что, может быть, не надо говорить о трагической судьбе поэта? Одно только можно сказать наверняка: ему и в голову не приходило, что в самые,

казалось, мягкие, самые лирические его строчки будут стрелять. И что в свою очередь они оцетинятся оружием, хоть на несколько минут станут в один строй с "Интернационалом"...

Люди шли на смерть, волочили уже умерших, напрягали несогнутые, молодые плечи, пели:

А як мене позабула
Та другого пригорнула,
То розвійся край долини,
Не вертайся з України.

...И это была песня о верности Родине.

Рассказ с прототипом

Все знают, что Горький бывал в Крыму, и многие знают даже то, что в 1891 году он пришел сюда босяком. Еще не Горьким, а Пешковым, разумеется...

Сам Горький описал свое путешествие по Крыму в рассказе "Мой спутник". Горький со своим спутником Шакро, назвавшимся кавказским князем, пешком шел из Одессы в Крым и потом немало поплутал по его городам, забитым голодающими.

Наверное, эти голодающие выглядели особенно трагически на фоне крымской праздничной природы. Но о голодающих в этом рассказе Горький пишет мало. Они с Шакро голодали, но *голодающими* не были. Они были молоды, перед ними маячила надежда и цель: шли на богатый Кавказ к родственникам «князя». А *голодающие* серой, отупевшей массой разливались по дорогам, вымаливая: "Будь благодетелем, господин, возьми! Мы за

всякую цену согласны, нам бы на кусок только, потому как больно уж мы ослабли животами!" — это уже из очерка "Два босяка", рассказывающего о частном случае во время путешествия из Одессы до Тифлиса.

Во время этого путешествия Горький бил камни для алуштинской мостовой, где-то под Ялтой нанимался чистить сад, в Бахчисарае и Севастополе тоже принимался за любую работу, чтоб прокормить себя и своего спутника.

...Из Алушты к Судаку шли берегом... Почему-то считается, что именно в Канакской балке был разложен тот костер, к которому относится описание: "Костер горел весело, и его огонь казался большим пылающим букетом красных и желтых цветов. Он тоже рождал тени, и эти тени весело прыгали вокруг нас, как бы рисуясь своею живостью перед ленивыми тенями луны". А между тем немного раньше в рассказе совершенно определенно говорится: "Отойдя *верст двадцать* от Алушты, мы остановились ночевать".

Верст двадцать — это никак не Канакская балка. До той гораздо дальше. Недавно я прошла этот же путь мимо пустынных шиферных холмов, поросших молочаем, скудной травой и узловатыми деревьями дикого миндаля. Мимо зеленых маленьких балочек, сейчас густо заселенных всяческими лагерями и базами отдыха, до Сотеры, веселой долинки. Именно здесь восемьдесят пять лет назад горел костер, возле которого покатывался от смеха самовлюбленный и жалкий спутник: "Ха, ха, ха! Какой тэбэ глупая рожа! Савсэм как у барана!"

А человек сидел и всего-навсего любовался тем, что не может быть съедено, украдено, перепродано —

пламенем костра, лохматым сумраком ночи, неясными бликами на волне.

Лопнуло терпение, обиженный злым смехом, Пешков решил оставить этого человека, предъявляющего какие-то необъяснимые права на его личность. Решил — и ушел по берегу. Шел долго, без дум, почти без сознания, полный жгучим ядом обиды. "Я обнимал всю природу и молча, всей душой объяснял ей в любви..."

Но Шакро догнал, выпросил прощения: путь домой был еще далек, а он нуждался в широкой душе, которая всегда отдаст больше, чем возьмет...

"Феодосия обманула наши ожидания. Когда мы пришли, там было около четырехсот человек, чаявших, как и мы, работы... Всюду — и в городе, и вокруг него — бродили группами серые, удрученные фигуры голодающих и рыскали волчьей рысью азовские и Таврические босяки.

Мы пошли в Керчь".

В Керчь двигались уже не вдоль моря, а степью. Шли теперь прямо на восход по розовой в первых лучах солнца пыли. Редкая стерня, небогатые подсолнечники, ни деревца при дороге, пыльная сирень под окнами присевших по оврагам мазанок...

Укрыв на керченской брандвахте лодку, спутники переправились на Кубань, дошли до Тифлиса, и здесь князек исчез. Горький пишет в рассказе: "Я никогда больше не встречал этого человека — моего спутника в течение почти четырех месяцев жизни..." Однако встреча все же произошла.

Рассказ "Мой спутник" был напечатан в "Самарской газете" в 1894 году. А в 1903-м на грузинском языке

появился в воскресном листке приложения к газете «Цносбис-Пурцелли». Человек, послуживший прототипом образа Шакро, явился в газету с просьбой объяснить, как это писатель Максим Горький мог столь точно узнать подробности его путешествия с неким Пешковым.

Думаю, впрочем, что просьба походила больше на претензию. А возможно, я не права, возможно, спутнику льстило внимание, мерзости же своего поведения он и теперь не в состоянии был увидеть — солидный господин, снисходительный к грехам молодости... Тем более, что и сам писатель заканчивает рассказ о спутнике:

"Я часто вспоминаю о нем с добрым чувством и веселым смехом".

Рассказ спутника был записан газетчиками и опубликован тут же. Заметка эта попала и на глаза писателю, но продолжить знакомство Максим Горький что-то не захотел... Только в письме к своему другу К. Н. Пятницкому, прилагая тифлисскую газету, Горький написал: "Посылаю очень интересный документ, полученный мною сегодня 26-го октября, в день одиннадцатой годовщины моего писательства.

Пишет Шакро, "Мой спутник". Сохраните это письмо, оно все же подтверждает тот факт, что я не очень много вру".

Тогда у него была уже европейская известность не только писателя, но и общественного деятеля. Уже состоялись демонстрации при его отъезде в Крым; уже — во избежание волнений на пути следования — вагон, в котором ехал писатель, был отцеплен полицией от состава, идущего через Москву, и препровожден окольным путем в Подольск. Уже состоялись выборы его

Академией наук в почетные академики (как раз в то время, когда он жил в Крыму), уже самим царем выборы эти были признаны недействительными, и уже Чехов с Короленко — в знак протеста — сложили с себя почетные звания, отослали свои дипломы в Петербург.

Мало того, в это время Максим Горький уже был спутником Чехова и Толстого по их ялтинской жизни, встречался с ними часто и не только прислушивался к ним, но и заставлял их прислушиваться к себе силой таланта и своеобразностью натуры. Уже в Московском Художественном театре, наряду с пьесами Чехова, шли «Мещане» и Нила играл Станиславский.... Уже пьеса "На дне" была поставлена не только Художественным театром, с блеском и потрясающим успехом она обошла театры многих европейских стран...

Да мало ли чего исполнилось к этому времени в жизни бывшего босяка Пешкова, и, очевидно, все это рассказали тифлисские газетчики спутнику.

— Ай-ай-ай! — как он схватился за голову, как пританцовывал в сожалении короткими полными ножками. — Такого человека не разглядел, обидел! Думал: глупый человек. Зачем дела не знает — не жадный? Зачем море любит, дерево любит? Ай, не разглядел — нужный человек!

Но тут я хочу оставить в покое эту мелкую душу и сказать о том, что в Крыму Горький после того — первого раза и после второго в 1901 году бывал еще часто. В последние годы жизни он не уехал на зиму в Италию, как велели врачи, и жил в Тессели на Южном берегу, возле Фороса.

"У Вас — слякотно? — спрашивал он Всеволода Иванова в одном из писем. — То же самое началось и

здесь: туман, дождь, никакого моря — нет, а просто в небольшом пространстве, плотно замкнутом серым киселем, натканы мокрые деревья, мокрые камни, среди них — мокрый дом, в одной из его комнат сидит угрюмый усатый старик, у него ноет правое плечо от ключицы до локтевого сгиба, он кашляет, курит и пишет Вам длиннущее письмо".

Кроме того, писал отсюда несколько раз Ромен Роллану, уговаривая приехать в Советский Союз и поселиться в Крыму, многожды — корреспондентам журнала «Колхозник», чьи рукописи он отвергал или принимал, неоднократно — биографам и исследователям своего творчества, Константину Федину о некоторых издержках издания "Библиотека поэта"; бывшим воспитанникам Томской трудовой коммуны, пензенским пионерам и двум тысячам пионеров Игарки, Антону Семеновичу Макаренко о задачах воспитания молодежи; некоторым авторам предполагаемой серии истории фабрик и заводов, собирателю фольклора Дм. Осину, письма с конкретными предложениями, с очень подробным разбором удач и неудач, А. А. Суркову о задачах руководства Союза писателей, слепоглухонемой О. И. Скороходовой, артистке С. Г. Бирман, репетировавшей роль Вассы Железновой, и другим.

А ведь он был больной старик шестидесяти восьми лет, работавший над "Климом Самгиным". Поистине — он всегда стремился больше отдать.

Письма Чехова

Совсем недавно в книге "Летопись жизни Чехова", в которой одни только документы и факты, я прочла, что после отъезда родных из Таганрога в Москву

гимназистом пятого класса он продавал за гроши разные там банки, кастрюли, оставшиеся от разоренного хозяйства родительского, и этим помогал семье. Какая, конечно, помощь, но и она была нужна, если мать писала: на хлеб и светло, мол, осталось четыре копейки.

Разумеется, я и раньше знала, что нуждались. Но нужда нужде рознь, а эти четыре копейки надавили на меня такой же тоской, как та предсмертная пушкинская морошка, которую брали у лавочника в долг.

Тут надо сказать, на копейки я обратила особое внимание не потому, что ялтинская жизнь писателя составляла прямой контраст таганрогскому детскому прозябанию. А потому, что в «Летописи», относящейся к ялтинскому периоду, на каждой странице встречались упоминания то о деньгах, отданных на строительство школы в Мелихове, то о собранных среди ялтинцев в помощь голодающим детям Самарской губернии, то о спектаклях, поставленных при содействии А. П. Чехова в пользу строительства Пушкинской школы, то о подписном листе, пущенном по России с целью собрать на санаторию для чахоточных.

Человек, выросший из мальчика, продававшего кастрюльки, хорошо должен был помнить медный вкус голода во рту, хорошо понимать отчаяние, какое в Ялте охватывает неимущих.

"Видеть их лица, когда они просят, и видеть их жалкие одеяла, когда они умирают, — это тяжело; мы решили строить санаторию, я сочинил воззвание; сочинил, ибо не нахожу другого средства. Если можно, пропагандируйте сие воззвание через нижегородские и самарские газеты, где у Вас есть знакомства и связи.

Может быть, пришлют что-нибудь" — это из письма Максиму Горькому.

И вот я вспоминаю об этом, а могла бы написать совсем другую страницу — нарядную. Очень нарядную страницу о жизни Чехова в Ялте: о его встречах и дружбе с молодым Буниным, с молодым Горьким, Куприным. О его поездках в Гаспру к очень уже старому и больному, как бы с трудом продолжавшему обряд жизни Толстому. Просто о поездках за город, ночью, когда кровь томится и кипит от избытка сил, замыслов, надежд. А еще оттого, что цикады распиливают лунный воздух на кусочки, и каждый такой кусочек роится и блестит в высоком южном небе... Я смогла бы написать о поездках — целой кавалькадой — на шашлыки к знакомому шашлычнику, о поездках к Учан-Су, в Гурзуф, Кореиз, о молодых спорах, молодых шутках и прозвищах. Наконец, я могла бы написать о самом главном случае в ялтинской жизни Чехова, о том, как приехал в апреле 1900 года специально к нему Московский Художественный театр. Но эти страницы знают все, они стали хрестоматийными, за ними стерлось, отошло на второй план такое: "Третьего дня здесь в приюте для хроников, в одиночестве, в забросе умер поэт «Развлечения» Епифанов, который за 2 дня до смерти попросил яблочной пастилы, а когда я принес ему, то он вдруг оживился, зашипел своим больным горлом радостно: "Вот эта самая! Она". Точно землячку увидел".

Вслед за письмом Горькому идет письмо журналисту Тараховскому: "Напечатайте хоть несколько строк в "Приазовском крае". Напирайте на то, что мы хотим устроить санаторию. Если бы Вы знали, как живут здесь чахоточные бедняки, которых выбрасывает сюда Россия, чтоб отделаться от них, если бы Вы знали, — это один

ужас!" И к брату Михаилу: "Приходится бороться с этим кошмаром и пускаться на разные фокусы. Зри прилагаемый листок и, пожалуйста, если можно, напечатай все или в выдержках в "Северном крае". Окажи содействие".

К тому, что поступило в фонд "Попечительства о приезжих больных", Чехов добавил свои пять тысяч, и на эти средства был создан «Яузлар» — первый небольшой, на 20 человек, пансион, куда могли приезжать те самые *неимущие* "с бациллами, с кавернами, с зелеными лицами, но без гроша в кармане..."

А что, много это или мало — пять тысяч для человека, умевшего долгое время считать по копейкам? Как они вынимались из кармана? Неощутимой мелочью? Или значительно урезывая возможности семьи? Вот ведь в чем вопрос.

Пять тысяч — это был приблизительно годовой заработок. А кроме литературного заработка, никаких доходов у Чехова не было. Без хлеба после пожертвования Чехов, разумеется, не остался, но... Но часто ли отдаются годовые заработки на чужие нужды? Нет, малым делом назвать это как-то язык не поворачивается. Точно так же, как строительство школы в Мухалатке, для которой, кстати, Чехов вынужден был войти в долги, потому что нужной тысячи у него не оказалось. А кроме тысяч, уходили многие сотни: на голодающих Казани, на библиотеку в Таганроге, на помощь студентам, сосланным в Сибирь, на обучение в гимназии чужих детей, на проезд в Ялту больных учителей, на страшно бедствующих курсисток медицинских курсов.

...И еще вторая есть черта в той давней, для многих привычной репутации Чехова: "Я в Ялте в ссылке, быть может и прекрасной, но все же ссылке", "Я злюсь, злюсь и завидую той крысе, которая живет под полом в Вашем театре". Это почему-то чаще вспоминают, чем другие строки, которые тоже без числа можно набрать в его письмах: "Крымское побережье красиво, уютно и нравится мне больше, чем Ривьера". "Погода очаровательная. У меня такое настроение, что так бы все сидел, писал и посылал по почте рассказы". "...Наступила великолепная весна. Светло до боли в глазах, тепло, цветут фиалки, миндаль, у моря ласковый вид".

Однако дело, наверное, не в количестве строчек, их можно противопоставлять друг другу до бесконечности. Дело в том, чтобы вспомнить: Чехов не просто сидел в Ялте, переживал московские морозы. Он был безнадежно болен, он тосковал по женщине, которую любил, которая была в центре московской бурной общественной жизни, и от этого тоска становилась только нестерпимее: "Ты знаешь, милая? Сгорел тот самый театр, в котором ты играла в Ялте... А еще что у нас нового? А еще ничего".

В Ялте — ничего, Аутка же, где его заперла болезнь, не была даже окраиной города, а всего лишь селением на горе. В зимние ночи глухо ворочалась под боком у белой дачи мутная река; тускло белели могильные столбики татарского кладбища; как и положено в деревне, тявкали собаки, пахло прошлогодним прелым листом. Прохожих на улицах не было, ставни закрывались рано, а за ними керосиновые лампы с пузатыми стеклами желтым кругом освещали у кого что: вязанье, разложенный неторопливой рукой пасьянс, роман Пьера Лоти...

У него круг желтого света падал на фотографию молодой темнобровой смеющейся женщины в жесткой прическе валиком. Ей он писал: "После того, что мною и тобою было пережито, мало писем, надо бы продолжать жить. Мы так грешим, что не живем вместе!" "Скоро же ты приедешь? Я жду, жду, жду... А погода скверная, скверная..." "Во вчерашнем письме ты писала, что ты подурнела. Не все ли равно! Если бы у тебя журавлиный нос вырос, то и тогда я бы тебя любил..."

...Было холодно, дул истомляющий душу ветер, гремел за окном полуоторванный лист железа. Снимая соринку с пера, он подумал, что скоро умрет, но жизнь станет продолжаться и после его смерти. И не просто продолжаться со своими дождями, с воем собак и козым бляньем на пустыре — жизнь будет меняться, во многом, очевидно, к лучшему, так, как он обещал в своих рассказах и пьесах.

...Он опять посмотрел на перо, подняв его к свету, и в этот момент зазвонил телефон. Еще не сняв трубки, Чехов подумал, что звонит почтовая барышня: как всегда, наверное, не откладывая до утра, спешит обрадовать телеграммой. И в самом деле, молодой, слабо долетающий голос стал читать: "Считаю пьесу лучшим из всего прекрасного Вами написанного. Сердечно поздравляю гениального автора. Чувствую, ценю каждое слово" — это по поводу "Вишневого сада" писал К. С. Станиславский.

Телеграмма от Немировича-Данченко пришла совсем ночью: "Сейчас прочел пьесу труппе... Впечатление громадное. Общий голос, что творчество ширится, крепнет".

Дождик все так же шумел за углом, ударяясь в стену вместе с порывами ветра. Кроме "Вишневого сада", Чехов в Ялте написал "Трех сестер" и рассказы "В овраге", «Архиерей», "Дама с собачкой", "Невеста".

Винодел Голицын

На воде лежало слегка вытянутое по горизонту, ровно светящееся солнечное пятно. А само море казалось как бы пришпиленным к берегу — так неподвижно и шелково оно было. Поднимая тосты за здоровье, за успехи, за благополучие хозяина, все оглядывались от стола на это море. И оно, и сыпучие горы Нового Света, длинными хребтами врезавшиеся в воду, и заросли можжевельника, треск цикад, запад смолы, разогретых солнцем виноградных листьев — все не только обрамляло, но и усиливало праздник...

Поднимались бокалы за друзей, учеников, последователей. Но вдруг провозглашен был тост за врагов. Сам хозяин праздника, князь Голицын, известный русский винодел, король экспертов, предлагал его, вызывая недоумение...

Кого имеет в виду этот эксцентричный человек? Кто нынче у него ходит во врагах? Удельное ведомство? Сам государь, оставивший в свое время князя от службы в этом ведомстве?

Нет, князь Голицын вспомнил врага иного. Князь враждовал с ним всю жизнь, с этим приезжим из Бордо, который в доме грибоедовского Фамусова, да и в любом другом доме собирал вокруг себя род веча и сказывал, как собирался в путь, в Россию, к варварам со страхом и слезами...

Самоуверенный невежда оспаривал и его успехи, вставлял и ему палки в колеса. Фигура этого ловца счастья и чинов, то юркая, то солидная, с орденом Почетного Легиона в петлице, маячила перед Голицыным и сегодня, в день его торжества по поводу двадцатипятилетия плодотворной деятельности на ниве отечественного виноделия.

Лев Сергеевич Голицын, едкий оратор, воинствующий патриот, эпатировал людей своего круга не только нарочито грубым армяком и неожиданными тостами. В восьмидесятых годах только что минувшего века он критиковал самодержавие, в девяностых — укрывал у себя раненых участников московских уличных боев. В столице извозчики называли его Дикий барин, здесь в имени он был известен как Аслан Дели — сумасшедший Лев, то есть непохожий, неожиданный, не такой.

Однако не эксцентричностью поведения вспоминается в наши дни Голицын, а тем, что был одной из самых ярких фигур отечественного виноделия. Вернее сказать, он был борцом за отечественное виноделие, ибо в его время надо было пробиваться сквозь авторитет того самого французика из Бордо, который заполнил свою продукцией рынки да еще доказывал при этом: в России настоящих виноградных вин нет и быть не может.

В Москве на Тверской, рядом с генерал-губернаторским домом, Голицын держал магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников "Новый Свет" и продавал в розницу чистое виноградное вино по двадцать пять копеек за бутылку.

— Я хочу, чтоб рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино! — заявил он. — Мы богаты, наш юг создан для виноградарства!

"Около Судака, в имении "Новый Свет", протекала исполненная фанатической любви к виноградарству и виноделию деятельность Голицына, чрезвычайно много внесшего в культуру крымских виноградников вообще и, в частности, создавшего коллекционный виноградник из лоз всего мира, и образцовые, выкопанные в скалах подвалы, сохраняющие в своих недрах единственное собрание самых драгоценных вин всех стран" — так говорит о Голицыне современник и очевидец, а кроме этих достоверных слов, есть в моем распоряжении строки той самой речи Голицына, которую он произнес на своем празднике сразу же после неожиданного тоста.

"Наша слабость, — говорил в своей речи Голицын, — заключается в том, что мы себе не верим. Мы читаем иностранные книги, мы слушаем иностранных людей и вместо критики отступаем перед ними с благоговением.

Да разве иностранец желает, чтоб наша промышленность возникла, чтобы мы явились ему конкурентом?! Никогда!" И дальше подкрепил это восклицание рассказом о том, как некий господин Г. Г., рекомендованный синдикатом бордоских торговцев, загубил виноградники у кахетинских и прочих помещиков: "Он прочел им длинную лекцию, сказал, что поливка вздор, что обрезка слишком короткая, что они поступают, как варвары, и что он их научит. Через два года виноградный сад пропал.

Г. Г. отправился в Кизляр. Собрав местных земледельцев, он прочел им целый трактат, что во

Франции, в Бордо, виноградники на зиму никогда не закапывают. Наши удивленные виноградари возразить ему не посмели. Зимой весь казенный сад замерз.

Г. Г. поехал в Крым. Убедил городского голову, что нужно сажать виноградники не на покатосях, а на самых больших крутизнах, чтобы получить высокий товар. Как не послушаться? Француз! Прошел хороший дождь, плантаж вместе с виноградными кустами спустился в долину. Г. Г. отказали. На прощанье он с ехидством заявил: у вас есть один выход — приезжайте за вином к нам в Бордо".

Так говорил на своем торжестве человек, стоявший во главе целой созданной им школы русского виноделия. Он мог гордиться этой школой, что и делал шумно, весело, повторяя любимую фразу: "Сколько будет стоить человек — столько и вино будет стоить". Ибо создать настоящее тонкое, не уступающее заграничным вино могут только люди образованные, ученые.

Праздник в "Новом Свете" был рассчитан не на один день. И не на один день хватило застольных рассказов о случаях из жизни князя Голицына, случаях печальных, поучительных, просто занимательных и даже смешных.

Я думаю, что вспоминали в качестве случая поучительного, как князь приглядывался к почвам: "Представьте себе, прежде всего, обратил внимание на кусты шиповника, — доверительно наклонялся один из присутствующих к соседу. — Где, говорит, растет шиповник, там будет родить отличный виноград".

"И родит, действительно, — подхватывал сосед, — а у меня сколько лет подобные же холмы пустовали в колючках".

"Да, — вмешивался в разговор третий, — князь утверждает: вино и виноград — это продукты местности, и бездумно переносить сорта из Франции — такая же нелепица, как сапоги всмятку! У нас условия другие, почвы — другие, климат — другой..."

Случай смешной: в 1900 году на Всемирной выставке в Париже во время торжественного обеда, к которому подавались вина, получившие высшие награды, граф Шандон, один из экспертов, поднял тост. Тост он поднял за своих виноделов, авторов того непревзойденного напитка, что искрился в бокалах присутствовавших.

Присутствующие осушили бокалы и закатили глаза в восхищении: граф, мол, еще скромн в своих оценках!

Но сразу же после Шандона поднялся Голицын:

— Я очень вам благодарен, граф, за рекламу, сделанную во Франции *моему* шампанскому, которое вы сейчас пьете.

И в самом деле — вместо французского в бокалы было налито русское вино, только что получившее "Гран-при"...

Однако случай этот не только забавен, поучителен, но еще и печален: слишком большие силы приходилось тратить на преодоление вечной припевки: "Куда нам с ними тягаться! У нас щи лаптем хлебаем, а у них!.."

...Заканчивая этот рассказ, я не могу не добавить несколько строк, связывающих тот давний голицынский юбилей с нашими днями. В 1970 году на XVIII Международном конкурсе вин, проходившем в «Массандре», вина Украины получили 88 медалей и кубок «Гран-при», причем золотых медалей было

завоевано республикой почти в 3 раза больше, чем тремя главными винодельческими странами Европы вместе взятыми: Францией, Италией, Испанией.

Два Петровых

"Когда Петров поравнялся с нами, то сказал: "Я убил Писаревского, и Писаревский это заслужил". Петров все равно убил бы Писаревского, потому что он мстил за своего брата Петрова, которого расстреляли. Писаревский тогда присутствовал в роли главного палача". Я прочла эти строчки в воспоминаниях Е. С. Дорофеева, очевидца и современника событий, и мне захотелось написать о братьях Петровых и на их судьбе показать, из чего родился «Очаков», что было до него в Севастополе летом 1905 года. Кроме того, сюжет сам шел в руки, что не всегда случается, когда пишешь вещь документальную. А тут: два брата, с обоими связано имя адмирала Писаревского, человека, наравне с пресловутым адмиралом Чухниным, мрачно прославившегося во флоте своей неумной жестокостью. Однако что значит: "присутствовал в роли главного палача?" Отдавал команды? Подавал знак к залпам? Так повернул судебный процесс, что он кончился смертным приговором для нескольких матросов с «Георгия» и "Прута"?

Среди этих матросов был и Александр Петров. Это он возглавил команду учебного судна «Прут», когда та решила присоединиться к восставшему «Потемкину». Случилось такое возле Тендры, далеко от эскадры, причем неожиданно — в июне, тогда как «централка», центральный флотский комитет, готовила выступление на осень. Но — прорвало...

Гремели по железной палубе матросские ботинки. Толкались ребята, горяча друг друга вопросами: "Чего ждем, братцы?", "Сколько терпеть?". Петров первый сказал, чтоб разбирали винтовки, открывали патронный погреб. Петров был в числе тех, кто арестовывал офицеров. Петров, когда собрались на юте, сказал, что начали они не бунт, а революцию...

С «Потемкиным» «Пруту» встретиться не удалось. Решили возвращаться в Севастополь не для сдачи, а под красным флагом, чтоб поднять дух эскадры, вдруг перескочит искра — присоединятся. Но момент был упущен...

31 июня, в два часа ночи, суд вынес приговор: Александру Петрову 23-х лет, Дмитрию Титову 25-ти лет, Ивану Черному 28-ми лет, Ивану Адаменку 24-х лет — смертная казнь через повешение. Повешение заменили расстрелом.

У Александра Петрова было необыкновенно красивое южной, жгучей красотой молодое чернобородое лицо. У них у всех были молодые, гордые, красивые, умные лица.

О чем мог говорить защитник? О том, что к людям с такими лицами нельзя обращаться: «тварь», «дурак», «скотина»? О том, что гнилое мясо, с которого все началось на «Потемкине», далеко может завести Российскую империю по тропинке бедствий? Или о том, что на «Пруте» в день восстания обед тоже испускал откровенное зловоние и командир приказал вылить его за борт, только увидев, как каменеют у матросов лица?..

О том, что Романовы, проигравшие войну с Японией, сами подносят спичку к пороховому погребу, надеясь на русское долготерпение, — вернее всего, надо было бы

сказать защитнику. Однако все равно, о чем ни говори, не расслышал бы ни царь, начавший 1905 год расстрелом на Дворцовой площади, ни адмирал Чухнин, даже среди своих коллег выделявшийся жестокостью и малым умом.

Но уже собирались в балках и за холмами, уже жадно читали листовки, начинавшиеся так: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" А вы тоже — пролетарии, хоть и в матросской форме. У вас тоже нет ничего, кроме собственных рук, вам тоже нечего терять, кроме своих цепей — так агитировали члены РСДРП.

Броненосец «Потемкин» поднял красный флаг, вслед за ним «Прут». Но, как две не встретившиеся искры, погасли эти вспышки...

... На Северной стороне, недалеко от Константиновского рavelина, на холмистом берегу, поросшем круглой, сухой травой, расстреляли: Александра Петрова 23-х лет, Дмитрия Титова 25-ти лет, Ивана Черного 28-ми лет, Ивана Адаменко 24-х лет... Закопали в общей могиле, притоптали рыжую, приподнятую еще теплыми телами глину. Поп помахал кадиллом: «аминь»; всё: справились, загасили... Оказалось, далеко не всё.

Настала осень. 17/X 1905 года Николай II писал матери, имея в виду севастопольские события: "Вероятно, ничего этого не случилось бы, если бы команда «Потемкина» была бы строго наказана, а не осталась бы за границей..." Как видно, самодержец думал отнюдь не об Учредительном собрании, которого требовал народ, а о мерах карательных. Матросов на «Потемкине», отказавшихся есть гнилое мясо, хотели накрыть брезентом и расстрелять. Всю Россию накрыть

брезентом было мудрено, но некоторым казалось: возможно.

И вот пример того, как это собирались проделать: на месте, где должно было проходить одно из многочисленных собраний по поводу Манифеста, стояли боевые роты. Командовал ими все тот же контр-адмирал Писаревский. В это время на улице собрались рабочие с красными знаменами, обратились к коменданту: "Кто поставил пулеметы на Историческом?" А через некоторое время...

Но тут я прибегну к документу. О нем Владимир Ильич Ленин, делая доклад о революции 1905 года, сказал, что он рисует "один маленький эпизод из этого восстания Черноморского флота", но так, "чтобы... получилась конкретная картина событий на высшей точке их развития".

"Утром 24 ноября 1905 года у ворот флотских казарм была выставлена боевая рота в полном боевом снаряжении. Контр-адмирал Писаревский отдал во всеуслышание приказ: "Не выпускать никого из казарм! В случае неподчинения стрелять!" Из роты, которой был отдан этот приказ, вышел матрос Петров, зарядил на глазах у всех свою винтовку, одним выстрелом убил штабс-капитана Штейна из Белостокского полка, а вторым выстрелом ранил контр-адмирала Писаревского. Раздалась команда офицера: "Арестуйте его!" Никто не двинулся с места. Петров бросил свое ружье на землю. "Чего стоите? Берите меня". Он был арестован. Стекавшиеся со всех сторон матросы бурно требовали его освобождения... [...]

— Петров, не правда ли, выстрел произошел случайно? — спросил офицер, чтоб найти выход из создавшегося положения.

— С какой стати случайно! Я вышел вперед, зарядил и прицелился, разве это случайно?"

...И еще хочется добавить одну подробность: выстрел Константина Петрова прозвучал не просто под влиянием эмоционального толчка, а в ответ на провокацию. Петров случайно оказался свидетелем того, как контр-адмирал Писаревский сказал Штейну: "...надо дать им собраться, и когда их будет много, тогда из машинной школы последует выстрел в вашу роту, капитан Штейн, а вы, не давая им опомниться, командуйте: "В ружье, в нас стреляют!"

Таким образом, должна была быть расстреляна толпа собравшихся, должна была пролиться кровь многих, начаться бойня. И тут Петров поднял винтовку...

...А насчет того, были ли они братьями, Александр Петров, поднимавший в июне 1905 года красный флаг на «Пруте», и Константин Петров, стрелявший в Писаревского в ноябре того же года, — насчет этого можно ответить почти с полной уверенностью: не были. Просто: Петров, Иванов, Сидоров — такие распространенные фамилии и такие судьбы, уже не редкие, вызванные самим временем. Судьбы искр, из которых непременно должно разгореться пламя.

Лейтенант Шмидт

Двадцать лет тому назад я впервые приехала в Севастополь и там, на Кладбище коммунаров, в дальнем углу, увидела неожиданную могилу. Почему-то мне

казалось: у лейтенанта Шмидта не может быть могилы. Или, во всяком случае, она не может отказаться рядом с обычными улицами, по которым пылят автобусы и в час позднего утра женщины несут с базара тяжелые кошелки, набитые южным, ярким. Слишком был похож на легенду лейтенант Шмидт, выходил как бы не только из другого времени, но и пространства, воспетый прекрасными стихами Пастернака, "Черным морем" Паустовского.

А тут оказывается, прах его перенесли с острова Березань в Севастополь, как он и писал в завещании: "После казни прошу: настоять через печать и всеми средствами, чтобы тело мое было выдано для погребения севастопольскими рабочими, чтобы они были полными хозяевами и распорядителями при похоронах. Я их депутат, званием этим горжусь..."

...Место для могилы взять на Севастопольском кладбище рядом с братской могилой несчастных жертв, убитых в Севастополе в ночь с 18 на 19 октября у здания тюрьмы.

На этом месте, где братская могила, я произнес клятву и остался ей верен, а потому и хочу лежать там, где я клялся".

Между шестым марта 1906 года, когда казнили Шмидта, и майскими днями 1917-го прошло много времени. Но перенесение праха Шмидта и очаковцев Частника, Антоненко, Гладкова превратилось в политическую демонстрацию. Останки расстрелянных привезли с проклятого острова в Одессу и пронесли через весь город, затем снова перенесли на пароход, под вой сирен отправившийся в Севастополь. В город, где протекли те дни жизни лейтенанта Шмидта, которые

навсегда вошли в историю. И в то же время так густо окутаны флером легенд, что за ним вроде бы не проглядывается уже живой человек с его плотью и биографией. Может быть, поэтому хочется привести в рассказе как можно больше документов, не разрешить ни одного слова домысла.

Неожиданно, но факт — Шмидт был деловым человеком, вернее, если сказать по-современному, дельным специалистом. В письмах к любимой женщине он сам писал: "Да будет вам известно, что я пользуюсь репутацией лучшего капитана и опытного моряка". Но важнее этой самооценки тот факт, что когда в 1889 году адмирал Макаров подбирал экипаж для экспедиции к Северному полюсу на «Ермаке», одним из первых он пригласил Петра Шмидта. Вернувшись из полярного плавания, Шмидт был назначен капитаном на довольно внушительный океанский пароход «Диана», позднее потерпевший аварию вблизи острова Мен. Произошло это, когда капитан сдал дежурство помощнику. Но все равно, всю вину Шмидт взял на себя.

16 суток пробыл он на корабле, блестяще руководя работами по съемке его с камней, а потом задержался в Киле до конца ремонта. В письме к сыну Шмидт писал: "...надо, сыночка, смотреть на вещи по-мужски и не допускать в душе слабостей: если пароход под моим командованием потерпел такую жестокую аварию, то мой долг не избегать всей работы для приведения дела в порядок".

Опять самооценка? Ну что ж, обратимся и на этот раз к свидетельствам современников. "Бывали такие денечки, — пишет один из них, — когда Шмидт не сходил с мостика по 30 часов. Это был моряк, до мозга костей

влюбленный в море, знающий себе цену, отлично понимавший морскую службу".

... В политике Шмидт был гораздо менее профессионален, сам себя называл социалистом вне партий, надеялся на Учредительное собрание. Никаких планомерных действий, чтоб стать во главе восставших, Шмидт не принимал, просто в нем жило "оскорбленное чувство правды и справедливости". Оно и обусловило то, что, по крайней мере, трижды за осень 1905 года Шмидт оказался на гребне событий и всякий раз вел себя достойно этих событий.

Впервые это произошло 18 октября как раз после появления в городе телеграмм с "высочайшим манифестом". Пока еще цену царским милостям в городе не знали. Это позже их определяет метко и едко, так: "Царь испугался — издал манифест: мертвым — свобода, живых — под арест".

Но 18 октября толпа мирно идет к городской тюрьме с требованием освободить политических заключенных. Идет и верит: ворота беспрепятственно распахнутся: манифест же!..

Толпу встречает залп. В толпе, в первых рядах ее шел Петр Петрович Шмидт, еще просто охваченный общим восторгом, еще очень далекий от мысли о том, что он может что-то возглавить, увлечь своим присутствием и авторитетом.

...Убитых возле тюрьмы хоронил весь город. И вот на кладбище Шмидт произносит свою знаменитую речь-клятву. Очевидно, он и вправду обладал ораторским даром, во всяком случае, об этом говорят все вспоминающие его.

— Клянемся им в том, что мы никогда не уступим ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав, — говорил Шмидт и, подняв руку, отбрасывая кивком головы волосы с бледного лба, вдруг отчеканивал одно слово: — Клянусь!

Столпившиеся возле могил и дальше, у ворот кладбища, повторяли разом, дыхание в дыхание:

— Клянемся!

— Клянемся им в том, что свою общественную работу мы всю отдадим на благо рабочего, неимущего люда. Клянусь...

И толпа опять выдыхала единой глоткой:

— Клянемся!

Город долго был под впечатлением этой речи, долго вспоминал офицера, так неожиданно сказавшего то, что каждый хотел сказать...

А офицера между тем держали под арестом. Но вот наступает 14 ноября, и на квартире у Шмидта, к тому времени по требованию революционных матросов освобожденного из-под ареста, появляются матросы-делегаты.

Один из них — Константин Петров, тот, что стрелял в адмирала Писаревского, и настроение у пришедших совсем не мирное. Они зовут Шмидта на «Очаков». И не удивительно, что именно его. В городе лейтенант слышет «розовым», недаром еще во время восстания на «Потемкине» ходили слухи, будто Шмидт тоже там, на мятежном крейсере.

...Статья из большевистской газеты «Борьба» свидетельствует: "В лице Шмидта матросы сразу

почувствовали не только идейного руководителя, но и знающего технику дела вождя-организатора. План Шмидта проявился в его действиях в течение следующих двух дней".

"Утром 14 ноября лейтенант Шмидт переехал на «Очаков»... Он выкинул адмиральский флаг и объявил себя командующим флотом. «Очаков» поднял красное знамя революции. В ответ на это выкинули красные знамена «Потемкин» (переименованный к этому времени в «Пантелеймон». — *Авт.*), «Днестр», две миноноски... Шмидт объехал на «Очакове» все суда флота, его всюду восторженно приветствовали криками — "Ура!" Но враг не дремал. Двенадцать боевых единиц, перешедших на сторону восставших, это еще не вся эскадра, а только половина ее. И вот «Очаков» расстреливают, Шмидта вместе с товарищами арестовывают, передают суду. Суд должен состояться подальше от Севастополя, где он может послужить сигналом к новым волнениям, выбран заштатный город, по странному стечению обстоятельств с тем же названием, что и мятежный корабль.

А пока арестованные сидят в крепости на плоском, захолустном острове, где маяк и тюрьма — единственные и, казалось бы, несовместимые признаки жизни.

...В начале декабря морской министр А. А. Бирилев дает в Севастополь телеграмму, в которой, между прочим, говорится: "Государь с недовольным видом спросил меня, почему так долго медлится дело бунтовщика лейтенанта Шмидта и матросов".

Однако телеграммы были и другие. Союз военнослужащих далекого города Читы заявлял "свою полную солидарность и готовность идти на помощь

своему единомышленнику", а также требовал гласного суда.

Адвокат Л. Лугин в газете "Новая жизнь" от 29/X 1905 года поместил письмо, обращаясь "ко всем борющимся за свободу России с призывом употребить все усилия, чтобы не дать свершиться злодейскому делу в Севастополе", и с просьбой к другим редакциям это письмо перепечатать.

Матросы обращались к населению и листовкой: "Граждане! Требуйте отмены смертной казни! На днях повесят Шмидта, который вступился за народную свободу".

Военно-революционная организация Московского комитета РСДРП писала: "Лейтенант П. П. Шмидт приговорен к смертной казни через повешение... Сам про себя он говорит на суде: "Когда дарованные блага начали отнимать от народа, волна жизни выделила меня, заурядного человека, из толпы, и из груди моей вырвался крик..." "Еще не раз, быть может, взойдут на эшафот борцы. Без жертв нет борьбы, без борьбы нет победы!"

...Таковы документы, говорящие красноречивей всяких легенд о нравственном влиянии, какое отказывал Шмидт на окружающих. Но не на всех, наверное? Иначе, как же быть с Михаилом Ставраки, чье темное имя так тесно связывается в литературе с именем Шмидта? Но неужели не в домыслах пишущих, а, в самом деле, был у лейтенанта столь неотделимый и зловещий спутник? Учились вместе, сидели чуть не за одной партой, жили рядом, а потом Ставраки командовал расстрелом?

Да, правда: "...На рассвете в марте команда «Терца», расставленная повзводно перед каждым из

осужденных, под общей командой Михаила Ставраки, при выкрике Шмидта, его бывшего школьного товарища: "Миша, прикажи своим стрелкам целиться прямо в сердце!" — одним залпом из винтовки лишила жизни Петра Петровича Шмидта, Александра Ивановича Гладкова, Сергея Петровича Частника", — читаю я в очень интересном документе, ибо документ этот не что иное, как приговор советского военного суда от 3 апреля 1923 года.

Ставраки через месяц после казни был, как бы в награду, произведен в капитаны второго ранга, после Февральской революции подвизался в штабе Колчака, после Октябрьской, скрываясь, занял скромную должность смотрителя маяков, был опознан, судим, казнен. "Память же о лейтенанте Шмидте будет вечно жить среди красных моряков и всего революционного народа", — говорилось в приказе по флоту и народному комиссариату по морским делам.

Сам Шмидт в своем последнем слове говорил: "Я знаю, что столб, у которого встану я принять смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей родины".

...А на могиле Шмидта якорь, вопреки обычаю, целый, не разбитый, как он завещал...

Куприн в Балаклаве

Утро в балаклавской гостинице «Гранд-Отель» началось с прихода Тимофея, полового. Тимофеем потребовал пачпорт бродяги, которого барыня вчера ночью привела к себе в номер с бульвара.

— Хорошо, — сказала барыня, — приди после...

Барыня была такая приличная, в белом платье с узорами, и ребенок, и братец ихний сидели тут же, а бродяга выглядывал точным бродягой: мятая рубашка-распояска, лицо широкое, в глазах бес. Тимофей к барыне относился уважительно и теперь чувствовал себя оскорбленным ее ни с чем не сообразным поведением.

Явившись во второй раз, он был еще мрачнее и недоверчивее, тем более, что бродяга, изобразив на лице испуг, суетливо шарил по карманам и не находил документа. Чувства Тимофея разделяла и публика, собранная под окнами «Отеля» самим его владельцем. Пока сей господин разглагольствовал о правилах приличия и нравственности, барыня с братом и «бродягой», приподняв на одном из окон жалюзи, давились смехом и тоже, как те, внизу, обменивались репликами.

В комнату в третий раз вошел Тимофей, буркнув:

— За полицией послали.

Когда явился помощник пристава, готовый учинить разнос барыне и увести с собой бродягу, все объяснилось очень просто. Полицейский чин даже присвистнул от разочарования:

— Выходит, он ей муж, вчерашний-то... Поручик в отставке господин Куприн...

Господин Куприн к тому времени был уже известным писателем, он приехал в Балаклаву мириться с женой и работать над «Поединком». И то и другое удалось ему вполне, и с тех пор Балаклава стала для него поистине золотым местом на земле. Она и в самом деле была прекрасна, а тишина ее казалась столь

идиллической, что Куприн купил здесь узкий маленький клочок земли прямо против генуэзской башни под скалой. А также стал пайщиком одной из рыбацких артелей.

Летом 1904 года Куприн работал в Балаклаве над «Поединком», летом следующего читал его на одном из благотворительных вечеров в Севастополе, сборы с которого должны были пойти на революционные нужды. Разумеется, морские офицеры, сидевшие в первых рядах, ничего об этом не знали. Они просто пришли послушать достаточно популярного к тому времени писателя, написавшего что-то "из армейской жизни".

Чтение, поначалу такое обыкновенное, закончилось скандалом. Зал раскололся надвое: одни бешено аплодировали, другие кричали: "Довольно!", "Позор!", "Безобразия!".

Успокоил собравшихся, а также извинился перед автором офицер по фамилии Шмидт. Фамилия эта тогда Куприну ничего не говорила. Через два дня все тот же Петр Петрович Шмидт появился на даче у писателя, обеспокоенный тем, все ли обошлось благополучно уже после вечера. Гость и хозяин разошлись взаимно довольные, встретиться им больше не довелось.

Что же касается призрачного Балаклавского покоя и тишины, очень скоро они были взорваны событиями на «Очакове». 14 ноября к вечеру Куприн увидел в Балаклаве бегущих из Севастополя обывателей. Ночью, когда адмирал Чухнин расстреливал эскадру, писатель уже был на Приморском бульваре.

Любопытным свидетелем? Нет, обвинителем.

С этим обвинением Куприн выступил 1/XII 1905 года в петербургской газете "Наша жизнь". В ней, в частности, говорилось следующее: "Против ожидания, туда пускали (на Приморский бульвар. — *Авт.*) свободно, чуть ли не предупредительно. Адмирал Чухнин хотел показать всему городу пример жестокой расправы с бунтовщиками. Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке.

...Посредине бухты огромный костер, от которого слепнут глаза и вода кажется черной, как чернила. Три четверти гигантского крейсера — сплошное пламя... на бронированной башне крейсера, на круглом высоком балкончике вдруг выделяются маленькие, черные человеческие фигуры. До них полторы версты, но глаз видит их ясно.

Оттуда среди мрака и тишины ночи несется протяжный высокий крик:

— Братцы!

...И потом вдруг что-то ужасное, нелепое, что не выразишь на человеческом языке, крик внезапной боли, вопль живого горящего тела, пронзительный, сразу оборвавшийся крик. Тогда некоторые из нас кинулись на Графскую пристань к лодкам".

Но на пристани стояли матросы с «Ростислава», нарочно подобранный темный сброд, кулацкие сынки, выслуживающиеся подонки. Лодок они не дали, стали стрелять. "Им заранее приказано было прекратить всякую попытку к спасению бунтовщиков".

Газета, поместившая статью, была закрыта, а Куприн выслан из Балаклавы. Но на следующее лето с

упрямством молодости и любви Куприн все-таки опять приехал в Балаклаву. Только успели заказать обед в «Поплавке» напротив злосчастного «Гранд-Отеля», как явился пристав и объявил, что Куприн должен немедленно покинуть город. Удалось, правда, получить двухчасовую отсрочку, причем разрешено было встретиться только "с людьми своего круга, но никак не с этими..." — пристав кивнул за плечо, где в отдалении уже маячили фигуры тех самых листригонов, то есть, попросту говоря балаклавских рыбаков, с которыми Куприн на равных делил и труд, и опасность, выходя в открытое море.

Уезжали из Балаклавы грустно. Холмы, замыкавшие долину, отделяли друг от друга нарядные полотнища света. И от этого вся цепь гор как бы парила в воздухе, утратив свою каменную тяжесть. На одном из холмов стояла сторожевая башня, а ниже росли дикие яблони и виноград. Чуть видна была также стенка из плоских плит ракушечника, на которую очень скоро сядет вся золотая от солнца Суламифь, простая девушка, любимая царем Соломоном и воспетая в бессмертной "Песни песней".

Но неизвестно еще, вспоминали бы мы Суламифь так часто, не будь рассказа Куприна, перечитывая который, понимаешь: запах цветущих виноградников, два тополя, наполовину темные, наполовину белые от лунного света под окном Суламифь, стенка из плоских плит, огораживающая виноградник, — это же Балаклава!

...Из Балаклавы Куприны переехали в Алушту. Но Алушта была обыденным курортом на проезжей дороге. В ней не было очарования места, где тебя принимают как своего, где ты рисковал жизнью, ставя парус, сдирая кожу с ладоней, вытягивая сеть. В Алуште не было также

библейской долины, и с ее холмов не спускалась Суламифь.

Красное зарево на фоне серого неба

Еще недавно художник Владимир Константинович Яновский занимался тем, что рисовал розы и воду. Роскошные ливадийские цветы и зеленоватую воду, сквозь которую видны камешки на дне. Воду, разбитую солнечной рябью, воду мелкую и мирную.

Но вот уже несколько дней, приехав из Ялты, Яновский кружит вместе с севастопольской толпой, которая, как притянутая магнитом, сгущается на Графской пристани, смотрит на красный флаг, поднятый «Очаковым», на красный флаг, который уже дважды поднимается на «Пантелеймоне», бывшем «Потемкине», на снующие в бухте катера... Над толпой жужжат тревожные разговоры. Яновский прислушивается к ним.

— Агитаторы, конечно, сыграли свою роль, господа. Но главную свинью самодержавию подкладывают все-таки подобные Чухнину. Представьте, на днях перед строем! Да, да, перед строем, господа, он сказал безрукому инвалиду из Порт-Артура: "Мина, любезный, разорвалась? Надо быть поаккуратней с минами, а то теперь государь тебя пои-корми".

— А на Историческом? Тоже, между прочим, с героями Порт-Артура. Пришли они к Тотлебену, а их в тычки! Еще и по физиономии надавали: "Собак водить, матросам ходить — запрещено!"

В тот день 14 ноября 1905 года в Севастополе было много разговоров и много музыки. Оркестр торжественно

возносил «Марсельезу» в серое ноябрьское небо, но тут же, почти рядом, гремел бравый походный марш, под который недавно "серая скотинка" шла грудью на японские пули, а с площади долетали отчаянные призывы: "Боже, царя храни". Путаница и многоголосица звуков, плывших над бухтами и бульварами, волновал кровь: иным казалось, в этом и проявляется истинная свобода, каждый дует в свою дуду...

Владимир Константинович Яновский по характеру был человеком созерцательным, но и в его груди шевелилось что-то очень похожее на желание крикнуть: "Долой!" Долой эти порядки, при которых увечных увольняют со службы без нищенской хотя бы пенсии, а зуботычина считается нормой. Долой порядки, когда расстрелы стали уже как бы привычной мерой, долой...

Яновский видел флаги, поднятые на «Очакове», военном транспорте «Днестр» и миноносцах, видел, как стреляли по ним с берега и с других военных кораблей. Может быть, он видел и то, как полевые батареи, стоящие на Историческом бульваре, обстреливали морские казармы, слышал трескотню ружейных выстрелов Брестского полка, открывшего огонь все по тем же казармам. И больше всего была глухая покорность, с какой крестьяне, переодетые в шинели, стреляли по таким же крестьянам. Боль требовала выхода, но что делать, художник не знал.

К вечеру Яновский оказался в той же толпе, где, возможно, стоял и писатель Куприн. Тоже, следовательно, слышал крик с «Очакова», тоже вздрагивал, когда лопались заклепки брони, видел, что "по катеру с ранеными, отвалившему от «Очакова», стреляли картечью. Что бросавшихся в плавь

расстреливали пулеметами, что людей, карабкавшихся на берег, солдаты приканчивали штыками".

Все это не могло не заставить мысль работать лихорадочно: чем ответить? Чем заявить о своей солидарности с расстрелянными? Куприн, человек, имевший большой общественный вес, написал статью для столичной газеты. Художник Яновский такого общественного веса не имел, работал всего-навсего ретушером в ялтинском писчебумажном магазине. Но молчать и он не мог.

И он нарисовал картину.

Багровое зарево клубится, растекается, отражается, занимает большую часть полотна. Горит «Очаков», плывут шлюпки. Серое небо давит на плечи, темная вода совсем не прозрачна. Каждому, кто видит нарисованное, совершенно ясно: это свидетельство не беспристрастно.

Это нарисовал человек, который не хочет, чтобы «Очаков» забыли. Более того, возможно, он хочет, чтоб из искры опять *возгорелось пламя?* Где-нибудь на другом броненосце или где-нибудь в другой точке необъятной России?

Так мог думать каждый, кто видел эту картину, выставленную в витрине писчебумажного магазина. Так могли думать и ялтинские жандармы. Тем более после того, как к витрине стал стекаться народ...

Картину свою Яновский убрал и очень хорошо понял: завтра она будет найдена и уничтожена, а он сам, скорее всего, посажен в кутузку — еще одна жертва лживого царского манифеста с обещанием всяческих свобод.

Но он не хочет быть жертвой. И, главное, он хочет сохранить свою картину. Художник перебирает знакомых, в чьих домах, можно ее спрятать. Но останавливается: те же фамилии, по всей вероятности, перебирают и в жандармском отделении. У знакомых будут обыски, так же, как у него...

Что делать? Скатать картину в трубку, засунуть в какую-нибудь щель? Все щели кажутся ненадежными. И вдруг сам собой приходит выход: Яновский достает подрамник с полотном такого же размера, как его картина. Кипит работа, и к утру грубая копия готова, а настоящая картина спрятана не так уж далеко — искать ведь ее не будут.

Жандармы не заставляют себя ждать: они появляются и как по нотам разыгрывают предложенный им «сценарий», арестовывают художника, арестовывают копию...

Художник Яновский жил долго и долго еще рисовал воду горных речек, бахчисарайские дворики, скалы над осенними, яркими садами. Но главной своей картиной он считал ту: серое небо и на нем дымное зарево от огромного костра, далеко разбрасывающего искры.

Сейчас картина находится в областном краеведческом музее в разделе, посвященном революции 1905 года. Рассказ же о событиях, связанных с картиной, я слышала от самого художника, когда Крымская студия телевидения готовила о ней передачу.

Несколько строк о Кассандре

Вот уже сколько времени я думаю о Кассандре...

Почему, когда я прочла о ней в первый раз, много лет назад, драма Леси Украинки мне просто понравилась, а теперь — поразила? Наверное, надо войти в возраст, чтоб понять иные вещи. Например, какую роль играет в жизни общества *слово*. И как трудно произнести его не на гребне событий, когда каждый верит, а в годы реакции, под мелким дождичком разочарований и усталости.

Драматическая поэма «Кассандра», надо с этого начать, помечена примечательно: 5/V 1907 г. Ялта...

Она окончила поэму, поставила последнюю точку в мае, но, наверное, еще долго потом не могла не думать об этом мире, ею созданном, где люди, жившие за двенадцать веков до нашей эры, воины, правдоискатели, лжецы и просто сладкоежки, говорили о том, что было важно сегодня, в 1907-м.

Плохое дело — 1907-й:

Дай же

Нам хоть неправдою пожить в надежде, —

— в драме о древней Трое так восклицает несчастная Андромаха, вдова Гектора. В жизни многие что-то в этом роде кричали и шипели, обращаясь к Лесе. Дождичек разочарования смывает румянец даже с самых цветущих лиц, а тут больная и достаточно, кажется, битая жизнью находит силы их учить...

О том, что она была больна, и вправду не надо забывать. Но — забывается. Хотя и забыв, почти невозможно постигнуть женщину, написавшую эту мощную поэму, овеянную не столько бурями

многострадальной Трои, сколько ветром, разжигающим костер сопротивления в ее собственном сердце.

Я уговариваю себя: но о ней же Франко сказал, что она "единственный мужчина" среди своих современников-поэтов. Однако и это не помогает. А что ж, разве для мужчины не было бы величайшим подвигом и удачей вот так разрешить спор между горькой правдой и утешительной ложью? А что ж, разве многим талантам, хотя и мужского пола, удавалось показать, что "всех старших старше в мире правда"? И так затосковать от того, что правда, как на пагубу, открыта иногда тому, кто бессилён увлечь ею в сражение?

...Вот уже который месяц я думаю о Кассандре, думаю дома, думаю, приезжая в Ялту. Я иду мимо особняка с высоким нарядным окном, где жила Леся Украинка, гляжу на распластанные силуэты пиний, на дальнюю, грозную, не пляжную синеву моря — думаю. Наверное, и поэтессе самой когда-то, как мне сейчас, казалось: вон за тем лиловым каменистым мыском, за деревьями, на повороте, откроется широкая стена осажденной, но все еще сражающейся Трои. И, взобравшись на нее, можно будет оглядеть побережье так же широко, как оглядывала его провидица Кассандра, говорившая людям правду слишком глубокую, чтоб ее было приятно слушать. Наверное, здесь, где в общем-то бьются точно такие же волны, как те, что принесли черные греческие корабли к многострадальному Илиону, поэтесса не раз себя чувствовала Кассандрой.

Может быть, вот по этой тропинке шла она, опиралась на зонтик, как на трость, поворачивала к морю

большелобое, худое лицо, клала руку на горло, говорила, прислушиваясь, как звучат торжественные строки:

— Лишь ты одна с богами можешь спорить,

Они тебя за это и карают,

— это опять Андромаха произносит, готовая закрыть лицо покрывалом, зажать уши ладонями, оцепенеть, лишь бы пронесло.

— Их сила в каре, а моя — в борьбе!

— это Кассандра отвечает, что Леся почти беззвучно кричит далеким белым гребням волн, высокому небу.

А над обрывом сквозь длинные, расчесанные талыми водами и ветрами пряди прошлогодней травы пробивается новая. Как неожиданные звездочки в ней — крокусы, цвет их так наивно и так верно назван желтогорячим. Точно такие же крокусы цвели вокруг Трои, в горах и степях Малой Азии, и дерево точно такое же, как над этим обрывом, могло там стоять. Странное дерево: толстый обрубленный сук его похож на культю — кора завернулась, точно кожа на живом теле.

...Когда-то давно, как раз в свой прошлый приезд в Ялту, она написала стихи о цветке, одолевшем темную силу скал, задушившую и могучие дубы, и упрямый терновник. Но сейчас, когда молодость, подгоняемая болезнью, уходила из ее тела, она вдруг подумала: может быть, настоящий боец, рассчитанный не на одно, на многие усилия, таков, как это дерево?

— Их сила в каре, а моя — в борьбе!

Как-то особенно звучали эти слова не в комнате за письменным столом, а здесь, где волны бились внизу в скалах мелким прибоем, где сырой ветер толкался в грудь, тянул подол платья, будто звал в дорогу. Здесь, где к ней возвращались силы и желание верить. Верить — это стало ее второй натурой. Не из-за этой ли способности верить к ней тянулись люди? Каждому хочется идти за тем, кто верит. Просто-напросто легче идти за тем, кто верит... За Кассандрой той, древней, невозможно было идти, потому что она не верила. Была только провидицей, слишком, трагически зрячей... Как странно, что бывает и в этом трагедия.

Леся стояла, глядя на море, прислоняясь к шершавому, теплому стволу, и что-то похожее на чувство благодарности к дереву шевельнулось в сердце. Как будто оно было живым существом... Впрочем, о живое существо ей не так уж и часто выпадало опереться. Чаще она оказывалась сильнее, чаще она должна была гореть, противиться ветру, всплывать, когда накрывал и девятый и какой угодно вал...

Странно, но как много, кроме любви к морю и к пустынным холмам, связывает ее с праздным и тяжким городом. Вот и с самим своим большим другом Сергеем Мержинским она подружилась в Ялте, хотя еще больше, чем она, был чужд всему здесь больной, неимущий социал-демократ, всю жизнь отдавший борьбе с самодержавием. Всю очень короткую жизнь.

Шесть лет спустя ее накрыла самая большая волна — Мержинский умер в Минске у нее на руках. А когда человек мертв — во что верить? Уж не в воскресение ли? Не в свидание ли в райских садах?

Интересно: а растут в раю такие деревья? Леся обернулась, как живую рану потрогала разрубленную, кругло заплывшую кору. Хотя, существуй рай на самом деле, их с Мержинским туда все равно не пустили бы, так же, как это дерево... Зачем им в тамошние кущи? Напоминать о необходимости борьбы за правду? В раю подобное занятие не очень-то в чести. Оно и на земле нынче не в чести.

— Скажи мне,

Кто видел правду голую хоть раз?

— спрашивали Кассандру почти теми же словами, какими и у нее допытывался иной ялтинский ли, киевский ли обыватель.

Я видела ее и даже часто!

— это Кассандра отвечает. Нет, это она сама говорит. Это ей важно показать, к чему ведет отступничество. Это ей страшно слушать самоуверенные возражения:

— Я с правдою борюсь, и я надеюсь,

Что буду ею скоро управлять.

— это родной брат, тоже жрец, заявляет Кассандре. Это ей, Лесе Украинке, свой брат, интеллигент, растерявшись, пытался внушить. К чему правда, если хочется услышать отнюдь на ее? Если хочется спрятать голову под крыло, заплющить глаза, отвернуться от мира, полного распоясавшихся жандармов, вездесущих провокаторов и молодых смертей от чахотки...

...А на обрыве над морем пахло солью, живым соком травы и пресным духом первых капель теплого дождя. Надо было возвращаться в город, и Леся пошла, как могла быстро, все еще опираясь на зонтик, точно на трость. Шла и досадовала, что кончилось одиночество, прервалась беседа с ветром и деревом, имени которого она не знала. Точно об имени, а не о названии думала Леся, возвращаясь на ялтинскую набережную, раскланиваясь с немногими знакомыми. Через несколько дней у одного из них она все-таки узнала, как зовется дерево.

— Терпентинник, — сказал знакомый скучно, — в окрестностях Ялты много интересных экземпляров. Еще его зовут кевоное дерево, или фисташка, встречается также в Малой Азии.

Леся усмехнулась: всего-то?.. А чего ж она собственно ждала?! Для других дерево ведь так и оставалось деревом. Да еще таким, какое не поставить в один ряд с пышной магнолией или акацией ленкоранской.

...Много раз еще она приходила на тот обрыв, к тому дереву. И каждый раз ей казалось: вон за тем поворотом, за тем мыском откроется крепостная стена, а с нее будут видны черные, смоленые ладьи, вражеский лагерь, поле битвы. И надо спешить, надо обогнать Кассандру, чтоб не только раскрыть людям глаза, но и влить в них веру...

Ветер шевелил сухую траву, время шло, гекзамером волн отмечая свои секунды. Прислонившись спиной к дереву, сидела женщина, которая когда-то у самой себя спросила так:

Кто гордость мне вложил вот в это сердце?

Кто даровал отваги меч разящий?

Кто приказал мне: не бросай оружия,

Не отступай, не падай, не томись?

Прислонившись спиной к дереву, сидела великая поэтесса, которая вошла бы в бессмертие, напиши она одну только эту могучую поэму о горькой, но необходимой силе правды.

Топография Лисса

В юности у меня было такое ощущение, будто я не попадаю в Лисс или Покет только потому, что мешают какие-то внешние, случайные обстоятельства. Например, не хватает денег на билет. Иногда казалось даже, что придуманная Грином Каперна находится где-то между Алуштой и Карасаном: стоит в удачный день зайти за голубой мыс Карабах, и перед тобой откроется нагромождение ее черепичных крыш, ее старые заборы, на которые тяжело упали плети ломоноса, все в беловато-зеленых пахнущих таинственно и грустно цветах.

Плети ломоноса действительно встречались в пути, как и заросли ежевики, и темные пятна плюща, ползущего на своих микроскопических ножках по камням и деревьям. Даже ручей выбегал к морю на пятом километре точно так, как тот, в который Ассоль пустила игрушечную яхту. Только старый Эгль отправился, очевидно, собирать свои сказки и легенды куда-то в другую сторону. Но ожидание чуда жило во мне и без его предсказаний.

Иногда, доходя до ручья, я чувствовала: позади, там, где еще полчаса назад стояли скучные домики Алушты, сейчас уже блестит на солнце белой пылью переулков Лисс. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины стен...

Но вот я стала рыться в книгах Александра Степановича Грина более подробно и обнаружила, что Лисс — это другие места. В Лиссе был театр и бульвары, каменные ротонды, играющий по вечерам оркестр. К нему подходила железная дорога, по его улицам дребезжал трамвай, жизнь его заключала в себе гораздо больше движения, чем я когда-либо наблюдала в Алуште. И подступы к нему были не в лесистых, а выжженных холмах, на которых шевелились бурые травы. Между этими холмами бежало прекрасное шоссе. К тому же оно не взбиралось в горы, как алуштинское, а только петляло между ними, и было полно машин.

Уже позднее, не раз подъезжая к Севастополю, я ждала, что увижу (где-то возле Инкермана) небольшой дом, лепящийся у скалы, с крышей из плоских камней, и перед входом будет умываться женщина. Та самая, что через минуту вынесет пить Давенанту...

Узнавание продолжалось и дальше, по мере приближения к городу, который "скрывался за холмами несколько раз, и когда уже начало темнеть, открылся со склона окружающей его возвышенности линиями огней, занимающих весь видимый горизонт".

В самом Севастополе я шла по Корабельной или Северной стороне, и улица "тянулась меж садов и одноэтажных домов из желтого и белого камня, нагретого солнцем. Бродили петухи, куры, с дворов, из-за низких песчаниковых оград слышались голоса, смех,

брань. Свернув в несколько переулков, где иногда переходили по мосткам над оврагами, я остановилась у тяжелой калитки. Дом был внутри двора".

Правда, у Грина в романе "Золотая цепь" сказано не «я», а «мы», ибо идут Санди Пруэль и Дюрок, но какая разница? Я ведь все равно узнала этот дом под черепичной крышей, во дворе которого росло большое дерево шелковицы.

Грин нигде не говорит, что шелковицы, но каким же оно еще могло быть? Так же нигде он не говорит, что Режи, Королева Ресниц, возлюбленная Битт-Боя, приносящего счастье, отлично умела тушить камбалу с помидорами и луком. Но как же ей было не уметь? Ей, мечтавшей о новой медной посуде для кухни, это кроме покупки нового брата и возможности проплыть вокруг света тридцать три раза?

Да, в своем Лиссе Грин изобразил Севастополь. Кроме того, приметы этого же города он роздал Покету, Гертону и другим.

"Падающие лестницами переулки", "Каменные лестницы скверов", — нет, нет, не перебивайте! Это не может быть ни Ялта, ни Гурзуф! У меня есть неопровержимое доказательство: почва между тюрьмой, где томится Давенант, и лавочкой Стомадора — мягкий известняк, лежащий пластами, которые можно резать ножом.

Даже и сама тюрьма в Покете несет на себе приметы тюрьмы в Севастополе, где два года, с ноября 1903-го по октябрь 1905-го большей частью в одиночке, просидел Александр Степанович Грин за агитацию и чтение запрещенной литературы среди низших чинов.

Четыре этажа было в тюрьме придуманного города. Четыре этажа, считает Грин, было и в севастопольской тюрьме, против обеих — бакалейные лавочки. Даже сам ход допроса Давенанта и Грина был одинаков в своем механизме: оба сначала отказываются назвать настоящие имена, а потом, называя себя, не дают показаний по сути дела.

И еще одна схожая деталь: территория порта в Покете состоит "под охраной и действием закона военного времени", следовательно, Давенанта будет судить военно-полевой суд и приговорит к смерти.

В "Автобиографической повести" читаем: "...Из Петербурга приехала военно-судебная комиссия с очень простой целью: объявить Севастополь на военном положении хотя бы на месяц, чтобы меня повесил военно-полевой суд".

Странно всю жизнь, хотя бы и в произведениях своих, не расставаться с городом, где тебя хотели повесить. Но ведь Александр Степанович Грин и был странным человеком. А, кроме того, он был человеком, верным мечте. Мечтал же он всю жизнь о море, таком, каким увидел его в Севастополе, и о характерах, таких, которыми потом населил свои книги.

В "Автобиографической повести" он рассказывает, как в ранней юности встретил в сугубо сухопутной Вятке двух штурманских учеников в белой матросской форме. "На ленте одного написано было «Очаков», на другой — "Севастополь".

Как мы видим, с Севастополем Грин был связан всю жизнь, но и с «Очаковым» судьба Грина соотносилась не однажды. Во-первых, среди тех, кто слушал Грина-агитатора, безусловно, были матросы с этого

крейсера. Во-вторых, Грин в двадцатых годах написал повесть о лейтенанте Шмидте. Лично Шмидта он не знал, но мог бы его увидеть во время демонстрации у здания тюрьмы.

...Хочу еще сказать о том, что, расставшись с Грином в юности, как многие с ним расстаются, я все-таки снова попала в его страну, что уже случается не часто. В тот раз возвращались мы из командировки, петляя между мелких, бесчисленных заливов и соленых озер Раздольненского района. Чередование желтых песков, рдеющих полей солероса и голубой воды, казавшейся выпуклой — так низки были берега, — создавало какое-то странное настроение, при котором не стоило удивляться даже при виде парусника, спокойно отраженного круглым, красным на закате заливом.

Мы вышли из «уазика». Навстречу нам спешил человек в морской и вполне современной форме. Он пожал нам руки тоже молча и сосредоточенно, как будто бы был лучшим знакомым или будто мы непременно должны были встретиться на этом берегу, даже договаривались о встрече. Ничего не спросив, ничего не объяснив, он полагал, очевидно, что и без того мы узнали «Секрет», свернувший на этот раз свои обычные, отнюдь не алые паруса.

И мы узнали. То есть мы узнали парусник, игравший в недавнем фильме роль «Секрета» и приписанный к Евпаторийскому порту. У берегов Тарханкута парусник отстаивался, опасаясь бури. Человек в морской, вполне современной форме был его капитан.

...— А, знаю, знаю, — сказала одна знакомая, когда я рассказала ей эту историю. — Настоящий капитан в том духе, каким он должен быть по Александру Степановичу.

— Да, — запнулась я, вспомнив твердое, но простоватое лицо, без всяких признаков аристократизма. Почему-то всех капитанов до тех пор я меряла Греем, забывая, что были еще Дюк, Финеас Проктор, Нэд Тоббоган, лоцман Битт-Бой, приносящий счастье.

"О, Киммерии темная страна!"

*Как в раковине малой
— Океана*

*Великое дыхание гудит,
Как плоть ее мерцает и
горит*

*Отливами и серебром
тумана,*

А выгибы ее повторены

*В движении и завитке
волны, —*

*Так вся душа моя в
твоих заливах,*

*О, Киммерии темная
страна,*

*Заключена и
преображена.*

М. Волошин

О Максимилиане Александровиче Волошине трудно говорить отдельно как о поэте или художнике. Он соединил в себе два таланта и еще — пронзительную и философскую любовь к земле возле Кара-Дага. Любовь

эта создала образ. Или, может быть, даже не образ, а целую страну? Киммерию, мимо печальных холмов которой проплывал когда-то Одиссей? Потом она была забыта, и дачники, селившиеся в Коктебеле ради дешевизны его земли, ничего не знали о ней. Они помнили только о пользе йодистого воздуха и тишины.

Мать Волошина купила здесь участок и привезла сюда сына еще мальчиком. Из феодосийской гимназии домой по субботам Волошин ходил пешком и отдыхать или вглядываться в мир садился на гребне крутого холма. Сейчас тут его могила. О могиле говорят: могила Поэта. О доме: дом Поэта. Интересно, что в Париже в сквере недалеко от Эйфелевой башни на бульваре Эксельман много лет стоит скульптурный бюст Волошина. Это не памятник ему, даже не напоминание о нем, это просто "голова Поэта".

Волошин создавал Киммерию, а Киммерия ваяла его. Не только характер и мировоззрение, даже лицо его она сложила по-своему, еще раз подтвердив суждение, что после сорока мы все сами отвечаем за свои лица... Этот лоб патриарха, этот взгляд мыслителя — трудно отгадать в чертах круглощекого мальчика из феодосийской гимназии, который мог бы ведь стать и чиновником.

В благодарность за любовь Киммерия выдала ему лучшую и фантастическую награду: очертания Кара-Дага в той части, где гора обрывается к морю, являют нам профиль Волошина. Тут не может быть двух суждений.

С профилем, созданным нечаянно природой, связано и суеверное ощущение у Волошина, что он выполнил свою миссию, что его пребывание на этих

берегах и, очевидно, воспевание их в стихах и картинах было предопределено.

Случился и анекдот, далеко не безобидный, вызванный сходством: уже после смерти поэта явились к вдове его Марии Степановне какие-то незваные гости: "У кого вы брали разрешение создавать культ собственного мужа?" — "Помилуйте, о чем речь?" — "Не притворяйтесь — отсюда видно: профиль высекли, каждый узнает". — "Но так было всегда. Вот открытки еще десятого года, видите, те же очертания. А лучше всего пойдите убедитесь — профиль сложен из нескольких скал, и человеческим рукам не под силу такая работа".

Пошли проверили, потом извинялись.

Попытаюсь объяснить, почему анекдоты сопутствуют многим воспоминаниям о Волошине. Жизнь его была широка, добра и вдумчива, но анекдоты прилипли к ней, очевидно из желания просто, а иногда и смешно, объяснить глубокое... Анекдот о феодосийском уряднике, притеснявшем не похожего на остальных и явно не богатого дачевладельца, сводится к следующему. Сначала урядник грубо и фамильярно назвал Максимилиана Александровича Волошина Максом и чуть не тыкал ему по-хамски. Но вдруг увидел дружеское расположение к поэту жены губернатора, заехавшей с визитом. Урядник же во время этого визита, как и положено ему было по чину, околачивался всего лишь возле губернаторских лошадей. При следующей встрече с Волошиным он изрек: "Знаете что? Зовите и меня просто Мишей".

Анекдот о местных жителях рассказывает, что они якобы преподнесли Волошину штаны, так как, по их словам, женщин оскорбляло предположение, будто под

просторным полотняным хитоном Волошина нет этой неременной принадлежности мужского туалета.

За всем этим «изюмом» рассказов стоят несомненные факты. Но мне совсем не смешно, когда я представляю урядника *Мишу*, его воинствующее презрение к человеку за то, что у него всего имущества: книги, картины да непонятные коренья, каких по берегу после весенних бурь — бери, не хочу. И на полотняный хитон, так шокировавший публику, я смотрю скорее грустно, зная, что он от бедности в годы разрухи, от любви к чистому, красивому. А не от одного желания поразить публику презрением к условностям.

...Однако вернемся к тому холму, где отдыхает юноша, идущий из Феодосии в дом своей матери. То, что открывается его взору, — это не пейзаж, это кусок мироздания. Морщины земли залегли вокруг грузно и выпукло, зато стремителен и невесом полет мыса со странным названием Киик-Атлама — Прыжок Дикой Козы. И море, из которого еще только должна выйти жизнь, чтоб населить соседнюю библейскую равнину, лижет берег смирной тысячелетней волной...

Голубая пыльца сухого тумана легла на дальние горы, отделенные друг от друга полосами света. В их ритме тот же намек на бесконечность, что и в шелесте волн и в малой чешуйке сланца... Через много лет, объездив Европу, Волошин скажет:

Мне, Париж, желанна и знакома

Власть забвенья, хмель твоей отравы,

А в душе пустыни Меганома,

Зной и камни, и сухие травы...

Здесь, вернувшись из странствий, Волошин построил дом с высокой башней, во всякое время дня открытый солнцу, и о нем написал такие строки:

Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом открыт навстречу всех дорог.
В прохладных кельях, беленых известкой,
Вздыхает ветер, живет глухой раскат
Волны, взмывающей на берег плоский,
Полынный дух и жесткий треск цикад.
А за окном расплавленное море
Горит парчой в лазоревом просторе.
Окрестные холмы вызорены
Колючим солнцем. Серебро полыни
На шиферных окалинах пустыни
Торчит вихром косматой седины.
Земля могил, молитв и медитаций —
Она у дома вырастила мне
Скупой посев айлантов и акаций
В ограде тамарисков. В глубине
За их листвой, разодранной ветрами,
Скалистых гор зубчатый окоем
Замкнул залив алкеевым стихом,

Ассимметрично-строгими строфами.

В нижнем этаже дома было несколько комнат, предназначенных для гостей. Волошин хотел приобщить к своей любви как можно больше людей. В этом доме у него бывали писатели Горький, Леонов, Чуковский, Булгаков, Брюсов, Грин, Вересаев, Марина и Анастасия Цветаевы, Эренбург, Мандельштам, Никулин, Алексей Толстой, Пришвин, Шагинян и Павленко. В доме отдыхали и работали художники Богаевский, Латри, Остроумова-Лебедева, Петров-Водкин. Бывали здесь и минералог Ферсман, химик Лебедев, артисты, летчики, музыканты, чаще всего народ молодой, в годы революции и в двадцатые — голодный, неимущий, но веселый, очень мало привязанный к материальным благам.

Сейчас в доме — начинающийся музей, а в верхнем этаже все так, как было при жизни Волошина, который сам был архитектором своего дома.

Главное сокровище Дома — книги, подаренные Волошину их авторами. Над стеллажом, занятым книгами, — портреты Волошина самых различных художников: тут и Диего Ривера, и Петров-Водкин, и многие другие. Открыта в Доме выставка картин самого хозяина.

Во время войны Дом Поэта стоял непривычно печальный, пустой и голый. Друзья и почитатели его были далеко, а все сокровища Мария Степановна, вдова художника, спрятала, зарыла в землю. В земле были картины, книги, бюст Таиах (которая, странное дело, была свекровью Нефертити), невиданной красоты

раковины Индийского океана и милые сердцу находки Коктебеля.

Фашистские офицеры, видя наготу этого жилища, подозревали подвох. Но ни один из жителей деревни: ни те, кто помогал прятать, ни те, кто видел, куда прятали, — не обмолвился и словом. И сама Мария Степановна была непреклонна. "Да, — говорила она, — вот эти несколько картин и составляют все ценности дома. Вы слышали о большем? Что ж, очень жаль, слухи были преувеличены".

Но и "эти несколько картин" она защищала с бесстрашием птицы, обороняющей родное гнездо. А ведь перед вооруженным врагом она была так же беспомощна, как птица. Но поступиться даже малым, — это значило отдать их в руки, разгромившие пол-Европы, самую большую любовь: Коктебель, Киммерию.

Старинным золотом и желчью напитал

Вечерний свет холмы. Зардели, красны,
буры,

Клоки косматых трав, как пряди рыжей
шкуры.

В огне кустарники, и воды как металл.

Трудно утверждать, что есть пейзажи, при взгляде на которые рождаются исключительно философские мысли. Однако же нарядность меньше сосредотачивает, согласитесь. Нарядность зовет ликовать, пользоваться, да еще, если эта нарядность сработана не без участия человека.

Здесь же все первозданно. И селения есть, и вот курорт, Планерское, и шоссе крутит между гор свои спирали от Феодосии до самого известного в Крыму совхоза «Коктебель» и дальше, а — первозданность. Летом густая толпа перебивает это библейское безлюдье, но осенью свой, особый, не курортный мир открывается перед вами.

В годы же, когда жил здесь Максимилиан Александрович Волошин, ни о каких толпах речи быть не могло. Он оставался наедине с сыпучей тропинкой, по которой шел к зубцам над бухтой. Бухту сторожил Иван-разбойник — одна из скал, столь причудливых очертаний, что у каждой было свое имя... Король и королева стояли в зарослях боярышника, неизвестно за что зацепившегося терпеливыми корнями. Слон двух шагов не дошел до моря, а Золотые ворота запечатлел на листе черновика сам Пушкин.

Пушкин плыл мимо этих берегов.

Эти пределы священны уж тем, что
однажды под вечер

Пушкин на них поглядел с корабля, по
дороге в Гурзуф...

И это уже не легенда, как в случае с Одиссеем. Но Пушкин плыл мимо этих берегов юношей и именно: плыл мимо. Для Волошина они составляли его мир навечно.

И, может быть, главное чудо личности Волошина именно в верности своему миру, своей Киммерии. Как всякий истинно любящий и при том обладающий философской широтой души, он хотел, чтобы его любовь и восхищение разделили:

Пройди по лесистым предгорьям,
По бледным, полынным лугам
К широким моим плоскогорьям,
К гудящим волной берегам,
Где в дикой и пенной порфире,
Ложась на песок голубой,
Все шире, все шире, все шире
Развертывается прибой.

Уважение к земле и всему живущему на ней — вот одно из положений, отличающее взгляд поэта на мир. Хвала дождям, после которых оживают буро-глинистые холмы и "пенно-илистым руном вскипает жаждущее русло". Но хвала и ясным дням у моря, когда "цветами пахнет соль". Хвала длинному пути и привалу в конце его, ибо "что может быть нежней, чем пыль степной разъезженной дороги?" Но дорога не только уводит к хрустальным предгорьям и на вершины гор. Она возвращается к Дому, стоящему на скрещении дорог. Дом стоит не только на скрещении дорог, он стоит в конце земного пути поэта. Я не удержусь от того, чтоб не привести еще строки, посвященные ему и тому, что простиралось вокруг:

Выйди на кровлю. Склонись на четыре
Стороны света, простерши ладонь...
Солнце... Вода... Облака... Огонь... —
Все, что есть прекрасного в мире...

Факел косматый в шафранном тумане...
Влажной парчою расплесканный луч...
К небу из пены простертые длани...
Облачных грамот закатный сургуч...
Гаснут во времени, тонут в пространстве
Мысли, события, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений земли...

...В летний день через музей, через этот маленький дом проходит, случается, и восемьсот человек. Почему? Зачем? Чего хотят? Чему учатся? Я думаю: любви.

Человек живет на земле недолго. А потом умирают и те, кто мог бы рассказать, как выглядели, что любили, чему смеялись, над чем плакали. Остаются только письма и вещи, пережившие хозяев, ветшают, дотлевают, если человек нужен был только родным... Но бывает, человек нужен для памяти всем. Тогда создаются музеи или отделы в музеях, посвященные ему.

Мы ходим, рассматриваем: трость, очки, книги, фотографии. Мы трогаем стены, и грусть охватывает нас: он ступал по этим же половицам, спускался по этой же лестнице, а потом все оборвалось. И, прикидывая, ужасаемся: мы на десять, на двадцать, на тридцать старше, как же ему не хотелось уходить с этой нарядной, зеленой земли.

Но те, кто пишет книги, приходит к нам снова. Маленькие прижизненные издания оттесняет лавина сегодняшних тиражей. И, оттесненные современниками,

так и не успевшие **устроиться** в той быстро мелькнувшей жизни, они вдруг оказываются звездами первой величины. Но это только так говорится: вдруг. Каждое время из прошлого зовет своих. И сегодня, читая Чехова, мы удивляемся тому, как он верно предугадал, что после смерти его почитают несколько лет и забудут, а потом вспомнят снова и тогда уж будут читать долго. Долго для нас звучит, как **всегда**. Свое право на **всегда** получила и Леся Украинка. И будут входить все в большую силу ее философские драмы, в которых она среди других ищет ответ на извечный вопрос: какой ценой? Какой ценой мы покупаем счастье? И что есть счастье? Уж не злая же, неразделенная власть, не тусклое благополучие в самом деле? Что есть счастье, если ради него горят заживо, идут в тюрьмы и на расстрел, спокойно стоят у смертного столба, рассматривая будущее и предателя, лишённого этого будущего, хотя вполне и надолго живого? И если одной из высших форм счастья является борьба за справедливость, как нам забыть их? Веривших в нас, еще не рожденных?

Что значит легендарная биография

*Умираем? Нет, не умираем —
порохом идем в тебя, земля!*

Н.Асеев

Расстрел комиссаров

Они были неправдоподобно молоды тогда. Потом у тех, кто остался жить, прошла еще долгая жизнь, наполненная первыми пятилетками, войной и той работой, которой мы с вами свидетели. Но мало кто остался жив, мало их ровесников дотянуло до звания — старый большевик. К этому поколению принадлежал и мой отец, и первые мои детские ощущения. Истории относятся к этим людям. А если говорить конкретнее, к тем членам правительства Республики Тавриды, которых расстреляли не так далеко от Алушты, в глухой балке.

О своем рождении в марте восемнадцатого республика оповестила так: "Совнарком, Москва, Берлин, Вена, Париж, Вашингтон. Всем, всем, всем. Декрет Центрального исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Советской Республики Тавриды... Центральный исполнительный комитет... объявляет территорию Крымского полуострова... Советской Социалистической Республикой Тавриды".

Продержалась республика в сложных условиях Брестского мирного договора от этого заявления до

германской кайзеровской оккупации немного более месяца.

...Не знаю, было ли известно комиссарам Тавриды содержание телеграммы, которую хочу здесь привести. Телеграмма эта показывает остроту момента, в который они пришли к власти.

"Ради Бога, принимайте *самые* энергичные и *революционные* меры для посылки хлеба, хлеба и хлеба!!! Иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды. Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно. Ради Бога! Ленин".

Не было в Крыму этой телеграммы. Эта ушла тоже на юг, но не в Крым. Были в Крым какие-то другие, также взывавшие: хлеба! хлеба! хлеба!

И Крым дал рабочему северу более трех с половиной миллионов пудов зерна. И это было главное, что успели сделать комиссары. Не так уж много, но у них ведь не было никакого опыта. Все, что они решали, решалось вообще в истории впервые. Не много успев, они отдали жизни за дело, которому служили, — чем и запомнились...

...Оказывается, в детстве я чуть ли не каждый день проходила мимо той небольшой скалы, возле которой они были схвачены белогвардейцами и буржуазными националистами-курултаевцами.

Скала встречалась нам по дороге в школу и из школы, когда мы поднимались от Утеса к шоссе, в село, — теперь оно называется Малый Маяк. Серая, кудрявая скала возле дороги ничем не отличалась тогда от других. Теперь на ней мемориальная доска, а тогда ничего не было и что это та самая скала, мы не знали.

Только гораздо позже, на уроках истории в пятом классе уже в алуштинской школе, услышала я, как схватили их и расстреляли. Нас даже водила в ту балку учительница Нина Константиновна Снежкова, о которой я подробнее расскажу в другой истории. Пока же — только о том, как стояли мы среди кустов дубняка и грабинника, а она перечисляла имена: Слуцкий, Тарвацкий, Коляденко, Новосельский и другие.

А недавно я прочла опубликованные воспоминания одного из этих *других* — Ивана Семенова, которого тоже расстреливали в той же балке, но он случайно остался жив и написал "Записки расстрелянного".

Как же было дело?

Весной восемнадцатого года кайзеровские войска двинулись на Крым, и 18 апреля ими был взят Перекоп. 22-го немцы вошли в Симферополь, а чуть позже в районе Альмы с ними вступили в бой отряды красногвардейцев под командованием Басенко, Максюты, Матузенко, Василевского, Находкина. Что же касается комиссаров республики, они через Ай-Петри выехали в Ялту. Туда должны были прислать военный корабль из Севастополя, чтоб переправить их в Новороссийск. Но ждать корабля в Ялте показалось невозможным, телефонная связь почти не работала, неизвестно было, что происходит в том же Севастополе, в других городах, как далеко зашли германцы. Посовещавшись, комиссары решили пробираться восточным берегом в рабочую Керчь.

21 апреля состоялся тот самый телефонный разговор Ялты с Алуштой, который нынче приводится во всех путеводителях и исторических очерках о судьбе

первого советского правительства в Крыму. А вел его, между прочим, тот же Семенов по поручению товарищей.

— Как обстоят дела в Алуште? — спросил Семенов из Ялты.

— Все тихо и спокойно, — ответила Алушта, и так как очень хотелось в это верить, там, в Ялте, на другом конце провода, — поверили. Дали еще распоряжения: усилить темп организации красных отрядов.

— Уже организуются, — ответила Алушта, но все дело было в том, что разговор этот вели не работники алуштинского исполкома, а белогвардейцы.

21 апреля 1918 года члены правительства Республики Тавриды на двух машинах выехали из Ялты и были схвачены татарскими буржуазными националистами, и стало ясно им с той минуты: впереди только одно — расправа. Но они были молоды, смелы и еще пытались шутить.

— Ты зачем сюда? — спросил Антон Слуцкий у Ивана Семенова, когда того втолкнули в камеру, где сидели ехавшие на первой машине и схваченные чуть раньше. — Ты зачем сюда? Ну, ладно, устроим заседание ЦИКа. Открывай.

На что Семенов в тон ему ответил:

— Нет, лучше устроим объединенное заседание Совнаркома и ЦИКа, председательствовать должен Слуцкий.

Новосельский повернулся к Семенову, заглянул в лицо:

— Когда нас будут расстреливать?

— Успеют. Расстрелять успеют, но того, что мы сделали, никто не убьет.

— Нас расстреляют, не мы первые, не мы последние, — по лицу Коляденко не было видно, чтобы он был обескуражен внезапным поворотом судьбы или испуган им. — Нас расстреляют, но Революция жила и будет жить!

Потом Слуцкого, Новосельского, Коляденко и Тарвацкого отправили в Алушту на машине; остальных, тоже связанных и избитых, повезли на мажаре. Допрашивали их в здании Алуштинского исполкома, под наведенными дулами, потом затолкали в подвал, били там, оскорбляли, стаскивали то пиджаки, то сапоги, отнимали портсигары, ремни, часы. Словом, вели себя мелко, как бандиты, какими, в сущности, и были...

Ночью с 23 на 24 апреля Слуцкий, Тарвацкий, Коляденко и Новосельский еще были живы. За ними пришли в камеру, где сидел Семенов с товарищами. Когда их там не оказалось, белобандиты ушли, злорадно смеясь: "Ладно, найдем!"

Потом среди ночи раздалось несколько залпов: расстреляли председателя Совета Народных Комиссаров Республики Тавриды Антона Слуцкого; члена ЦК республики, председателя Симферопольского горсовета Тарвацкого; народных комиссаров — финансов Коляденко; внутренних дел — Новосельского... Остальных повели убивать утром. Среди них и члены правительства, и алуштинские большевики, и просто схваченные по подозрению рабочие. В спешке нескольких не успели добить, и, истекая кровью, они добрались до Алушты, в которой обстановка к тому времени коренным образом изменилась. Подошел

миноносец, отправленный из Севастополя после известия об аресте комиссаров, и город взял ялтинский красногвардейский отряд.

Отряд расположился у пристани, а во дворе больницы, у поворота на Судакском шоссе, стояли красные гробы с погибшими.

В конце тридцатых годов над братской могилой расстрелянных поднялся обелиск. Каким скромным кажется он сейчас и каким грандиозным казался в моем детстве! Я помню, как его сооружали. В туманные, осенние вечера мы приходили сюда после школы, стояли на разъезженной дороге, отступая, чтобы пропустить очередную машину с песком; нам казалось: мы наблюдаем не сегодняшний день, не время, а Эпоху. Горел прожектор, выхватывая из ранней мглы доски лесов, поднимающиеся вверх ведра раствора, заляпанные цементом ватники. На площадку одновременно въезжало пять, шесть полуторок — как много!

Мы стояли, запрокинув головы, молча, прикасаясь к судьбе тех, кто завоевал для нас Советскую власть. Тогда мысли у меня о них, как и положено в детстве, были романтические и отвлеченные. А сейчас, когда думаю о республике, вспоминается, прежде всего: "Хлеба, хлеба, хлеба!!! Ради бога! Ленин".

Командарм Федько

Степь была так открыта глазу, что казалось: край ее ощутимо кругло заворачивается, уходя за горизонт. Или, может быть, представлялось такое потому, что совсем недавно им объясняли про земной шар, и даже далеко где-то в обозе на одной из подвод болтался глобус,

прихваченный в разбитой усадьбе по личному приказу командира 1-го Черноморского Феодосийского полка товарища Федько.

После апрельского дождя дорога упруга, как хорошо вымешенное тесто, и негромко чавкает под копытами коней. Покачиваясь в седле, Петро Коваль вспоминает день 2 января во дворе казарм запасного полка в Феодосии, когда Федько впервые крикнул: "К оружию, товарищи!"

Ровно убаюкивая, бежит степь, отряд отходит к станции Сальково и должен занять оборону на Чонгарском направлении, прикрыть Крым от наступающих кайзеровских войск... А не удастся прикрыть, так и снова, пожалуй, увидишь соленую пенку рапы у самого порога и феодосийские улицы, по которым всего три месяца назад гнали эскадронцев...

Ровно бежит степь, убаюкивает.

— Не дремать! — раздается в голове колонны радостно-зычный голос, от которого разом вскинулись и Петро и конь.

— Этта какая будет буква? — высоко в руке дощечка, на ней выведено крупно красной, далеко видной краской.

— Буква ре, — гаркает вместе с другими Петро и чувствует, как сама собой выпрямляется спина. Отлетают сонные мысли от родной мазанки, от мелких волн у самого поля.

— Правильно! А этта какая будет буква?

Змеей вьется лента конного отряда, по рельсам катит единственный бронепоезд, впереди еще вся

гражданская, и враг недалеко отстал, но Черноморский полк учит грамоту — и простую и политическую. А еще он усваивает главную науку времени — науку побеждать. Не только практически усваивает, когда сам Федько водит своих товарищей в атаку, но и теоретически, когда на привалах командир рассказывает о Суворове и выигранных им сражениях...

Качается в седле Коваль, скачет вдоль длинной серой ленты командир Иван Федько, почти такой же молодой, как Петро, но сильно грамотный: школу прапорщиков кончил. На минуту глаза их встречаются и смеются оттого, что одинаковое приходит в голову...

— Стараешься, Коваль? — спрашивает Федько, кивая на дощечку, которая опять, с новой буквой, маячит над колонной.

— А как же, раз — повезет, второй — повезет, однако в третий надо уметь, — повторяет Коваль любимую присказку командира. — А чтоб уметь — грамоте учимся!

— О батьке никаких вестей?

— Какие вести! Отлежится — догонит...

...И оба опять глазами показывают друг другу, что вспомнили одинаковое. Ту зимнюю Феодосию января 1918 года, до которой сегодня так далеко, будто не три месяца, а три года прошло. Отогнали тогда эскадронцев, взяли власть в свои руки, дождались помощи из Севастополя, и вдруг накатила беда: с Кавказа через город двинулись по домам — войска не войска, а скорее базар на колесах. Растекались остатки царской армии, волочили с собой военное барахло — пригодится. Пулемет, например, на феодосийской барахолке можно

было выменять на буханку хлеба. Кавказское воинство не просто шло мимо — прихватывало всех несознательных на своем пути, баламутило мозги, такие, как у Коваля были в то время. И случилось: на площади, замусоренной соломой, а больше стручками корявых акаций, подошел к Федько нестарый еще крестьянин, спросил: "Так что, товарищ командир, разрешите заместо сына в части побыть, а он пусть до мамки погуляет". — "Как — погуляет? — Федько даже фуражку сбил на затылок, оглядывая солдатика, стоявшего рядом с отцом. И еще раз щелкнул по лаковому козырьку: — Как — погуляет?" — "А никакой тебе убыли: он Петр Петрович Коваль, и я Петр Петрович Коваль". — "Так оставайтесь оба, скорее власть возьмем". — "Оба-два не можем. — Коваль-отец вольно закурил сигарку, сказал, как старший младшему: — Ты, командир, или молодой, или городской, земли не понимаешь, а ее пахать надо".

Нет, командир, хоть и ходил недавно в офицерских погонах, землю очень даже понимал. Это теперь оба Коваля знают, и тот, что залечивает раны где-то в госпитале, и тот, что скачет заросшей буркуном степью... Вышел командир из такой же безлошадной бедноты, как они, так же по снегу выскакивал босиком, натаскивая на плечи полушубок, один на всю семью. Что же касается земли, сначала ее надо завоевать, пахать после. Истина эта по прошествии трех месяцев политграмоты, атак и отступлений стала, наконец, ясна, хотя сердце все равно скребло...

— ...Пахать надо, — произнес, почти выкрикнул рядом с Ковалем командирский молодой и веселый голос, — вот так пахать надо и сеять...

Земля лежала перед ними пустая, одичавшая пашня, на которой дрались не на жизнь, а на смерть, которую любили жадной любовью, мимо которой сейчас отходили к Чонгарским позициям, веруя в победу, как если бы неслись в атаку. Может быть, в таланте Федько-полководца главным было именно умение внушить веру в победу правого, рабоче-крестьянского дела!

...Когда-то, когда я читала или слушала о том, что в гражданскую, случалось, полки водили мальчишки, армиями командовали двадцатилетние, для меня это были фразы. Заслуживающие доверия, но фразы, поскольку единственный пример всегда упирался в Гайдара. И вот, читая об Иване Федько, я, в конце концов, поняла как-то не теоретически: командовали!

В том же восемнадцатом, после боев у Сиваша, после отхода в Крым, в целях объединения разрозненных сил, прикрывающих эвакуацию из Джанкоя на Керчь, по решению Верховного военно-революционного штаба Республики Тавриды был организован Восточный фронт. Главкомом фронта был назначен Федько. В боях под Джанкоем Черноморский полк с подоспевшим подкреплением сдерживал, оттягивая на себя, наступающие части немцев и гайдамаков.

...Шел апрель 1918-го. Сколько же лет тогда было главкому? Через пару месяцев должен был стукнуть двадцать первый. Он был высок, ясноглаз, вообще у него было светлое, а не только суровое лицо, это видно по фотографиям. И, я думаю, степь, тонкий рог месяца, предвещавший ведро, запах сырой травы волновали его, когда в ночь перед атакой он обходил батальоны. В

запахе этом, так же, как в чистом темном небе, было обещание...

И на этот раз главком рассказывал бойцам о Суворове так, как будто когда-то, еще на той немецкой, служил под его командой, и бойцы, не очень-то разбираясь в истории, представляли не генералиссимуса, не царедворца, а просто русского и отважного. Коваль даже примеривал, как Суворов отнесся бы к их попыткам отбить Джанкой, сумел ли бы сделать больше, чем главком.

...Джанкой они не отбили у немцев и гайдамаков, но до сих пор, говорят, стоит в городе старая водокачка, разбитая снарядом, пущенным из орудия бронепоезда красных. На водокачке засел тогда немецкий пулеметчик, и снять его надо было, во что бы то ни стало.

Потом Федько воевал на Северном Кавказе, на Царицынском направлении, под Екатеринодаром, командовал группой войск из четырех полков, Белореченским фронтом, был главкомом военно-революционных войск Северного Кавказа, командармом одиннадцатой Красной Армии. По рекомендации Кирова решено было направить Ивана Федько в распоряжение ЦК КП(б)У и Наркомвоенмора Украины для работы в Крыму.

Снова сыро пахла торопливая степная трава, снова в небе появлялся тонкий серп месяца, снова впереди маячил Крым, только теперь Федько входил в него без боев: полуостров почти весь был занят армией Дыбенко. Белые стояли на Акмонайских позициях, за Феодосией...

Земля и вправду оказалась круглой, уходя, ты возвращался в места, помнившие твое начало. В Феодосии Федько вступил в партию, в Феодосии же

первый раз крикнул, до горячей крови напрягая шею: "К оружию, товарищи!" В Феодосии море лежало за кромкой золотого песка веселое, и то темная, то светлая рябь неслась от берега по тихой воде так стремительно, будто ее пустил не ветер, а балующиеся мальчишки. Иван Федько и Петро Коваль смотрели на море, молча и не слезая с коней.

— Так пойду? — спросил, наконец, солдат у командира и шевельнул биноклем на груди, будто отмеривая дальность предстоящего расстояния. — Пойду до мамки погулять?

Теперь в эти слова обоими вкладывался смысл совсем иной, чем полтора года назад. Скорее всего, тот, что линия фронта отрезала родное село от Феодосии, а идти в разведку на ту сторону сподручней всего ему, Ковалю, местному человеку, и не только узнать, что к чему у белых, но, если удастся, еще и отомстить.

— Смотри, батьку к стенке поставили, тебя схватят...

— Живым не дамся.

— Не в том вопрос, чтоб умереть, а в том, что, сына не родивши, порвешь ниточку. Кто Петром сына назовет? Петром Петровичем?

Ветер резко бил в спину, по ясному дну все бежала и бежала золотая тревожная сетка.

...В мае месяце Федько пытался прорвать фронт под Ак-Монаем, но силы белых были поддержаны флотом интервентов. В июне Дыбенко увел армию из Крыма, а в июле крымская Красная Армия была реорганизована в 58-ю Крымскую стрелковую дивизию, которой долго и успешно командовал Федько...

Но это уже другие, не крымские, страницы.

Гибель эскадры

Сигнал, поднятый на эскадренном миноносце «Керчь», гласил "Позор и продажа флота" и относился к кораблям, решившим Севастополь не оставлять, в Новороссийск не идти. А кто решил? Вот этого, поднимая сигнал на вверенном ему корабле, Владимир Андреевич Кукель-Краевский точно не знал. Шесть дней прикидывали, выбирали, митинговали. Шесть дней по флоту объявлялось то положение № 1, то № 3. Иными, сухопутными словами: от готовности сняться с якорей сию минуту до предупреждения на всякий случай — через сутки-другие возникнет необходимость оставить порт...

Сегодня, на рассвете 29 апреля 1918 года, Комиссариатом Республики Тавриды по военно-морским делам было отдано распоряжение последним частям, сдерживающим наступление кайзеровских оккупационных войск, оторваться, идти в Севастополь. В порту началась эвакуация. Толкаясь, неуклюже семеня по трапам, шла на корабли пехота в старых, ржавых от дождей, закопченных у костров шинелях. Угрюмо оглядывала город, вернее сушу, с которой предстояло расстаться. Оттесняя пехоту, привычно взлетали моряки, но, поднявшись на борт, цепенели, снимали бескозырки.

Команда «Керчи» готова была покинуть порт раньше других. Но и тут поминутно звучал сегодняшней главный вопрос: "Вернемся, товарищи?" Его задавали, оглядываясь на командира, не потому, что боялись, а потому, что знали: лучше его никто не объяснит, зачем и надолго ли.

Командир эскадренного миноносца смотрел на эвакуацию, плотно сжав поручни побелевшими от напряжения пальцами. Но длинное интеллигентное лицо его, по-южному оливково-темное, выглядело спокойным. Спокойствие было, однако, того толка, что приходит к человеку во время последней опасности. Впрочем, Владимир Андреевич тревожился не за свою личную судьбу, которую раз и навсегда связал с революцией. Прислушиваясь к репликам матросов, поднимавшихся на борт, он чувствовал ту же тоску, что и они — а может, еще большую...

— Вернемся, товарищи?

— А ты думал? Сиротой оставлять Севастополь — душа болит.

— Никогда еще такого не было, чтоб Севастополь — без боя...

— Ступай шире, на жалость не бери, вернемся...

— Еще б от тебя, умного, точно узнать — когда?

Глотки сипят от недавнего крика на митингах: сколько дней решали, спорили, бросали в воздух лозунги, бескозырки, матюги. Однако и сейчас не все убеждены: правильно уходят, потому что лучше не то, что в Новороссийск — на дно, чем в руки Вильгельму. Гадают, морщат лбы: нет ли третьего выхода? И те, кто надеется на какое-то несбыточное «третье», грозят расстрелять уходящих. В ответ миноносцы обещают минную атаку, и так идет-переваливается от решения к решению, затягивая время...

Когда корабли медленно, один за одним, выходили, наконец, из бухты, полная ночь стояла уже над Севастополем. Где-то по Лабораторному шоссе горели

дома, небо было усыпано крупными, прощальными звездами, и стучало в голову: там, куда они идут, звезды будут иные... Во всяком случае отраженными в иной воде.

Эскадра взяла курс на Новороссийск, волочила тяжелые от дурного топлива дымы. Моряки стояли на палубах, все лицом в одну сторону, и каждому казалось: горше минуты не будет. Точно так же думал и командир «Керчи», ничего еще не зная о той трагической роли, какую предстоит сыграть его эсминцу.

...Кайзеровские войска, явно нарушая условия и без того тяжелого Брестского мира, рвались в Крым не только ради пшеницы, сала и вообще всего, что можно вывезти. Германию соблазнял еще и Черноморский флот. Как транспорт и как средство обеспечения своего господства на Черном море. Флот ушел в Новороссийск, но аппетиты Вильгельма от этого не уменьшились...

Немецкие подводные лодки дежурили у Новороссийска, немецкие аэропланы ежедневно появлялись над ним. Флот оказался запертым и беспомощным. Кроме того, защищая Новороссийск, можно было втянуть войска противника на Кубань, и это могло стоить "слишком дорого, означать срыв всех соглашений и всех переговоров и может быть немедленную общую катастрофу". В Новороссийск последовало предписание: "Совет Народных Комиссаров приказал теперь же уничтожить все военные и коммерческие суда, находящиеся в Новороссийске".

Затем через 10 приблизительно дней телеграмма, в которой были такие слова:

"Всякое промедление означало бы передачу флота Германии. Разъясните страшную ответственность, которую берут на себя сопротивляющиеся".

И еще через четыре за подписью Председателя ЦИК Я. М. Свердлова и Председателя Совнаркома В. И. Ленина: "Подтверждаем приказ..."

...Это было еще более печальное, чем то, первое, нахимовских времен, потопление флота. Один за одним корабли или сами (у кого были силы) выбирались из порта, или их выводили на буксире. Эсминец «Керчь» командовал и приводил в исполнение трагический приказ. Эсминец «Гаджи-бей» поднял сигнал: "Погибаю, но не сдаюсь". Старый сигнал русского флота, который вряд ли когда-нибудь поднимался при подобных обстоятельствах...

Видные в воде мины бежали от «Керчи» к «Фидониси», к «Калиакрии». Миноносцы тонули быстрее, разламываясь от взрывов, уходили на дно. "Свободная Россия" сопротивлялась смерти, как живая. Это был огромный линейный корабль, тогда говорили: дредноут. Мины не брали его, но наконец поднялся почему-то белый столб дыма выше мачт, а когда он рассеялся, стало видно, как равномерно и нехотя корабль кренится на бок.

В мертвой тишине до «Керчи», как пишет в своих воспоминаниях В. А. Кукель-Краевский, отчетливо долетел грохот сорвавшихся со своих мест и перекатывающихся по палубам дредноута катеров, лязг металла о металл и тонкий, ничем не перебиваемый звон вдребезги разлетающихся приборов. Страшную картину представляла вся бухта с воронками воды, крутившейся над ушедшими на дно судами, с пустым, как выметенным

портом, с мусорной пеной слабой волны, поднимавшей на себе то весло, то сброшенную в тоске бескозырку, то просто деревянный обломок.

Последним погиб эскадренный миноносец «Керчь». Это случилось уже на рассвете 19 июня 1918 года... Перед тем как открыть кингстоны, корабль дал радиограмму: "Всем, всем. Погиб, уничтожив те корабли Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии".

Владимир Андреевич вышел из радиорубки, вытирая холодный неожиданный пот, выступивший на лбу.

Останавливаясь, я только хочу объяснить, почему выбрала именно этот сюжет. Дело в том, что в тридцатые годы в клубе совхоза, где мы жили, шла однажды картина под названием "Гибель эскадры".

Не помню ни одной подробности, только ощущение: все, что свершилось на экране, не отошло еще, принадлежало тем, кто сидел вокруг меня под пчелиное жужжание передвижки. Это ощущение усилилось после того, как все в зале встали и вдруг запели «Интернационал». Мужчины при этом сжимали в руках кепки и смотрели вперед себя, на пустой теперь экран. В то время часто после собраний пели «Интернационал», но нужен же был какой-то толчок? Возможно, среди рабочих совхоза тогда был кто-нибудь, кто уходил вместе с эскадрой?

Деятнадцатый год, или рассказ о любви

Среди многих радостных дней своей очень долгой жизни Александра Михайловна Коллонтай с особым

чувством благодарности любила вспоминать один. Высокое легкое небо стояло в этот день над городом, гроза отгремела, и теперь прямо из чистой синевы сыпался на землю золотой, высыхающий на лету, слепой дождь... Она шла, то, закидывая к нему лицо, то, подставляя ладони, а в сердце громко и неожиданно звучали выученные в детстве строки: "Ты скажешь: ветреная Геба, кормя зевесова орла, громокипящий кубок с неба..."

До чего все совпадало: солнце золотило нити, и каждая повисшая в воздухе капля была действительно как жемчужина — перл...

Слепой дождь падал на город. А город был Севастополем весны тысяча девятьсот девятнадцатого года. Только что с боями ворвалась в Крым армия Дыбенко, и Севастополь носил еще мусорные следы поспешного бегства английских и французских интервентов. На станции стояли вагоны с мебелью красного дерева, заброшенной кое-как в их вместительную темноту; порт был завален лопнувшими мешками с овсом, тюками сена. Но, несмотря на это, город сам по себе и, особенно из-за моря и этого слепого дождя был хорош; они остановились, любуясь им, и Дыбенко сказал:

— Представь, в прошлом году мог потерять все это, весь белый свет и тебя в придачу. Вздернули бы на первом фонаре — и конец... У них при всей их хваленой аккуратности к большевикам — семь пятниц на неделе.

Александра Михайловна вздрогнула и оглянулась вокруг с таким чувством, будто в первый раз услышала об этом эпизоде из его недавней жизни, если только можно назвать эпизодом бросок в тыл врага с особым

заданием, арест и ожидание смерти в симферопольской тюрьме. Мысли о том, что более выгодным сочтут немцы — обменять тебя на своего генерала или все-таки уничтожить, чтоб ты, оказавшись на свободе, по ту сторону фронта, не сделал того, что все-таки сделал...

Она была первой женщиной — членом правительства, первой женщиной, преданной церковной анафеме, первой женщиной, выступавшей на революционных крейсерах Балтийского флота, но сейчас она содрогнулась, будто ее муж, ее любимый не шел рядом с нею, вернувшись в Крым победителем и командиром, а все еще оставался в плену, в неизвестности.

Она еще раз оглядела площадь, вдруг заметив посреди ее припавшую на одну ступицу разбитую снарядом фуру, старую мокрую афишу в луже, неопрятные клочки травы у заборов; на мгновение свет золотого дождя померк для нее, а город показался враждебным...

— Шура, я бы не стал напоминать, да весело как-то все в сердце шевельнулось...

— Весело? — Она подняла глаза на Дыбенко с удивлением, но сейчас же поняла: весело оттого, что прошел по лезвию и опять победил. Весело от того, что оказался сильнее обстоятельств... Вот уж поистине: "Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю". А разве сама она не испытывала подобное? Правда, так близко к смерти никогда не подходила. Двойное дно чемодана с ленинскими листовками и едва заметный холодок под ложечкой, когда на границе пальцы таможенников роются в белье, арест и одиночка в Выборгской...

Золотые капли опять запрыгали по мостовой, надо было отодвинуть все, радоваться, что они живы, что побеждает дело, которому оба отдали жизнь.

— Шура, знаешь, что я в тюрьме больше всего вспоминал? Так перед глазами и стояло? Как тебя первый раз слушал на крейсере и боялся подойти...

Много раз за долгую жизнь ей объяснялись в любви. В разных странах, на разных языках, люди разных возрастов, убеждений, судеб.

Но самым радостным, самым прекрасным и юным осталось для нее это признание. Говорят, любовь слепа и не знает логики: нельзя объяснить, за что ты полюбил человека, а если можно, то это уже не любовь, не всепоглощающая страсть тобой владеет.

Что делать, но она знает, почему ее, немолодую женщину, полюбил бывший балтийский матрос, нынешний стремительный командарм Павел Дыбенко.

— Хочешь верь, Шура, хочешь — нет, а мысли о смерти не было. Думал, как с тобой встречу, — это так. А со смертью встречаться не рассчитывал.

...А она его любила за эту уверенность победителя. И еще, наверное, за беззаботность, которая — увы — является привилегией молодости...

Александра Михайловна махнула перед глазами рукой, отгоняя мысли, пошла быстрее, высоко и красиво неся голову в нарядной, встрепанной ветром и красиво неся голову в нарядной, встрепанной ветром прическе, взбивая коленями сукно юбки. Она шла навстречу своему торжеству, а, попросту говоря, выступать на одном из

кораблей Черноморского флота, агитировать за большевиков, за Советскую власть.

Пройдет много лет, и она напишет в своих воспоминаниях: "Я сама горела, и мое горение передавалось слушателям. Я не доказывала, я увлекала их. Я уходила после митинга под гром рукоплесканий, шатаясь от усталости. Я давала аудитории частицу себя и была счастлива".

Но сейчас еще далеко от этих слов. Она еще не стала посланником Советского правительства в Швеции или послом в Мексике, не пишет еще мемуаров и гораздо больше интересуется настоящим, чем прошлым... Сейчас она, комиссар агитации и пропаганды Украины, прибыла в Севастополь вместе с дивизией Дыбенко.

...Начала она свою речь с того, что заговорила о культуре. Война угрожает смести с лица земли все достижения ее. Всякая война, но не та, которую ведут они сейчас, потому что это не война, а восстание трудового люда за свои права, в том числе за культуру...

Челка упала ей на глаза, она тряхнула головой, откидывая волосы, чувствуя, как настигает ее та тугая волна вдохновения, приход которой был сладок, близок к состоянию влюбленности и делал ее легкой, как птица. Она привстала на цыпочки, взмахнула крыльями и уже царила над теми, кто слушал ее, запрокинув молодые, суровые лица.

— ...Мы воюем, чтобы обеспечить крестьянину и его детям возможность спокойно и мирно обрабатывать землю, чтобы дать рабочему возможность не только работать на фабрике и заводе, но и самому участвовать в организации производства, самому распределять

народные богатства страны, так, чтобы досталось каждому по справедливости...

Слова выговаривались простые, люди, слушавшие ее, не были искушены в словах. Главное для них заключалось в ее убежденности, что так может стать: наконец они получают свое.

В пылу той страсти, которая охватывала ее при выступлениях, она не могла рассмотреть их лица, все они сливались для нее в одно лицо — Павла. Как она любила эту напряженную складку между бровей: человек старается осмыслить не строчку, не книжку, даже не свою судьбу — судьбу мира. Человек поднимается выходит в мыслители, в стратеги, в государственные мужи, и это великое таинство совершается на ее глазах, не без ее участия, — что может быть слаще?

Кончив говорить, Александра Михайловна почувствовала, как устала; кончики пальцев покалывало, щекам стало холодно, и она была благодарна Павлу за то, что он подвинулся ближе, загораживая ее от ветра. А может быть, Дыбенко загораживал ее от взглядов людей, которые только что ею восхищались? Пусть в их памяти она останется исступленной, крылатой. Что ж, она была благодарна ему за это, как и за многое другое.

Они шли домой пешком по пустынному городу, говорили о делах, о том, что в следующих выступлениях надо будет делать упор на то, что деникинцы рвутся на юг Украины, без надежды задержаться, яростно нацеливаясь вывезти урожай, вырвать у голодных рабочих надежду на хлеб...

— Завтра будет ветер, — сказал Дыбенко, когда они уже подходили к крыльцу, и она вдруг поняла, что при

всех своих делах командарм отметил сегодняшней золотой дождь...

...Чтоб не быть отрезанным от Республики Советов, Дыбенко вывел свою армию из Крыма в начале лета. Майские грозы сменились сухим зноем, наливались южные хлеба, многочисленные банды взрывали мосты, обстреливали поезд командарма.

...Через много лет, во время второй мировой войны, Александра Михайловна Коллонтай вспоминала и пожары, и выстрелы тех далеких лет. Но больше всего день, когда с высокого ясного неба падал дождь. И еще она вспоминала, как, стоя на крыльце, мужчина, которого она любила до страха, до тоски в сердце, спрашивал ее:

— Знаешь, Шура, как у нас в селе такой дождик дразнили? "Дождик, дождик, перестань, мы поедem в Иордань!"

— И переставал?

— А мы тогда: "Дождик, дождик, припусти, мы попрячемся в кусты!"

Горело на воде и не могло сгореть плоское пламя вечерней зари, гремела тачанка, подскакивая на выщербленной мостовой, преувеличенно четко печатая шаг, шли матросы. "Ты скажешь: ветреная Геба, кормя зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила..."

Из истории семьи Немич

Встречаются иногда большие семьи, в которых все дети красивы, удачливы и преданы какой-то одной светлой идее. Такие семьи воспитывала, случалось, не чиновная, и не денежная интеллигенция — учителя,

врачи. И это понятно: книги, музыка, сочувствие *братьям меньшим...* А у Немичей отец служил урядником, следил, чтоб беспаспортные не задерживались даже на ночлег в Ак-Мечети, чтоб неблагонадежные не оседали на близлежащих хуторах и в экономиях. У него было тоже красивое, большое, русобородое лицо, а все остальное по чину: сапоги бутылками, казенная фуражка и желание *вывести детей в люди*.

Какие он им говорил слова, наводя на путь истинный? Сейчас никто уже не вспомнит, не пришлет свидетельства. Прошел без малого век с тех пор, как акмечетский урядник давал первые наставления своему старшенькому, любимцу Максиму, отпуская его "в люди". И почти шестьдесят с черного дня, когда евпаторийский фотограф сделал во дворе низкого саманного дома вот этот снимок. На нем — гроб, а в гробу очень молодой человек, почти мальчик. Руки смиренно сложены на груди, и неживая голова смиренно лежит на подушке. Гроб стоит на табуретках во дворе, а слобода, одна из евпаторийских слобод, собралась вокруг: истово смотрят в объектив крутолобые, круглоглазые лица, почему-то много детей. В ногах гроба бородатый старик, отец семейства. В гробу не Максим, нет. Сергей, младший, последний, зарубленный деникинцами на пороге родного дома. Остальные в это время сидят в тюрьме, и очень скоро их расстреляют белые на станции Ойсул, недалеко от Керчи. А через несколько дней не станет и отца. Он повесится, наложит на себя руки, как говорили тогда. Может быть, бросая этим вызов Богу, а может быть, горько сожалея о дне, когда отпустил своего старшенького набираться ума-разума и постигать, что есть справедливость.

Но что поделаться, несмотря на казенный картуз и сапоги бутылками, акмечетский урядник любил людей грамотных, *задумчивых*, а о тех, кто не имел ни паспорта, ни другого вида на жительство, говорил: "Тоже человек, а его в птицы определяют, чтоб земли, значит, не касался..."

...Максима убили в тюрьме в 1908-м. Опал первый лист с могучего дерева многодетной этой семьи. Максим был серьезный, с коротким ежиком волос, с прямым, чуть островатым носом, ходил в черной косоворотке и любил книги... Отец смотрел на него, выросшего, хмуро, а младшие с обожанием. Может быть, именно это больше всего разъедало сердце отца: ну, пусть один страдает за справедливость, а девчонки — зачем?

Антонину взяли в 1907 году. Она распространяла листовки РСДРП. После суда за недоказуемостью вины выпустили, и на добротной старой фотографии запечатлен этот момент — Антонина с подругой и еще какой-то очень молодой человек: одежда простая, а осанка достойная, красивая, вольная. Снялись на память о счастливом дне, смотрят вдаль с надеждой и верой — жизнь длинна, без бурь прожить ее нельзя, так расправим же плечи навстречу бурям...

Антонина вышла замуж, были у нее дети и муж, хороший преданный человек. Деду довелось, наконец, покачать на колене внуков. Вытирая им носы, одергивая праздничные суконные курточки, Павел Немич думал, наверно, о том, что был он прав: стену лбом не прошибешь, порядок есть порядок.

Но в семнадцатом порядок накренился еще больше, чем в пятом, и Антонину снова стало не узнать. Выбегала из дому на ночной стук в ставню, едва успевала волосы

под платок заправить, носилась по городу, устраивая чужую жизнь, добиваясь справедливости для самых забитых: кухарок, модисток, поломоек. Организовала профсоюз «Игла», выдвигалась как депутат Евпаторийского Совета в его большевистской фракции, но из всех дел Антонины Немич я расскажу об одном.

...Что за тень маячит в степи, серым пятном почти сливаясь с предрассветной мглой? Женщина ходит вдоль дороги, дует на озябшие руки, в руках кружка, у обочины — пустой бидон. В час, когда крестьяне только еще едут на евпаторийский базар по степным дорогам, на каждой из них у въезда в город подводу остановят женщины с кружками. Через плечо у них полотнище, а то и просто полотенце, на нем написано: "Первую каплю молока дай голодному ребенку!" Хочешь не хочешь, а отдаешь, товарки у Антонины такие, что ни кнутом, ни руганью их с дороги не уберешь.

Одни дают без спору — сами видели городских детей в приюте, организованном Антониной: шейки синие, личики старые. Другие ругаются — порядка нет, за свое же доброе тебя еще и куркулем обзовут. А Антонина довольна: дети меньше умирают, победили и дизентерию и тиф, вот только собственного, Митеньку, не уберегли.

...Семен Немич был самым красивым из братьев, и история его была романтическая. От любви, от молодого задора ушел он на фронт в четырнадцатом — доказать, как храбр, вернуться — вся грудь в крестах. На фотографии, которую мне показали в музее, у Семена лицо вдохновенное и прелестное, лицо путешественника, книжника, мечтателя... Между тем с фронта он вернулся не только прапорщиком, но еще и полным Георгиевским

кавалером, военным специалистом. Это он водил отряды Красной гвардии в сражения с курултаевцами на Мекензиевых горах, под Севастополем, в марте восемнадцатого он же в Симферополе на параде присяги и верности командовал евпаторийскими частями. И именно он сформировал первый добровольческий евпаторийский отряд, который дрался за Советскую Республику Тавриды на Перекопе.

Романтизм, начавшийся с книг Жюль Верна и Фенимора Купера, привел Семена под флаги совсем иной справедливости.

...Было в семье Немичей еще трое детей: Евдокия, Варвара, Юлия. Все они были прежде всего красавицы. Высокие, плоеные прически, мягкое задумчивое выражение огромных глаз, нежные щеки — разве можно за такой, за собственной красотой рассмотреть чужое горе, чужую нужду? А вот рассмотрели, ушли в революцию.

Варвара работала в следственной комиссии, секретарем в Совете рабочих и солдатских депутатов, от Юлии, кроме фотографий в городском музее, осталось наивное заявление на имя городского головы. В нем женщина просит зачислить ее кандидаткой на должность мирового судьи. "Лет мне 28, живу на Бахчалыке, дом Немич. Под судом и следствием не была. Сентябрь 1917 г."

В судьи Юлию не выбрали, да она, наверное, и не ждала, что выберут, просто заявила свое право, равное с правами мужчин. Позже Юлия занималась обеспечением необходимым семей тех, кто ушел на фронт против банд Каледина.

Немичей белогвардейцы схватили в апреле восемнадцатого и держали сначала в Евпатории. Но настроение в городе было такое, что грозило взрывом. Незачем подносить спичку к пороху — Немичей переправили в Симферополь.

Там в тюрьме сидели они долго: и во время кайзеровской оккупации, и во время англо-французской интервенции. Расправиться с ними белые решились только в марте следующего года. Подогреваемые евпаторийской буржуазией, офицеры Добровольческой армии с охотой взяли на себя это черное дело.

Как рассказывает в своем очерке о семье Немичей Б. Тавровский, решение состряпано было прямо на балу в Евпатории, чуть ли не между двумя танцами. "Уничтожить. Так будет спокойнее" — постановили не только господа военные, но и их достойные супруги. Больше того: жена офицера Калашникова взялась опознать в симферопольской тюрьме евпаторийских большевиков. Что и сделала на следующую ночь после упомянутого бала. Она сама наводила свет фонаря на лица арестованных, лежащих на полу: "Этот, этот, эта..."

Все остальное свершилось очень быстро. Антонина спросила, куда и зачем их выводят. Варвара крикнула что-то о трусости белых, не решающихся даже сейчас сказать правду в глаза, Юлия заплакала. Потом стали отдавать Евдокии обручальные кольца, просить: сбереги детей...

...Немичей: Семена, Антонину, Варвару, Юлию — расстреляли на станции Ойсул, далек от Евпатории, на противоположном конце полуострова, под Керчью. Зарыли в общей яме и землю над ними притоптали сапогами, чтоб без следа, без могильного холмика

сгнула семья. Понимали: такие, как они, всегда будут знаменем, вокруг которого объединятся другие.

Что значит легендарная биография

В первый раз он появился в Крыму, в Севастополе, летом 1917 года. И уже тогда за ним шла легенда. Эта легенда была не такой, как последующие: она не приукрашивала и без того удивительные события, она шипела: "Никакой, во-первых, не Мокроусов, а Савин". И, во-вторых, отнюдь не бывший балтийский матрос, а — германский шпион. Три мешка денег получил, продал родину".

Однако легенда, даже самая злобная, должна же отталкиваться хоть от каких-то фактов. Почему Савин? Потому что за границей, куда бежал от преследования царской охранки, жил долгие годы под этой фамилией. А *заграница* оказалась далекая: Швеция, Дания, потом Англия и даже Австралия, Южная Америка, Китай...

В Сидней, Мельбурн, Ньюкастл Мокроусов ездил собирать средства для политзаключенных. В Южную Америку попал, спасаясь от высылки в Россию, где свирепствовала реакция. В Буэнос-Айресе организовал Союз русских рабочих, откуда и вернулся на родину уже после Февральской революции...

Вот какой человек ходил по бульварам Севастополя летом 1917 года, выступал на митингах, слушал ораторов, опровергал, как мог, первую недобрую легенду о себе.

Из Севастополя, быстрый в решениях, Мокроусов отправился к месту прежней матросской, доэмигрантской

службы, как бы только затем, чтоб доказать справкой: он, мол, это именно он. Поносил чужую фамилию — хватит. Но было и другое: хотелось своими глазами увидеть, что там делается на милой сердцу Балтике, попасть в гущу событий, которыми руководили большевики...

Осенью, уже после Октября, вернулся в Севастополь убежденный сам, убеждающий других: революция победит, надо только помогать тем, кто устанавливает Советскую власть.

Моряки Севастополя первыми выступили на борьбу против сил контрреволюции. В ноябре 1917 года в боях с корниловцами под Белгородом Мокроусов вспоминал, как провожали первый Черноморский революционный отряд. Как плакали женщины в серых шерстяных платках, бежали рядом мальчишки, как спускались к вокзалу по Корабельной стороне под пение «Интернационала». Низко плыли тяжелые звуки духового оркестра, и сотни матросских глоток истово выпевали:

Это есть наш последний

И решительный бой...

Грузились в вагоны, выставляя из дверей тупые рыла пулеметов, вывешивали плакаты — зубным порошком по кумачу: "Смерть буржуазии!", "Прах капиталу!", "Умрем за власть Советов!", "Мир хижинам, война дворцам!"

Мокроусов выступал на митингах, организовывал поезда, вооружал товарищей, а со вторым эшелоном уехал сам в качестве командира отряда, отправился душить гидру контрреволюции.

Громыхало, пахло порохом время черных бушлатов и маузеров в деревянных кобурах, время мандатов и страстей. Время требовало стремительных, легендарных характеров, и характер Алексея Васильевича Мокроусова отлично вписывался в него.

Пройдя через бои, он явился в Севастополь для того, чтоб сформировать новый отряд. И опять бои, и опять идут в Севастополь выразительные и краткие телеграммы-рапорты: "Звереве взято. С нашей стороны есть убитые и раненые — 35 человек. Продвигаемся и продвигаемся дальше...", "Прибыл в Никитовку. В Мелитополе взял на 1000 человек обмундирования и 280 винтовок".

Весной, после разгрома донской контрреволюции, отряд Мокроусова вернулся в Крым. В выданном ему 10 марта 1918 года мандате говорилось: "Предъявитель сего действительно есть начальник Областного штаба Красной Армии — товарищ Мокроусов, которому поручено формирование всей как пешей, так и конной Красной Армии в городах: Симферополе, Евпатории, Феодосии, Мелитополе, Джанкое..."

Республика Тавриды пыталась отбиться от интервентов. Мокроусов выехал на Перекоп, участвовал в боях севернее его. Но силы были слишком не равны, и австро-германские дивизии двигались по Украине, а Красная гвардия отступала с боями. Из огня этих боев Мокроусов продолжал слать в Севастополь телеграммы: "Все время идет бой... Деремся с 21 ландштурмским полком... Настроение бодрое, трусов нет".

...В Крым он вернулся только летом 1920-го, когда за полуостров последней, отчаянной хваткой вцепился Врангель.

К этому времени он уже был человеком, за которым прочно, шаг в шаг следовали легенды. О чем же говорили эти легенды?

Самая романтическая рассказывала о том, как еще в семнадцатом в Петрограде, отбив у белых телеграф, увидел Мокроусов за аппаратом эту самую мамину дочку. Глазищи — во! Коса со стула до полу свешивалась. Барышня из благородных. Морячок посмотрел на нее раз, другой, продиктовал, что там было надо ей на ленту, а потом: "Ухаживать мне за вами времени нет, сами видите, через час-другой белые телеграф у нас отобьют. Будьте моей женой!"

Эта легенда нуждается в значительных поправках на истину. Во-первых, в Питере, когда брали телеграф, никакой приглянувшейся барышни и никакой спешки не было. Там Алексей Мокроусов, вооружившись не только винтовкой, но и красным карандашом, перечеркивал тексты контрреволюционных или просто лживых телеграмм.

Невесту же свою, Ольгу Александровну Гончар, дочь коммуниста-подпольщика, он встретил позднее в Киеве, действительно на телеграфе. Именно она соединила его со штабом белых в Броварах, в местечке под Киевом, и он говорил с белыми офицерами, путая их карты, от имени воображаемого полковника, командира воображаемой части.

...Выступать в роли белого офицера Мокроусову приходилось не однажды: успеху содействовало знание языков, то, что пообтерся-таки в своих заграничных странствиях балтийский моряк, мог и лоском поразить...

...Влетает машина комбрига в местечко, где, по точным данным, давно уже наши, влетает стремительно

и беззаботно: "Где штаб?" — "А вон дом, что под красной крышей", — кивает встречная баба. Подъезжают, а над красной крышей — желто-голубое петлюровское знамя. "Не может быть! Спустить еще не успели", — только мелькает спасительная, но и достаточно неосновательная мысль — навстречу и сами петлюровцы.

И тут из машины выскакивает молодцеватый офицер, плечи прикрыты буркой, естественно, что погон не видно. Офицер налетает на петлюровцев с вопросом: что за команда? Чего жупаны нараспашку? Семечками торговать собрались? Арестовать!..

...В пыльный, маленький городок Судак вступает стройная колонна английских солдат, одетых в новенькую форму. Вроде бы никаких войск союзников в этих местах и не должно было быть, но на всякий случай встречные козыряли полковнику с маленькими холеными усиками и жесткой выправкой.

"И — раз, и — два!" — печатают шаг «Томми». "И — раз, и — два!" — полковник идет под свернутым знаменем, подбородок задран, глаза с прищуром. Ну, сукины сыны, врангелевцы, ну, «коллега» Емельянов, попомните вы и ныне, и присно, и во веки веков, что *значит жалкая кучка бандитов*, как вы аттестуете нас в своих донесениях "черному барону".

"И — раз, и — два!" Ах, бестолковая голова знаменосец: не хотел, конечно, но знамя развернулось в руках раньше времени — красное знамя, которое ни с каким другим не спутаешь...

Началась перестрелка. Справились с белыми быстро, полковника Емельянова, правда, упустили. На ялике удрал он из Судака и то ли со страха, то ли затем,

чтоб оправдать свое бегство, сам усиленно сеял панику: Судаком овладел, мол, тысячный десант Красной Армии!

Что же касается легенды, то и тут она сумела войти в биографию: на командире отряда Мокроусове, тогда в Судаке, был совсем не английский, а потрепанный русский офицерский мундир. И партизаны выглядели совсем не так нарядно, как говорит легенда, и новеньких желтых ботинок на них не было, и по-английски в тот раз Мокроусову не пришлось говорить. А все остальное правда: снял Врангель дивизию для борьбы с «тысячным» десантом, поднял по тревоге все военные школы... И, правда, белогвардейская газета в эти дни писала, что существование партизан приняло весьма угрожающий характер, и замалчивать это — значит закрыть глаза на огромную опасность. Существование партизан, мол, грозит «порядку» в Крыму.

...Как будто бы вместе с окончанием легендарных дней гражданской войны должна была кончиться легендарная часть биографии Алексея Васильевича Мокроусова. Но еще раз пришлось встретиться Мокроусову с легендой. В 1936 году под фамилией Савин он был направлен в республиканскую Испанию военным советником. Там служил он, как это ни странно, рядом со старым другом своим Дмитрием Соколовым, с тем самым, с которым высаживался когда-то десантом в тылу Врангеля с маленького катера «Гаджибей». Поистине тесен мир...

А после Испании Мокроусов работал на должности, может быть, и романтической, но уже куда более тихой: директором Крымского Государственного заповедника. Пока не стал руководителем партизанского движения на полуострове осенью 1941 года.

Комендант Алушты

По городу в розовой закатной пыли брели козы, возвращаясь с окрестных холмов. Зло блеяли, тычась в глухие заборы, за которыми копошилась напуганная слухами и выстрелами жизнь захолустного городка из курортных.

Неустойчивое равновесие сил в июне 1919-го давало повод владельцам богатых дач надеяться на то, что все обойдется. Испарится, как сон, ревком, а рота красноармейцев (40 человек), охраняющая беспокойную власть, однажды промарширует то ли в сторону Ялты, то ли в сторону Симферополя. Все равно, в сущности, куда, лишь бы подальше.

А пока что на пустом базаре эти самые красноармейцы крепкими крестьянскими ногтями колупают сухие черные груши, прежде чем прицениться, сладко причмокивают, пробуя раннюю черешню. По лицам красноармейцев иные пытаются отгадать, на чьей стороне сегодня перевес. Рабочие с винзавода Токмакова-Молоткова ждут одних вестей, дачевладельцы в основном — других. Дачевладельцы спят и видят: пронесся ураган, возглавляемый этим бешеным, но, надо сказать, удачливым командармом Дыбенко, и все вернулось на круги своя. Снова гусь свинье не товарищ, снова из Симферополя движутся линейки, и дамы в белых батистовых блузках стойко переносят тяготы пути, чтоб оказаться в уголке захолустном, но все же райском.

А сейчас в райском уголке скрытая, почти без выстрелов, идет война. По ночам сигналият с окрестных гор не успевшие сбежать деникинцы, а в море ответно вспыхивают — короткие, длинные — азбукой Морзе

огоньки, передают сведения о численности и передвижении наших. И ходит по городу непонятный человек с интеллигентной наружностью петербуржца, с мандатом коменданта города — Борис Лавренев. Фамилия у него благозвучная, дворянская, и будто бы в Московском университете получил он образование. А — резок, предан сумасшедшим идеям большевиков, всех, кто пытается обратиться к нему, как к человеку своего круга, обрывает беспощадно.

Бывшие считают коменданта Алушты тоже бывшим, усердствующим перед новой властью — пока. Бывшие ничего не знают о будущем, которое выпадет на долю Бориса Лавренева, одного из первых по времени и лучших советских писателей романтиков и маринистов.

Впрочем, будущее еще и перед ним маячило неясно, хотя в Алуште именно в девятнадцатом задумал он издать поэтический сборник вместе с другим поэтом, Григорием Петниковым, служившим в политотделе Крымской армии. Однако ничего не осталось от того сборника, растрепал его ветер революции, оказавшийся суровее, чем предполагали молодые поэты.

Неустойчивое равновесие сил летом девятнадцатого года было нарушено: всего 75 дней на этот раз продержалась Советская власть в Крыму... Увозили раненых из Ялты и Гурзуфа, пешком через Алушту проплелись те, кому транспорта не хватило. И все наступали на горло коменданту, требовали лошадей, подвод, продуктов в дорогу.

А дальше события разворачивались так. 21 июня, около пяти вечера, красноармеец с вышки крикнул:

— Товарищ комендант, во море дымить!

Полным ходом к берегу, наставив на него двенадцать пушек, шел французский дредноут "Жан Бар". А у наших, у красных, у Бориса Лавренева и его роты, оказалось сорок семь винтовок, пулемет и одна горная пушка.

От дредноута отделился катер. Комендант скомандовал:

— Пулемет к купальне! Орудие за сарай. Стрелков в цепь.

А дальше стоит передать слово самому Лавреневу, живописавшему это событие так:

"Катер к берегу пошел, а я на пристань.

Близко. С кормы привстал маленький, чернявый (в жизнь его не забуду):

— Parlez-vous francais? Сдавайтесь. Всем, кроме коммунистов, пощада. Бороться смешно.

Решил, если подойдут под пристань — по взмаху шашки, в катер гранату, а сверху по башкам из «льюиса» полью и ходу в горы".

Однако по непонятным причинам с катера стрелять не стали, вернулись на дредноут, дредноут свернул на восток, полчаса спустя с востока, от Судака, прогремели залпы.

А за этим последовал приказ отступить на Симферополь, поскольку на побережье от Ялты до Керчи белые высадили десант. Отступая, столкнулись с конной группой численностью в 150 сабель, два пулемета.

Конную группу удачно смяли, залегли за отвесной скалой, стали ждать, когда появится эскадрон.

"...Впереди эскадрона вылетел рыжий конь.

Сверкнула шашка, и эскадрон лавой понесся по шоссе.

Ближе, ближе. Двести, сто пятьдесят шагов.

— Стрелки пачками, пулемет два круга, батарея три патрона, беглый... Огонь!

Беловатый туман шрапнели медленно расходился над пылью шоссе... Особый эскадрон... прекратил существование. Путь был свободен".

В юности читаешь, заглатывая страницы. Каким я себе представляла тогда Лавренева, автора «Марины», «Ветра», "Сорок первого"? Не помню. Но когда узнала, что он был комендантом Алушты, удивилась. Чему? Несоответствию между какой-то подчеркнута кабинетной внешностью писателя и его биографией? Несоответствию между громкой известностью писателя и моим маленьким, пыльным городом под черепичными крышами? Или удивило то, что я застала город в том же облики, в каком видел его писатель, и купальни еще стояли те же самые, куда он отправил пулеметчиков на случай высадки десанта?

Профессор Маркс

Имя Н. А. Маркса в Крыму вспоминают часто. Еще и потому, что многие считают его одним из прототипов профессора Горностаева из неумирающей пьесы Тренева "Любовь Яровая".

Начиная этот рассказ, надо сказать, однако, что Н. А. Маркс долгое время был не профессором, а генералом. Причем, что это был за генерал, говорит хотя бы выписка из "Послужного списка" четырнадцатого года:

"Генерал-лейтенант Маркс имеет ордена: Св. Владимира 3 степени, Св. Анны 2 и 3 степени и Св. Станислава 1, 2 и 3 степени... Персидский Льва и Солнца 2 степени со звездой и Бухарский — золотой звезды 2 степени".

Однако боевой генерал, 35 лет прослуживший в пехоте, начавший свой путь в армии унтер-офицером, Маркс в 1906 году под влиянием либеральных веяний службу свою оставил и поступил вольнослушателем в университет. И скоро благодаря настойчивости и исключительным своим дарованиям стал профессором археологии.

Таков первый резкий поворот судьбы этого удивительного человека. Второй случился в годы революции и гражданской войны в Крыму. Впрочем, поворот если и был резким, то не таким уж неожиданным. Ведь еще в четырнадцатом, снова попав в армию, Маркс сумел предотвратить ряд необоснованных арестов, еврейских погромов. А в мае семнадцатого года встречал в одесском порту прах мятежного лейтенанта Шмидта и возложил на гроб его венок: "Лейтенанту Шмидту, который погиб за свободу, и его сподвижникам". В девятнадцатом году, а с него начинается наш рассказ, генерал Маркс командовал не воинским подразделением, а Феодосийским отделом искусств, где служил вместе с революционно настроенным писателем Вересаевым...

Рядом с Феодосией в это время на Акмонайских позициях прочно удерживались белые. Но профессор белых не боялся, как не боялся он, впрочем, ничего на свете, кроме тьмы невежества. Ибо душа у Никандра Александровича Маркса была беспокойной душой просветителя. Просветительство, служба в советском

учреждении припомнились профессору, когда Феодосию заняла Добровольческая армия...

Поставили к стенке несколько рабочих за сочувствие большевикам, крестьян за то, что осмелились возделывать помещичьи земли, как свои собственные. Топтали по полу Феодосийского отдела искусств смешанные с брызгами стекла плакатики, брошюры, открыточки тех лет. Одна особенно почему-то раздражала. На ней были изображены детские, тесно сблизившиеся головки кружочками, надпись: "Мы требуем!"

— Господа, полюбуйтесь, какой разврат: уже и младенцы требуют!

— Чтоб мух, видите ли, не было требуют. Чтоб грудью их кормили... материнской! — расхохотался еще один из топтавших.

— По заказу генерала какого-то рисовалось.

— Как — генерала? Какого генерала?

Добровольческая армия пила, гуляла, расстреливала, наводила страх, загоняла обратно в подвалы, в глинобитные мазанки. Профессор Маркс, знавший, что ему не поздоровится, когда придут белые, тем не менее, не успел уйти в горы, как предлагали, или эвакуироваться: в Феодосию с большим опозданием привезли зарплату для учителей. Маркс же не счел возможным выехать из города, не раздав денег. Пока учителя получали зарплату, оказалось — путь отрезан. Маркс удалился в свои Отузы, но очень скоро, ночью, к нему ворвались, были грубы, однако, уходя, штабс-капитан сказал жене профессора:

— Мадам, можете не волноваться. Суд будет скор и справедлив. — В дверях офицер обернулся, длинно подмигнул светлым глазом. — Снимут с генерала порточки, всыпят шомполов по первое число, и никакой Руссо не поможет...

Профессора некоторое время продержали в Феодосии в одном из номеров «Астории», "Хотите — убейте, но бить себя не позволю!" — крикнул при допросе профессор озверевшему есаулу.

Потом Маркса повезли в Екатеринодар через Керчь, где в это время совершались массовые казни. Пьяные от безнаказанности деникинцы митинговали, призывая друг друга к твердости и впадая в истерику. По дороге два раза профессора выводили из теплушки на такие митинги. Оттесняя конвой, протискивались к профессору в плотную: "Что? Сам Маркс? Красный главнокомандующий? Зачем миндальничать, в расход пустить — будет урок публике, господа!"

Неизвестно, чем для Маркса кончилось бы все это, не кинься вслед за ним Максимилиан Волошин. Волошин старался смягчить обстановку, представляя Маркса не как генерала, а всего лишь как частное лицо — профессора в отставке. Чудом и стараниями Волошина генерал живой вернулся в Крым. Но в Отузах оставаться было опасно.

"А где тут живет Маркс? — спрашивали деникинцы местных жителей. — Как это никто не удосужился прекратить его позорное существование?"

Злоба накалялась, но, в конце концов, Марксу удалось уехать на Тамань, там он встретился с красными, получил от одного из кубанских отрядов полуфантастическое предложение командовать всеми

частями Красной Армии на Кавказе, добрался до Екатеринодара и здесь был выбран ректором Екатеринодарского университета.

К сожалению, здоровье его, подорванное арестом, ослабло, Маркс умер зимой следующего года. В памяти екатеринодарцев и вообще современников он остался как *красный профессор*.

Что же касается другого профессора — Горностаева, он похож на Никандра Александровича даже частностями своей судьбы. Правда, Горностаев менее активен.

И еще: читая воспоминания Вересаева, думаешь, что и внешность Горностаева (которого Швандя, ни много ни мало, путает с основоположником научного коммунизма) имеет прямое отношение к наружности Никандра Александровича с его "огромной головой и густыми спадающими волосами, как львиная грива". Однако фотографии говорят: нет, тип лица у него совсем другой. А львиная грива сильно преувеличена.

Что ж, львиная грива и огромная голова, и соответствующая борода были у другого интеллигента, тоже преданного идеям просветительства и знакомого Тренину, — у Максимилиана Александровича Волошина. И перекличка имен, наверное, как-то подсказана тем, что многие звали Максимилиана Волошина коротко — Макс.

Впрочем, решать вопрос о прототипах всегда сложно. Да и нужно ли? Важно, что были люди, та часть русской интеллигенции, которая отлично понимала, в каком долгу она перед всеми, кому застали свет.

О Папанине

Время покорения Северного полюса я помню хорошо. Особенно те дни, когда страна волновалась: успеют снять со льдины или не успеют? Не знаю, как взрослые, я в глубине души была твердо уверена — успеют. Но уверенность уверенностью, а все-таки несколько раз на день и даже ночью мы с бабушкой ходили в город слушать, что скажет раструб-тарелка, висевшая на столбе посреди базара. Называлась тарелка громкоговоритель, теперь это слово почти забыто.

У некоторых были свои «тарелки» дома. Но мы, присвечивая себе фонарем "летучая мышь", шли в центр с самой дальней окраины Алушты, с Поповки, которую еще не привыкли звать Ильичевкой.

Стояла дождливая, но теплая погода, фонарь выхватывал перевитые, стеклянно отсвечивающие струи воды, лужи под ногами отражали керосиновый красный огонь, тихо было, медленно текло время в Алуште.

В других городах оно наверняка текло не так, иначе никогда бы людям не добраться до Северного полюса. Я до боли в груди чувствовала бег этого времени и тосковала. Как я тосковала в маленькой, сонной Алуште, где хлюпали лужи, звенели козьи бубенцы, и ничего не могло случиться!

Когда папанинцев наконец сняли со льдины и привезли в Москву, в Алуште и Алуштинском районе тоже началась «эпидемия»: отряд имени Папанина, дружина имени Папанина, несколько колхозов имени Папанина! Тогда я не знала, что Иван Дмитриевич Папанин наш

земляк и не только земляк, но активный, смекалистый, удачливый борец за Советскую власть в Крыму.

Десант, высадившийся 17 августа 1920 года близ деревни Капсихор, был тот самый десант, которым командовал Мокроусов. Крым был битком набит отборными белогвардейскими войсками, а партизанские отряды, возникавшие то тут, то там на полуострове, были разрознены, не имели связи ни с Новороссийском, где укрепились наши, ни с Харьковом, где Фрунзе собирал силы в кулак, готовясь к штурму Перекопа.

Получив от партии задание, Алексей Мокроусов стал подбирать для десанта людей такой хватки и сметки, чтоб один мог заменить, по крайней мере, троих, когда придет время действовать. Конечно, еще лучше не троих — десятерых.

— А чего ж, — усмехнулся на его слова знакомый коренастый морячок с маленькими усиками и быстрым взглядом карих глаз. — Прямо скажу, браток: хочется погулять по крымской земле, закис я здесь без горячего.

Морячок был знакомый механик из Севастополя, рабочий морского завода Иван Папанин.

— Значит так: есть одна старая калоша — катер «Гаджибей», надо выбить у начальства еще чего-нибудь в том же роде, — перебил морячка Мокроусов, усмехаясь. — Ишь глаза разгорелись, что есть возможность идти к черту в зубы!

— Ну, кто у кого в зубах побывает, это бабка надвое сказала, — подмигнул Папанин товарищу.

Папанину, прежде всего, поручили отремонтировать две полуразвалившиеся посудины — катера «Витязь» и «Гаджибей». «Витязь» был столь плох, что до крымского

берега так и не добрался. А «Гаджибей», имея на борту одиннадцать человек, прошел от Анапы до побережья между Алуштой и нынешним Морским, которое тогда было маленькой глинобитной деревушкой.

Небольшое суденышко заливало водой, загорелся мотор водяной помпы. Мотор починили — подмокло магнето.

— Лезь вниз, щупай свечи, — крикнул Папанин помощнику, а сам схватился за рукоятку мотора, с бешеной силой вращая ее. — Есть искра? Нет? Не горюй, сейчас будет. Заставим явиться.

Папанин вращал рукоятку с таким остервенением, будто от этого зависела жизнь. Впрочем, она действительно от этого зависела.

— Есть? Не дрейфь — скажу прямо: сейчас будет!

Наконец мотор чихнул, затарахтел неуверенно. Перевели дыхание, стали всматриваться в незнакомый берег. Только Папанин сидел к нему спиной, утирая пот тыльной стороной ладони. Потом поднялся, стал рядом с Мокроусовым:

— Тут в белого полковника играть не придется. Вид у нас с тобой для полковников не подходящий...

Все они с ног до головы были перемазаны копотью, соляркой.

И тут я на минуту прерву рассказ, чтоб *картинка* уступила место цифрам. В то время, когда Мокроусов с Папаниным еле смогли раздобыть катер, в Крым прибывали десятки американских, английских, французских пароходов с оружием и боеприпасами. Так, пароход «Фараби» из Нью-Йорка привез 455 пулеметов,

2333 места с оружием. На одном из транспортов прибыло и дальнобойное орудие для перекопских укреплений. Врангель располагал той частью Черноморского флота, которая не была затоплена в Новороссийской бухте, то есть двумя линкорами, несколькими крейсерами и миноносцами. Союзный флот, шныряющий в Черном море, насчитывал 7 линкоров, 18 крейсеров, 42 эсминца и множество других судов.

И вот мимо всех этих щук августовской ночью двадцатого года прошел маленький катер и стал в виду недалекого берега. Было утро. Балочки, поросшие диким миндалем и терпентинником, поднимались от моря в горы, по ним и надо было идти.

— Ну, двинули, ребята.

— Подожди, со стариком попрощаемся...

Катер медленно, неохотно погружался в воду, его надо было потопить, чтоб не оставлять следов. Наконец, когда скрылись под водой палубные надстройки, погрузили на собственные спины ящики с патронами, пулеметы, диски к ним, ручные гранаты...

Встретившись с партизанскими разведчиками, пройдя добрую половину полуострова, попали в тавельские леса. Потом Иван Дмитриевич Папанин вместе с другими участниками десанта провел несколько боевых операций, а еще через некоторое время, имея важные сведения о противнике, направился к Фрунзе в Харьков.

Так как проскочить через перекопские укрепления не было никакой возможности, то решили отправить Ивана морем до Новороссийска.

— Рискнешь? — спросили его, потому что переправа предстояла совсем не простая, а сложная как головоломка.

— Рискну.

— И правильно. Лучше тебя, Ваня, этого никто не сделает.

Сам Папанин пишет в дальнейшем в своих воспоминаниях так:

"Написали донесение, зашифровали, достали аптекарские резинки, и я спрятал донесение на ноге, выше колена, прижал его резинкою. Но как добраться? Побережье охранялось усиленно. Один местный житель согласился переправить меня в Советскую Россию. Пошли лесом, и вышли в село Туак. Но там — облава, мы ущельем, в горы...

Контрабандисты приехали за продуктами. Они подкупили охрану. Чтоб продукты не достались белякам, жители за бесценок сбывали их контрабандистам, а те переправляли в Турцию.

Меня в Ускуте спрятали в курятник. Да куры чуть было не выдали. Потом в мешке, будто куль зерна, перенесли в фелюгу..."

Я начала рассказ о Папанине с описания времени своего детства вот еще почему. Недавно у своих друзей, на столе девочки-школьницы я видела портрет адмирала в парадном мундире и с двумя звездами Героя на груди. Мундир-то был парадный, тяжелый, шитый золотом, а знакомые глаза знакомо держали смешинку, не побежденную временем. Смотрели, как сорок лет назад по всех плакатов, фотографий, портретов.

— Откуда это у тебя? — спросила я, рассматривая надпись на обороте снимка: "Милой Олечке от старого десантника..." — Откуда ты знаешь Папанина?

Объяснилось все просто: крымское телевидение готовило передачу к юбилею, Оля с мамой-редактором полетели в Москву...

Господи, как изменилось время, ход его, бег! Телевидение — быт. Самолеты — тоже быт, станция СП-20, 21, 22 и так далее — быт... И только портрет у Оли на столе, только мои детские воспоминания — не быт, а что-то совсем другое. История? Романтика? Мгновенное касание, приобщение к подвигу?

Композитор и комиссар

Ясным осенним утром в дверь постучали двое в обтрепанных шинелях и с винтовками через плечо. Лица их были землисты и строги. Один сказал, окидывая взглядом кабинет:

— Сгодится. Будем комиссара нашего к вам поселять.

Второй добавил:

— И чтоб ласково с ним. Такого человека хорошего, может, за всю жизнь видеть не придется. — Красноармеец не уточнил, кому. Ему самому или композитору, о котором, впрочем, он не знал, что тот композитор. Да и вообще предполагал, очевидно, что музыка рождается сама по себе из звуков вечерней степи, когда на закате ведут коней к реке, или хотя бы из плеска волн, набегающих на берег вот тут у самого низенького серого дома, где он решил поселить своего комиссара. Решил побаловать покоем, хорошей

«буржуйской» обстановкой, среди которой диковинно блестел рояль и, потирая узкие руки, испуганно стоял невысокий, тщедушного сложения хозяин.

А комиссар от «обстановки» и от вторжения в чужой мир отказался. Еле уговорил хозяин комиссара, тронутый деликатностью, занять если не рабочий кабинет, то хотя бы комнату рядом с ним. И вечерами теперь они часто сидели у рояля, слушая друг друга.

Комиссар, Валентин Викентьевич Орловский, был молод, широкогруд, внимателен и завидно уверен в том, что говорит.

— Хлебом мы скоро всех накормим. — Слова его звучали несколько странно в разграбленном гражданской войной, сером и тихом от голода Судаче. — Хлебом скоро. Хлеба человек съест столько, сколько организм требует, не больше. А культура? Есть на культуру норма? Большевики, во всяком случае, устанавливать такую норму не собираются.

В ответ Александр Афанасьевич Спендиаров играл комиссару романс "К розе". Композитору казалось: романс этот своею жизнерадостностью и простотой звучания должен нравиться его слушателю, так решительно взявшемуся переустраивать мир, поворачивать его лицом к всеобщему счастью.

...В другие вечера композитор играл гостю солнечные, как летняя быстро бегущая речка, "Крымские этюды". В промерзшем флигеле, сложенном из дикого серого камня, скупое горело желтое пламя коптилок, тени летали по стенам, живыми вздохами дышало море.

Новый облик мира, обещанный комиссаром, был не ясен, но симпатичен Александру Афанасьевичу

Спендиарову. И Спендиаров всматривался в него с надеждой человека робкого, не привыкшего к житейским бурям, но больше всего на свете ценящего справедливость.

Причем нельзя сказать, чтоб только всматривался. Принимал посильное участие в перестройке мира, как он сам говорил, нес свой кирпич, чтоб положить в новые стены. Так, на одном из митингов исполнялись под его руководством и в его аранжировке революционные песни 1905 года. На демонстрации шагал он под красным знаменем, а дома уже не только музыкой — только что придуманными словами новой песни пытался выразить свое чувство общности с теми, кто борется за лучшее будущее.

Боролись, объявляя себя единственно непогрешимыми, многие партии: эсеры, октябристы, татарские буржуазные националисты. Даже анархистов заносило в Судак горячей, пестрой волной гражданской войны. Обстреливали Судак и те самые интервенты, от которых так счастливо отделался комендант Алушты Борис Лавренев.

А жизнь шла... Дети переписывали партии для судакского хора, приходила на репетиции батрачка Катя Середа, стояла у рояля, опустив загорелые, привыкшие к чугунам и ведрам руки, пела, выгибая нежную шею и не очень веря в свою новую судьбу, а скорее из сочувствия к барину, застрявшему вместе со своей музыкой в глухом углу... Пели дочери неокрепшими голосами арии из еще не вполне родившейся оперы «Алмаст», пели и ходили на окрестные холмы за травой для коровы — на нее была вся надежда в это голодное, зыбкое время. Она была бесспорной ценностью семьи, а музыка — неизвестно...

Между тем в это холодное и голодное время, сам не вполне сознавая величину и значение своего подвига, композитор на новую ступень поднимал армянскую музыкальную культуру.

Как странно, будто вся жизнь прошла всего лишь подготовкой к этим голодным, полусогретым жестяной печкой годам, когда опухали слободские дети, а от него самого несло невыносимым запахом дельфиньего мяса. Когда разваливалась обувь на дочерях, секлись от щелока серые простыни, когда скудость быта он оспаривал великолепием звуков возрожденной им, собранной по крупицам народной армянской музыки.

... И вот теперь у него в доме поселился большевистский комиссар, разговоры с ним шли не о том, как прожить будущую неделю, а о трагической судьбе армянского народа. Опера была тоже об этом, и, возможно, эпическую тему гражданской верности он выбрал и разработал именно под влиянием бурь, стучавшихся в окошко флигеля в Судаке, еще так недавно надежно огораживавшего своего хозяина от уличного шума.

У комиссара оказался к тому же великолепный молодой бас, и композитор решился попросить его разучить арию персидского хана. Комиссар пел старательно и не менее старательно вникал в рассказ о взаимоотношениях Армении с персами.

... Вот так странно порой рождается классика, достояние целого народа.

... Расходились по комнатам поздно, но сон был ломок, Спендиаров просыпался от первого удара синицы, выходил из дома посмотреть на розовый в лучах солнца Алчак, на очертания генуэзской крепости. И та армянская

крепость, которую в истории и в его опере обманом взяли персы, тоже была красива и легка. И тоже вознесена на скалу, только у подножия ее не билось море.

А может быть, музыка, даже классическая, действительно рождается сама по себе из ритма волн, из глухого бормотанья старого бубенчика на шее козы, из пения Кати Середы, повторяющей песни, которые пела ей мать?

О своих позднейших воспоминаниях генерал Валентин Викентьевич Орловский писал о композиторе: "Ему не нужно было как-то по-особенному болезненно вращаться в советскую действительность. Он был готов с первых же дней служить Революции".

Дед Оленчук

С детства знала я эту землю, хоть никогда до сих пор не видела ее: плоскую, изъеденную солью, ненадежную сушу Сивашей. Впрочем, такой я ее и сейчас не увидела: она ушла в прошлое, осталась только у края лиманов да еще в названии совхозов: "Штурм Перекопа", "Герои Сиваша". А сама стала до неправдоподобия другая, вся в могучей, рыжей и поваленной дождями гриве риса, от которого ждали чуть ли не мирового рекорда: что-то около шестидесяти центнеров с гектара. И все-таки не рис, его огромные горы на току, его граненое зерно — все-таки не это было самым неправдоподобным для той сивашской земли, какая оставалась с нами от уроков истории. Самым диковинным мне представились тридцать комбайнов, работающих одновременно и почти рядом на ее плоском, пыльном просторе. Во всяком случае, взобравшись в кабину

одного, можно было увидеть остальные, медленно наступающие на рисовые чеки...

А с теми Сивашами девятнадцатого года соединялось, прежде всего, приглушенное позвякивание уздечек, скрип мажар, легкое, живое всхрапывание коней по брюхо, как в воде, стоявших в густом осеннем тумане Гнилого моря. С теми Сивашами для меня соединялись два имени: Фрунзе — дальнее, громкое, и другое — Оленчук, тоже достаточно отдаленное от меня, но все же и свое, крымское. Если бы меня, малолетнюю, спросили: может ли в принципе так случиться, что я встречу с Оленчуком или хотя бы с той землей, на которой он вошел в историю, я, очевидно, ответила бы отрицательно. Плоскости жизни моей обыденной и той, о которой писали в учебниках, для меня не пересекались.

С тридцатых годов я помню: Перекоп, Сиваш, дед Оленчук. Хотя каким он был дедом в девятнадцатом, если в сорок первом ему шел всего шестидесятый? Крепкий тридцатидевятилетний мужик, которому чудом удалось избежать мобилизации во врангелевскую армию, и который больше всего боялся, чтоб не пропали его кони. У него была большая семья и кое-какой достаток, то есть хлеба не позычали, держались на своем от урожая к урожаю. Какой должна быть та хорошая жизнь, обещанная хлопцами из армии Фрунзе, он как следует не представлял, наверное. Но ведь и никто ее не представлял в нынешних подробностях. Однако было ясно о ней: панов не станет.

Дожидаясь этого, Оленчук предпочитал понапрасну из дому не выходить: сегодня на северном берегу Сиваша, в Строгановке, красные, а завтра, глядишь, опять барон ворвется, по шерсти не погладит. Но в один

прекрасный вечер Оленчук, сам того не ожидая, оказался в гуще событий и потом рассказывал в своих тоже уже давних, предвоенных воспоминаниях, как увидел: по деревенской, в замерзших колеях, улице идут двое, красноармеец и дежурный из ревкома, свой сельский. Только что Оленчук успел подумать: к кому? — слышит:

— Оленчук, в штаб вас там требуют.

Зачем его могут требовать в штаб, Оленчук не представлял. Наверное, опять отрядят с обозом, фураж доставлять или еще что. Оказалось, дело сложнее, надо армии показать брод через Сиваш.

Спрашивал о Сиваше сам Фрунзе. Вопросы были обычные: сухой сейчас Сиваш или мокрый? Можно ли обойти те участки его, которые никогда не высыхают, сколько верст надо идти вброд, как называются селения на том берегу?

Потом и Оленчук спросил:

— А почему я вести должен? Почему не другой? Семь душ у меня семья. Убьют, что с ними будет?

— Но вы лучше других, как говорят, знаете Сиваш, потому что занимались соляным промыслом...

— То верно...

А дома уже полно соседей, и все наперебой о том же, от чего у него самого сердце скребет:

— А як Врангель осилит, что тогда будет?

— Я уже слово дал самому товарищу Фрунзе. — Оленчук поскреб рукой под рубашкой на груди, как будто ему стало жарко, лоскотно от пота, как в косовицу. —

Убить вас, говорит, не убьют. Иван Иванович, а за республикой служба не пропадет.

— Деньгами дадут?

— Иван, коней проси.

Они даже на лавках задвигались, присунулись к нему поближе дать совет. Предлагали разное: "Проси, чтоб от налогов освободили". "Семья разута, мол, раздета, пусть хоть гимнастерки какие-нибудь подкинут. Или полушубок дадут. У них есть".

Оленчук в эти торги не встревал, сидел спокойный, уже как-то захватило его и настраивало на неторопливый важный лад то, что именно он оказался самым нужным для Фрунзе человеком в селе.

Потребовался Оленчук армии только 4 ноября, для разведки. А седьмого, обув постолы, взяв в руки чабанскую палку — герлыгу, пошел Оленчук проводником через Сиваш. Один раз провел части так благополучно, что сам удивился. Во второй — прожектор с того берега нащупал, ослепил идущих вброд. Храп испуганных коней и всхлипы оступившихся — все сливалось в один приглушенный, как бы тяжело ворочающийся над водой шум. Упал первый снаряд, второй, десятый, изменился ветер, стала прибывать вода.

— Не может того быть — дойдем!

— Братцы, по грудь уже!

— Высоко не поднимется, тут и станет, — кричал, успокаивая, Оленчук, и командиры передавали по цепи его приказ: правее берите...

Дошли. 8 ноября заняли позиции белых.

Но длинная работа была еще впереди.

Ветер гнал волны Сиваша на запад, уничтожая броды. Под руководством Оленчука по-быстрому, из разобранных заборов, сараев, даже снятых крыш строили дамбу, спасали брод. Все мужское население близлежащих деревень запрягало коней, торопилось на помощь: по броду должны были еще пройти подкрепления: не могли же две неполные дивизии выстоять против всей врангелевской армии.

Правда, насчет всей армии — это только так сказано: вся врангелевская армия тоже не могла сосредоточить свое внимание на красных войсках, переведенных на Литовский полуостров Оленчуком. Врангелевцы отбивали атаки на Чонгар и Перекоп...

Итак, Иван Иванович Оленчук сделал свое дело и вошел в историю в качестве деда Оленчука. Именно так его определяют авторы многочисленных исторических очерков. Но дедом он был не тогда, в 20-м, а когда во второй раз показывал нашей армии броды через Сиваш. В апреле 1944 года. И тогда же все газеты облетела фотография: смушковая шапка, характерное лицо старика-крестьянина, вытянувшего руку, очевидно, в сторону брода.

...Я и два художника сидели на заросшем солью, курчавом берегу Сиваша, смотрели вдаль, остывая от «молний» с их сенсационными цифрами, от уверенных, напористых голосов молодых директоров, просто от жары, по которой мотались за натурой. Художники перебирали листы: на одном — худое лицо с умными светлыми глазами — комбайнер Северин, на другом — лицо огромное, довольное жизнью, — комбайнер Калитка.

Комбайнер Калитка скорее похож на фигуру триумфальной арки по поводу нынешнего штурма перекопской земли, как величают в газетных статьях уборку урожая. Художники раскинули на лиловом солеросе листы, запечатлевшие мгновенную современность. Потом она станет тоже Историей, но сейчас нельзя догадаться, кого же из нарисованных или не нарисованных на этих листах История изберет в качестве символа. Так, как избрала когда-то Оленчука, рано окрестив его дедом.

А поскольку мы сидим на бережку того самого Литовского полуострова, куда Оленчук выводил когда-то наши войска, постольку разговоры невольно возвращаются к девятнадцатому и к сорок четвертому. "Как странно, — говорим мы, — соседи уговаривали его в обмен на риск просить только коней, обрел же он бессмертие. Как странно, — говорим мы еще, — а ведь фотограф, сделавший тот снимок Оленчука рядом с генерал-майором Дашевским, тихо живет в нашем городе. И когда видишь на улице Леонида Исааковича Яблонского, совсем не думаешь, что ему удалось не меньше не больше, — создать образ времени. Как странно..."

Так говорим мы, а с листов, разложенных на траве, смотрят на нас, улыбаясь, хмурясь, вытирая пот, наклоняясь над котелками и тарелками, обыкновенные парни, служащие Истории, но ни на минуту не подозревающие об этом.

Начало

Кто доблестен — дерзай.

*Бездействуют лишь слабые и
труссы.*

Еврипид

Начало

Может быть, самый большой смысл заключается в том, что отдан им был именно царский дворец. Не какой-нибудь другой, пусть тоже великолепный, а именно царский Ливадийский, новый, построенный для Романовых только что перед германской войной.

Открытие санатория объявлялось на 17 часов 28 июля 1925 года. Времени того я не видела, видеть не могла, и захотелось мне воссоздать некоторые подробности его, пользуясь исключительно газетным материалом. Итак, в областной газете "Красный Крым" за месяц еще до событий стали печататься объявления о санатории не как обычно, на четвертой полосе, а на третьей и даже первой в правом нижнем углу.

На четвертой же шло другое. Рекомендуют американскую косметику от веснушек, а также объявляется публичная распродажа имущества некоего Перцовского, в том числе: мерин десяти лет, линейка; зубной врач Бердичевский берется вставлять зубы на каучуке и из золота... Кинотеатр «Баян» крутит фильм «Аэлита». Но напрасно я ищу хоть малюсеньскую строчку о том, кто исполняет главные роли... Зато на второй полосе несколько раз встречаю стихи, подписанные знакомо: М. Поляновский...

Жужжит бормашина, жужжит проектор, показывая диковинные марсианские страсти, едут из дальних углов, из самой Сибири тоже, 270 крестьян в санаторий. Как они одеты, я не знаю. Позднее приходилось читать, что явились с котомками, некоторые в лаптях, другие — в валенках. Хотя в тот первый раз валенки вряд ли могли быть: ехали летом к лету. Но как бы то ни было, в санатории их наверняка переодели в южное, легкое, светлое. И обувь выдали подходящую. Кстати, все это время газеты печатали извещение: парусиновая обувь подешевела на 8 процентов.

А потом их стали лечить, кормили так, что уже через две недели пришлось перешивать пуговицы. Насчет того, как поправлялись отдыхающие в Ливадии, я ничего в архивных подшивках не читала. А вот о другом санатории, «Могаби», где отдыхает и ремонтирует здоровье 50 человек, было широко оповещено через газету: "Прибавляют в весе, *наживают* в среднем на 20–25 фунтов, даже был случай, что один грузчик за месяц отдыха нажил себе весу один (1) пуд 8 фунтов".

Нам сейчас, плутающим в дебрях многочисленных диет, этого не понять, а из них многие никогда досыта не ели, некоторые, чтоб поехать на курорт, продавали последние пожитки. Находились и такие, что специально для этой поездки сушили сухари, прихватили с собой и сала. Непонятно им было: государство обещает лечить, а кормить будут? Они ведь были крестьяне "исключительно от сохи", как сказал о них тогдашний нарком здравоохранения Семашко. Он заезжал в Ливадию, во время своего отпуска, который провел в Крыму, но, не отдыхая, а, навещая крымские здравницы, приглядываясь, как лечат, как кормят, выступая перед крымской общественностью и докладами, советуя занять

свободное время крестьян и рабочих политграмотой, присутствуя на вечерах смычки крестьян с красноармейцами и рабочими из других санаториев.

Существовало тогда такое слово «смычка», порядком сегодня забытое и означавшее в данном случае, что рассаживались они рядом в зале, какой у них был, или прямо в парке, выходили поочередно на сцену, кто плясать «гопака», кто с гармошкой или балалайкой. И были еще тогда «раешники» — искусство тоже подзабытое, оттесненное другими эстрадными жанрами, о котором напомнила мне старая газета...

Так вот, выходили веселый парень в рубашке на многих блестящих пуговичках, и начинал прямо тут же *складывать*:

Слушайте, рабочие, слушайте, крестьяне,
Кто из вас думал — полагал заранее,
Что будет сживать в царских хоромах,
На смычку приглашать обоюдно
знакомых...

Охают, крутят головами от восторга. А парень дальше сыплет, расписывает и тех, кто не знал, с какого боку подойти к новым никелированным кроватям, и тех, кто боялся рентгена, и тех, кто... Впрочем то, о чем говорил раешник, можно только приблизительно представить, читая другие, приведенные в газете «райки» тех лет. А вот речи серьезных ораторов этого дня — передо мной.

Кроме наркома здравоохранения Семашко, на открытии присутствовал председатель Совнаркома

Украины В. Я. Чубарь, поэт Демьян Бедный. Каждый из них, выступая, говорил о крестьянском санатории, как о чуде — и это было естественно. Но скажу откровенно, читая газетные отчеты, я была тронута не их речами, а выступлениями самих крестьян. Каждое из них начиналось или заканчивалось словами: "Если бы Ильич видел!". Это было такое еще недавнее время: жизнь Ильича, ходки к нему, разговоры с ним глаза в глаза — близко, за одним столом; потом смерть, горе, тоска: "Что же с нами будет?" И вот теперь этот санаторий, удивительнее всего, что они могли представить.

— Если бы Ильич приехал, глянул...

— Ну, что я могу сказать, когда душа полна. Словами не опишешь...

— Очень мы Советской власти благодарствуем.

Так говорили они с одного из балконов, как с трибуны. Дворец был украшен гирляндами зелени; Ленин с большого портрета тоже смотрел на собравшихся на площади и как бы присутствовал среди них, одетых в белое, праздничное, накрахмаленное по моде того времени.

Областные газеты тогда были бедны технически, фотографий мы в них не встретим. Однако митинг фотографировали, и теперь этот снимок во всех нынешних путеводителях по Ливадии: видны простоволосые головы, с косами, уложенными в пучок на затылке, юбки, широко и длинно спускающиеся к щиколоткам, белые рубахи и брюхи мужчин, виден портрет Ильича и гирлянды зелени...

Я увидела первый санаторий, и это был Кучук-Ламбат, совсем маленькой девочкой в 1932 году.

Помню ощущение: человек приезжает сюда, прежде всего, не на лечение, а на праздник, помню обилие тех самых белых костюмов из рогожки и рубашек из ныне забытой материи «зефир». Помню «ликбез» в одной из комнат Гагаринского дворца, буквари на простых столах и «линейные» лампы керосиновые, с пузатыми медными резервуарами, влажно и чуть жирно отливающие сразу после заправки.

Помню те самые парусиновые туфли: летом их чистили зубным порошком, притопом отряхивая избытки мела, а зимой закрашивали сложной смесью: молоко, сажа, сахар, чтоб блестело. Помню: на Первое мая и детей и взрослых катали на грузовиках — это было наслаждение и вместе гордость. Мотор служил нам, мотор позволял окинуть наши владения.

А закончить этот рассказ о *начале* я хочу, вернувшись к тем самым объявлениям на четвертой странице газеты "Красный Крым". Роль Ихощки в фильме «Аэлита» играла А. Ф. Перегонец, хорошенькая, еще молодая женщина, которая потом станет известной симферопольской подпольщицей. Племянника дантиста Бердичевского, доброго, хорошего человека, расстреляют немцы где-то под Алуштой; бывший веселый сатирик Макс Поляновский напишет свою главную книгу о пионере-партизане Володе Дубинине, в 1925 году еще не рожденном мальчике, герое Керчи, а что касается Ливадийского большого белого дворца, так это именно в нем зимой 1945 года состоится известная Ялтинская конференция.

Буденовка

Старик был слаб и почти целый день лежал, прикрыв глаза, а перед ним проносились кони. Кони деда казака, которых он гнал в ночное. Кони японской войны, кони германской войны, кони революции. И он был всадником на каждом из них...

Жизнь его текла так долго, что, пожалуй, если разделить, и в самом деле, хватило бы и на юного трубача с тонкими, прижатыми к металлу губами, и на другого паренька со знаменем в одной руке и саблей в другой. И на третьего, под которым все-таки упала белая лошадь у самого края злой, как свинец, воды...

Вот уже два года, все время оккупации, он не вставал и не выходил из дому, и реальная жизнь за окном квартиры как бы отступила перед другой. В той, другой жизни ему слышался ливень конницы по мягкой степной земле, до него явственно долетал сырой, парусиновый всплеск ветра. Он видел отражение бледной зари в мелко рябившем заливе, мыльную кромку соли, зеленые пятна отросшей за осень травы.

Тогда старик замирал, вспоминая подробности. Впрочем, воспоминаниями это назвать было, пожалуй, нельзя, потому что он перебирал подробности не своей жизни, а жизни тех, кого любил рисовать последние двадцать лет. Когда-то в знак уважения и признательности они подарили художнику шинель и матерчатый шлем со звездой, и получилось так, что по фотографии, где он снят в этом одеянии, многие считали: художник сам участвовал в боях за освобождение Крыма от врангелевцев, в ту, гражданскую.

...Между тем осенью 1920 года он жил в Евпатории тихой жизнью гостя на даче у своих друзей. Посещал грязелечебницу, рисовал южные дворики, наверное, скучал по Петрограду, всегда полному событий, где его, между прочим, после революции снова выбрали в академический совет...

И вот произошла встреча. Сначала он услышал столь сладкие его сердцу звуки: цокот копыт, металлическое, дальнее позвякивание сбруи, нечеткое, но явственное ощущение большого, приближающегося в глинобитной тесноте улочки движения. Впереди ехали трубач и знаменосец, кони были невзрачны и утомлены походом. Но еще не эта встреча решительно повернула сердце старого художника. Через несколько дней в дом, где он жил, постучались бойцы 30-й латышской стрелковой дивизии:

— Старик какой-то здесь, говорят, рисовать умеет? Нам бы вот это на знамя переснять. — И протянули корявый, наивный рисунок.

— А если лучше что-нибудь сумею?

— Старайся, папаша, в долгу Рабоче-крестьянская не останется.

...Они кормили его кулешом из походных кухонь, приносили куски сала и горячо дышали, топчась, вытягивая шеи, когда он выносил из задней комнаты очередной заказ. После того первого знамени, на котором он изобразил Ленина и золотыми, полыхающими буквами рассыпал девиз, отбою не было. Каждое подразделение дивизии хотело иметь что-то от цикавого старика, о котором они точно знали: "Все может". Расставаясь, именно они и подарили ему ту буденовку, в которой он был неотличим от старого крестьянина,

однажды оторвавшегося от рукояток плуга для того, чтоб завоевать Советскую власть. Между тем Николай Семенович Самокиш, академик батальной живописи, заслуженный деятель искусств, профессор, *лично не участвовал*. Но, можно сказать, что с его картины "Защита красного знамени", которую он подарил тридцатой стрелковой, началась советская батальная живопись. И началась новая полоса в творчестве художника, который говорил так: "Пускай мои картины будут висеть в казармах, рабочих клубах, школах — и для этого стоило жить".

С 1921 года и до самой смерти он жил в Симферополе, на улице Кооперативной, которая теперь носит его имя. Здесь организовал студию, здесь создал свои батальные полотна, по которым люди моего поколения, собственно, чаще всего и воспринимали события гражданской в Крыму. Люди моего поколения также помнят, наверное, большие разговоры в середине тридцатых о том, что будут строить панораму "Штурм Перекопа", на манер панорамы Рубо, только, может быть, еще грандиознее...

Одни при этом утверждали, что Самокиш взялся написать огромное полотно сам, другие говорили о коллективе во главе с московским художником М. Б. Грековым и тоже были правы.

Панорама так и не была создана. Но в 1935 году Самокиш написал свою лучшую батальную картину "Переход Красной Армии через Сиваш". Картина была реалистична, впечатляюща и так далее... Однако заключалось в ней нечто большее, чем просто сумма этих качеств. И тут опять всплыла легенда о бойце Красной

Армии Самокише: "Еще бы, так все изобразить до точности мог только, кто сам видел!"

Художнику уже было тогда семьдесят пять, но планы теснились в душе, и иногда всерьез казалось: именно ему одному поручено прославить всех конников, начиная от казаков Богуна и Кривоноса, до буденовских бойцов. Силы убывали, но еще летом сорок первого он успел нарисовать плакат: казак рубит удирающего пешего фрица. Что ж, это следовало принять за символ. Но можно было и усмехнуться: далек художник от представления о современном техническом вооружении армии.

...Эвакуироваться он не смог по болезни, оккупация сломила его сразу. Он лежал на узкой железной койке, просовывал руку под подушку, нащупывал там острый и шершавый матерчатый шлем со звездой — буденовку, затихал успокоенный.

До освобождения Крыма от оккупантов он не дожил четырех месяцев, умер в возрасте восьмидесяти четырех лет.

В Симферополе сразу же после освобождения, 3 мая, на областной художественной выставке демонстрировались главным образом его полотна: тачанки, рыжие, всхрапывающие кони, розовая вода Сиваша.

Среди посетителей больше всего было военных...

Начало Планерского

Планерское названо Планерским не зря. Теперь, когда создан на здешней турбазе музей истории

планеризма, каждый может увидеть, какую роль сыграло село это в развитии планерного спорта.

А как все начиналось?

По преданию так: однажды известный летчик Константин Константинович Арцеулов прогуливался по окрестным холмам. Речь между ним и его спутником, старожилом Коктебеля, зашла вдруг о предстоящих соревнованиях планеристов в Германии.

— Но у нас есть места не хуже. Посмотрите, какие сильные, какие протяжные токи идут от земли, — сказал будто бы спутник Арцеулову. — Дайте-ка шляпу...

Арцеулов протянул шляпу. Спутник его повел шляпой в воздухе, потом размахнулся, подбросил ее. Шляпа, не теряя высоты, долго парила, как птица...

Возможно, были сказаны другие слова, вместо шляпы фигурировало что-то иное. И даже, возможно, не Арцеулову сказал о токах воздуха какой-нибудь старожил, а он сам объяснил кому надо: вон как тянет, вон какой силы струя поднимается от разогретой за день земли. Арцеулов был в Коктебеле свой, плоть от плоти этих рыжих, выветренных холмов, этих замерших в истоме заливов.

С раннего детства он любил лежать на земле, закинув руки за голову, глядя в небо, где парил прилетевший с Кара-Дага орел. Мальчик завидовал птице так остро, что вспоминал об этом и в поздней старости. Завидовал и пытался представить, что открывается взору с той недостижимой высоты. Интересно, с каким ветром борется орел? Интересно, о чем трубит тот, который сгоняет в стадо круглые облака? Много интересного заполняло свет, но мальчик родился внуком

Айвазовского, имел способности к рисованию, и судьба его оказалась predetermined. Дед отправил Костю в Петербург, где предстояло учиться живописи. Учителями Арцеулова стали Петров-Водкин и Юон. Рисовать, пытаться перенести на бумагу или полотно шум моря, бег коня, улыбку человека тоже было интересно. Но век заболел авиацией, век карабкался в небо на неуклюжих этажерках первых самолетов, век оглядывал землю с орлиной высоты.

И Арцеулов не мог устоять. Наверное, все-таки не столько давняя зависть к парящей птице, сколько азартность натуры толкнули его в летное училище. К 1916 году, к третьему году германской войны, прапорщик Арцеулов, имеющий летное свидетельство за номером 45, совершил уже 200 боевых вылетов, участвовал во многих боях, одержал 18 побед в них и был награжден пятью высшими военными орденами.

...Коктебель, земля детства, лежала где-то далеко, вне пределов досягаемости. Он любил те края по-прежнему, но они не были связаны с его делом, как вдруг — случайное открытие: шляпа, сброшенная с края длинной плоской горы, парит над равниной, опускается и снова, набрав высоту, исчезает за ближайшим перевалом.

С 1923 года и по 1935 в Коктебеле стали регулярно проводить состязания планеристов. Первый большой съезд был в 25-м, участвовало 50 планеристов. Эти планеры, строили многие из тех, чьи имена потом вошли в историю авиации: Сергей Королев, Сергей Люшин, Сергей Ильюшин, Саша Яковлев... Строили и приезжали в Коктебель их испытывать.

Арцеулов тоже участвовал в соревнованиях, сдержанно-счастливый, тонко, как было ему свойственно, остривший, улыбающийся, ходил по ожившему Коктебелю, рассказывал о шляпе, о раскопках древних городов-государств, о Гомере, было в его манере что-то от радушного хозяина: я накрыл стол. «Стол» в данном случае можно было считать Узун-Сырт (после 24 года в память разбившегося планериста гора эта стала носить имя Клементьева).

В музее планеризма при местной турбазе висят фотографии тех лет: планеры жердочками, кое на ком из механиков мешковатая красноармейская форма с «разговорами», матерчатыми петлицами во всю грудь. Испытатели, кто в шлемах, кто в емких кепи, из-под которых лица с худыми щеками, — парни. Впрочем, Арцеулов выделяется среди них не только заметным старшинством, но и точным английским пробором, пристрастием к стоячим воротничкам.

И в жизни будничной, в иной обстановке Арцеулов меньше походил на летчика-практика, больше — на человека искусства, художника. Что ж, художником он оставался всегда. В молодости, случилось, рисовал для первой книги крымских легенд, собранных профессором Марксом. Потом пошли иллюстрации совсем другие: ему нравилось делать книги о пилотах, о смелости, о дальних странах и об открытиях... Лучший портрет Чкалова, тот, хрестоматийный, по которому мы все узнаем великого испытателя, тоже сделан Арцеуловым.

...Не так давно, каких-нибудь 10–12 лет назад, Планерское снова стало местом сбора людей, поднимающихся в небо на крыльях без мотора. А потом,

еще через время, Арцеулов был приглашен планеристами и приехал к ним совсем уже старым человеком.

На горе Клементьева стоял памятник разбившемуся планеристу, он потрогал рукой шершавый бетон, посмотрел, как лихо трехосные грузовики берут подъем. Все было непохожим, и даже вечные эти холмы в натужных складках точно по одну сторону Сырта желтели все так же безжизненно. В других местах на них виднелись квадраты виноградников, село в горах, которое он отлично помнил голым хутором, было в садах, и сам Коктебель стал большим, зеленым...

Если бы его спросили, он бы сказал, что не хотел другого имени Коктебелю. Но его не спросили, и получилось так, что он имеет самое прямое, хоть и невольное отношение к тому, что село стало Планерским. Спортивные ребята показывали ему растянутые тросиками, трепещущие машины, относились почтительно.

Весь день он слышал вокруг себя: "Вместе с Королевым, внук Айвазовского, пять орденов за германскую", и это было приятно. Но, забывшись, старый человек начинал взглядом перебирать лица, как будто надеялся увидеть Ильюшина или Яковлева или смеющегося широкоскулого Сережу Королева.

Когда спускались с горы, большая отара перегородила дорогу. Блеянье висело над ней, смешиваясь с пылью, с запахом одного, мощно колышущегося руна. И, втягивая этот знакомый с детства запах, он вдруг вспомнил мальчика на холме, жадно хотевшего узнать, о чем трубит ветер, сгоняя в стадо круглые облака...

Рассказ о моем отце

И тут мне страшно, до слез сильно захотелось, чтоб в эту книгу вошла моя судьба. Не только мои наблюдения, моя точка зрения на события, но и просто какой-то кусок моей жизни, ведь в начале тридцатых годов я уже существовала, жила, понимала что-то. Но когда я задумалась, о чем же написать, то поняла: нет, моей жизни еще не было. Была жизнь моего отца, или, лучше сказать, поколения, родившегося на рубеже веков.

"Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это..." Я услышала эту песню впервые или, по крайней мере, впервые поняла ее, когда мне было лет пять или шесть. Мы тогда жили в табаксовхозе, там, где теперь расположился пионерский лагерь «Орленок», это сразу за Рабочим уголком, возле Алушты. Отец мой был директором совхоза.

"Смело мы в бой пойдем за власть Советов", — отец пел, сидя перед печкой-буржуйкой, пел, думая, что его никто не слышит, но его слушала я, и сердце мое замирало от любви и восторга, которые относились как бы не столько к моему отцу, сколько к человеку, делавшему революцию...

Я рано услышала эти слова: революция, подполье, «Искра», ревком. Потом заговорили о фашизме. Мой отец только недавно вернулся из длительной командировки в Гамбург и был, так сказать, очевидцем того, как фашисты пришли к власти. Поэтому наши соседи все старались узнать у мамы, будет или не будет война.

Часто отец задерживался на работе, а мы приходили к соседям в гости, и глава семейства неторопливо беседовал с мамой, мы слушали тихо и с

испугом, как будто это могло нас, детей, тоже непосредственно касаться: Берлин, путч, рейхстаг, коричневые рубашки, Гитлер...

Через десять лет это коснулось нас куда как непосредственно, и двое из мальчишек, вместе со мной подбрасывавших хворост в печку с жестяной трубой, коленом выведенной в окно, погибли на войне. Но тогда война только маячила издали, набираясь сил, еще не показываясь открыто на люди. Для меня разговоры о войне как-то слились с тем тревожным жестом, каким мать моих друзей подгребала их всех пятерых ближе к себе, а младшего прикрывала фартуком, как будто это могло чему-нибудь помочь...

Я смотрела с презрением на круглые, бритые макушки мальчишек и войны не боялась. Не боялась хотя бы потому, что отец не выказывал страха перед ней. Отца я вообще помню не разговаривающим, а скачущим на рыжем коне. У самого крыльца он поднимает коня на дыбы и кричит: "Скажи маме — я на второе отделение! Там плотину прорвало!"

Солнечное пятно полыхает на лаковом боку жеребца. Мне страшно, гордо и легко оттого, что отец, оказывается, умеет ездить верхом, а не только сидеть у себя в конторе. Жеребец заваливается назад, став на дыбы, скребет копытами воздух. Я оглядываюсь на друзей, видят ли они, что на отце совсем не косоворотка под пиджаком, а гимнастерка и шашка сбоку?

Но мои друзья ничего не видят. Сосредоточенно передавая его друг другу, они по очереди откусывают от одного большого куска хлеба, густо посыпанного сахаром.

— Ты, почему не идешь к маме? — спрашивает, наконец, младший.

— Иди, иди. — Они охотно расстаются со мной. А я не тороплюсь. После того, как я вслух скажу маме, что отец отправился на второе отделение, нельзя будет даже перед самой собой делать вид, что он ускакал на войну. А так, прислушиваясь к дальнему, льющемуся, как вода, цокоту, я имею возможность представлять какую угодно опасность, навстречу которой на своем коне спешит отец.

Мальчишки уже съели хлеб, но в глазах их еще поблескивают огоньки пережитого удовольствия или предчувствия, что сегодня им еще не раз перепадет счастье, в особенности, если они сейчас же пошлют меня за горбушкой, натертой чесноком.

— Иди, — говорит самый младший. — Иди к маме, пусть даст хлеб.

Старший ничего не говорит, но все равно я презираю и его за то, что он стоит здесь во дворе старого, небольшого бывшего барского дома, где теперь живем все мы, и не слышит дальнего цокота копыт, напоминающего об опасности. А у меня в ушах, кроме этого цокота, начинало звучать не совсем понятное, но частое слово тех времен: *вредитель*. И в нашем доме повторяли: "обнаружено вредительство", "он поступил, как вредитель", "вредители хотели". Так вот не вредители ли помогли воде прорвать плотину? Ведь тогда пропадает не что-нибудь, не какая-нибудь картошка, а табак, за который дают золото, а на золото покупают станки.

— Мама! Вредители на втором отделении плотину прорвали! — Я ворвалась в комнату, как будто с радостным известием. — Папа туда поскакал на коне!

Через минуту по всем закоулкам нашего дома, где жило еще пять семей, металась, выплескиваясь по двор к соседям, одна только фраза: "Табаки спасти!" Потом все утихло, почему и как, не помню. Женщины, остановленные уже на бегу, снова повязывали фартуки, смотрели по сторонам рассеянно, пытаюсь отыскать среди тихих домашних вещей — посудных полотенец, ламповых стекол, керосинок — причину недавней тревоги...

И в следующий раз я опять помню отца на Рыжем. Соскочив с коня, он идет в дом, где сразу же начинается разговор, который не то радует, не то смешит, не то тревожит, и эта тревога не вполне дается моему пониманию: к нам посмотреть на наши табаки едут иностранцы.

Было голодное, бедное время, шел тридцать первый год. Бедна была еще вся страна. И вот не посмеяться ли над нашей бедностью едут эти иностранцы? Не поглядеть ли на нас свысока? Как их принимать? Чем угощать?

— Будем кормить дорогих гостей шашлыком из личного барашка нашего товарища директора... — подмигивает маме сосед.

— Бог с вами — какого барашка?

— Ну, скажем так: сто тридцать первого, а? Сто тридцать останется, тоже хорошая цифра, хватит — семья небольшая, одна дочка.

И так как мама оглядывается в недоумении, сосед наш продолжает в том же духе:

— Должно быть у директора стадо? Э, как ты считаешь, меня не интересует. Как они считают — интересует.

— Может быть, должно.

— Организуем стадо, режем сто тридцать первого, хромого! Или ты для дорогих гостей скажешь — не хромого? Хорошо, режем вон того, черного, веселого.

Отец в разговоре об этом выдуманном — как сейчас бы сказали, для престижности — стаде участия не принимает. А мне досадно, почему он недоволен: так хорошо было бы посмеяться всем вместе.

Не знаю, где раздобыли того единственного барана. Не знаю, какой шашлык из него получился. Но долго по совхозу ходила шутка — когда совсем нечего было готовить в совхозной столовой, кто-нибудь начинал: надо зарезать сто тридцатого барана из личного стада директора. Сто двадцать девять тоже хорошая цифра, а?

Отец не любил вспоминать приезд иностранцев, хотя, кроме табачных плантаций, в совхозе нашлось еще, что им показать. Например, классы ликбеза, в которых, кроме черных досок и столов, были даже микроскопы, глобусы, на которых изображена вся земля...

Что такое *вся земля*, я еще не знала. Наверное, она другая, чем черствые суглинки совхоза, нарезанные бороздками под табак, о котором все четыре времени года слышала я разговоры: не побьют ли рассаду заморозки, не съест ли лист жара. Сама география совхоза тоже была связана с табаком: можно пойти *на рассадное, на сараи*. Даже мое собственное прозвище Сурук имело прямое отношение к табаку. Сурук — это длинный шест, к нему привязывают шнуры с

нанизанными на них листьями и уже так выносят их на просушку. Воздух возле пахнет медом и грубо першит горло.

Все события, случившиеся в совхозе, были связаны с табаком, и хочу рассказать еще о том, как горели ферментационные подвалы.

Начался пожар незаметно, и тоненькая, как от папиросы, струйка дыма пробилась, наконец, в щель пола конторы, которая стояла на подвалах. Это была контора отделения, отец с утра задержался там, мы с мамой пошли к нему, и вдруг — пожар!

С виду страшного на пожаре ничего не было. Из ворот подвала несло нестерпимо едким, и запыхавшиеся мужчины выносили тяжелые кипы табачных листьев. Глаза у мужчин слезились, дышали они тяжело, их обливали водой. Я помню отца, когда он, подняв ведро к лицу, пил громкими глотками, и вода лилась ему на грудь. В воздухе висело ощущение беды гораздо большей, чем потеря урожая: могла сгореть валюта! Та самая, на какую надеялась страна...

На этот раз слово *вредители* сказали взрослые. К сожалению, оно не было позднейшим беллетристическим домыслом. Вредители существовали на самом деле. Кажется, так и не удалось найти тех, кто поджег табак, облив его керосином из фонаря "летучая мышь".

...Мама потом говорила, что отец простудился на пожаре, и к нему вернулась старая болезнь — чахотка. От нее он и умер, проболев что-то около двух лет. Чахотку, надо сказать, отец нажил в подполье, он был профессиональным революционером, членом партии с дореволюционным стажем, как раз тем, о ком сейчас,

если они доживают до наших дней, говорят: старый большевик.

...Гроб отца был накрыт красным знаменем совхоза. Линейка, в которую впрягли и того рыжего конька, отвезла его на алуштинское кладбище, на гору, с которой далеко видно.

А потом к нам в дом пришли два молчаливых человека и взяли револьвер из отцовского стола. Но прежде, чем унести револьвер, они отвинтили от него тяжелые серебряные пластинки, на которых было написано, за что отцу дали именно оружие. Кроме этих пластинок и рубашек, которые еще долго перешивали мне на пионерские блузки, в память об отце остался песенник, где на желтой бумаге были напечатаны «Интернационал», "Молодая гвардия", "Марш Буденного". А той, в которой говорилось: "и как один умрем", почему-то не было.

Во время войны могила отца на алуштинском перерытом кладбище затерялась, и теперь я только приблизительно знаю, где похоронен очень молодой, тридцати четырех лет от роду человек, бывший моим отцом, и не простудившийся на пожаре, а сгоревший на ветру времени, да простят мне торжественность этого выражения.

Планер "Коктебель"

Из Феодосии по судакской дороге в сторону невысоких гор двигались мажары с диковинным грузом: какие-то плоскости, обтянутые слабо блестящей материей. В плоскостях легко отгадывались крылья. Сквозь редкие прутья боковин можно было также

рассмотреть сигарообразные тела, тупые рыла фюзеляжей.

За мажарами бежали феодосийские мальчишки, слегка, ладошками, дотрагиваясь до таинственной поклажи, которая, впрочем, не была для них таинственна.

— Дяденька, а когда начнется?

— Дяденька, а, сколько в этом году привезли?

— На Узун-Сырт, дяденька? Нас возьмите!

На Узун-Сырте ветер парусил палатки, собранные планеры стояли на растяжке, грозясь сорваться и улететь, не дождавшись начала соревнования. Пахло полынью, сухой белой землей.

Первый сконструированный Сергеем Павловичем Королевым летательный аппарат был планер. Это потом пошли самолеты, ракеты, спутники. А первым его летательным аппаратом, рожденным в 1920 году, когда конструктору шел двадцать третий, был все-таки планер и назывался — "Коктебель".

После испытаний, которые планер «Коктебель» выдержал на горе Узун-Сырт, прошло много лет. В нашем представлении жизнь Сергея Павловича Королева прочно связывается, во-первых, со столицей, во-вторых, с четким и жестким металлом, доносящим человека до космических высот. Коктебель — будто бы незначительная страница из жизни главного Конструктора.

Однако может ли быть незначительной страница первых испытаний ума, знаний, умений и, наконец,

простой человеческой смелости? Страница, на которой самому себе задал вопрос: а что я могу?

Прочтем письмо Королева тех лет, чтоб наглядней представить эту страницу. Пишет Королев матери:

"Первые два дня проходят в суете с утра и до полной темноты, в которой наш пыхтящий грузовичок «АМО» отвозит нас с Узун-Сырты в Коктебель... У палаток вырастают машины. Нас пять человек в шлемах и кожаных пальто, стоящих маленькой обособленной группкой. А кругом все окружают нас словно кольцом. Нас и нашу красную машину, на которой мы должны вылететь первый раз...

...Каждый год перед первым полетом меня охватывает странное волнение, и хотя я не суеверен, но именно этот полет приобретает какое-то особое значение.

Далеко внизу черными точечками виднеется старт и нелепые вскученности гор ходят вперемежку с квадратиками пашен. Хорошо! Изумительно хорошо! У палатки собрана большая, красная с синим машина. Кругом копошатся люди, и мне самому как-то странно, что именно я ее конструктор и все, и все в ней, до последнего болтика, все мною продумано, взято из ничего — из куска расчерченной белой бумаги...

А вечером... Коктебель. Шумный ужин, и, если все (вернее, наша группа) не устали, мы идем на дачу Павловых танцевать, слушать музыку. Эта дача — оазис, где можно отдохнуть за год и набраться сил для будущего. Впрочем, когда наступили лунные ночи, усидеть в комнате очень трудно, даже под музыку. Лучше

идти на море и, взобравшись на острые камни, слушать рокот моря".

...Я приехала в поселок в первый раз, когда он официально давно уже звался Планерским. Однако старые почитатели величали его по-прежнему Коктебелем — страной у Синих гор. Мы жили в этой стране и по ее законам на берегу, под холмом могилы Юнге.

В те времена, в начале шестидесятых, существовал еще, каждое лето неотвратно возникая, этот дикий лагерь, хлопающий на ветру выгоревшей парусиной, отправляющийся с канистрами за водой "в цивилизацию", жгущий цыганские костры или употребляющий форсунки и презирующий тех, кто появлялся в Планерском, вооружившись путевками.

В лагере жили люди всех лет, и самой младшей среди нас была семиклассница Ленка Васильева, дитя века с прямыми, посеченными солнцем волосами и облупленным носом. А старшим — ее отец, тоже конструктор, но не воздушных, а обычных, торговых кораблей.

Вечерами мы сидели над скудным огнем, замороженные его живой пляской, а над нами куполом выгибалась вселенная. Звезды медленно меняли свои места, поворачиваясь к полночи, и от этого было такое же ощущение, как от картин Волошина. Оказывалось возможным сопоставить себя и мироздание — занятие, которым в дневной суতোлке не станешь заниматься.

В тот вечер чайник начинал уже посапывать над костерком, и уже замолкла, ушла на цыпочках в библейскую долину песня о вороном коньке и о верности рабочему делу. Еще несколько минут, и, попив чаю, мы

уляжемся спать, так же, как весь лагерь, ввинчиваясь в спальные мешки, натягивая на себя старые свитера, шерстяные носки, тренировочные костюмы. От моря, из степи тянуло сквознячком, и даже в темноте если не виделось, то угадывалось, как гнутся под его неласковым дыханием травы.

Старик Васильев снял чайник с треноги, нагнул его над первой протянутой кружкой, да так и замер:

— Спутник!

Одна звезда плыла меж другими, поднимаясь от моря все выше к горизонту.

— Спутник!

Через секунду на нее вместе с нами смотрел весь лагерь. И через секунду он уже был на несколько минут единым организмом, выдыхавшим согласно: "Где?", "Смотрите, вон, чуть выше", "Неужели спутник?" — и многое другое, столь же запыхавшееся.

Интересно, был ли среди нас в тот момент хоть один человек, который бы знал, кто скрывался за многозначительным обозначением главный конструктор? Знал ли кто, что в жизни Главного Конструктора тоже были вот этот ветер, пригибающий травы, вот этот ровный срез горы, это море и эти запахи стремительно остывающей земли? Что одну из страниц его жизни занимал Коктебель, а не только маленькая точка, плывущая меж звезд и похожая на звезду?

Доктор Изергин

Доктор увидел Игоря у самой воды и подумал, что мальчик прощается с морем. Что скорый отъезд не только радует, но и печалит его. Стояло утро, минут пять

еще оставалось до горна, до линейки, которая от всех других линеек пионерского побережья, да что там — всего Советского Союза! — отличалась особым звучанием слов: больных нет, настроение хорошее.

И еще доктор Изергин подумал о щедрости природы, как всегда думал, оглядывая в свободные минуты и близкую стену светло-серых гор, и симеизские причудливые скалы, и синюю даль. Собственно говоря, четверти этого хватило бы, чтоб составить красивейший уголок на земле, но природа удержу не знает. И в данном случае выглядит почти одушевленной, почти понимающей, какое благодеяние совершает...

Доктор так и не окликнул мальчика, прощавшегося с дымным блеском волн, пошел вверх к корпусам, настраиваясь на сегодняшний праздник. Доктор был достаточно стар и очень болен, чтоб понимать: праздник этот — некая черта. Ему уже отсчитаны если не дни, то недолгие месяцы, и вполне объяснимо легкое чувство зависти, коснувшееся его невесомо и безболезненно, когда он увидел фигурку на прибрежной тропинке: мальчику предстояла длинная жизнь. И жизнь, скорее всего необыкновенная. Во всяком случае, не будничная...

А между тем Игорь выше к морю вовсе не за тем, чтоб с ним попрощаться: ему необходимо было сочинить стихи. Ну, в крайнем случае, речь, способную звучать не хуже стихов. На празднике ему поручили приветствовать Петра Васильевича от имени граждан республики «Бобровски», тех, кто был прикован к своим гипсовым кроваткам, схвачен корсетам. От имени тех, кого доктор Изергин поставил на ноги.

Стихи не получались, складывались совсем не такие, как хотелось бы Игорю. Но у него было еще одно

дело, и закончить его предстояло сразу после завтрака: кроме стихов, Игорь готовил подарок.

...Телеграммы стали приносить с утра, а после тихого часа потянулись гости. Гости приезжали в полуторках — белые панамы виднелись из-за бортов, гостей везли щегольские экипажи, гости шли из Алупки и Симеиза. Несли подарки: модели самолетов, диковинных размеров груши, собственноручно крестиком вышитые картины, хирургические инструменты в нарядной, не подходящей им упаковке, альбомы.

Бумага в альбомах была не очень хорошая: щепочки проглядывали, цепляясь за перо, когда Игорь, старательно выводил в одном из них под фотографиями соответствующие случаю подписи. Он был немножко философ, этот мальчик, как и многие здесь были, стесненные в движениях тела, но отнюдь не духа. А сегодня отмечалось событие необычайное: одному из первых среди врачей — Петру Васильевичу Изергину было присвоено звание Героя Труда за тридцатилетнюю, не знающую ни отдыха, ни устали работу в "Бобровке".

...Среди подарков самый необычный преподнесли юбиляру соседи из Симеизской обсерватории. Его именем они назвали вновь открытую планету, малую точку, едва различимую с Земли мощным глазом телескопа.

Директор обсерватории сообщил, что в реестр Вселенной она записана под номером 1271, и сел рядом с юбиляром под шумные аплодисменты собравшихся. Юбиляр тронул его за локоть, высоко поднял кустистую, стариковскую бровь, сказал негромко:

— А я Росинанта своего вспоминаю.

Росинантом он, бывало, величал единственную не съеденную в голодный год конячку с выпирающим из-под вытертой до блеска кожи острым крестцом. Что ж, прозвище подходящее, если вспомнить, что самого Изергина в то же время многие осуждающе называли Дон Кихотом.

— Росинанта и тех, кто советовал мне поберечь вот это, — корявыми скрученными болезнью пальцами он постучал себя по лбу. — Стену, мол, все равно не прошибешь, только шишки в награду...

Астроном кивнул, выражая тем самым полную готовность слушать не юбилейные речи, а самого юбиляра. Однако юбиляр уже замолчал, сидел, наставив острый взгляд небольших глаз на очередного выступающего. Только и при этом нет-нет да и появлялись перед ним вместо сегодняшней нарядной террасы белое от луны шоссе, повязка с ворохом соломы, мешочки с крупой под этой соломой и мерно качающаяся спина Росинанта...

Говорили тогда, в девятнадцатом, в двадцатом: профессор Бобров организовал санаторий, надеясь на добротные пожертвования людей состоятельных: и это было разумным актом человеколюбия. Потом, умирая, Бобров, завещал своему детищу 6000 рублей — ну, что ж, и это можно. Доктор Изергин, сменивший Боброва, отдал все свои деньги на возведение нового корпуса — поступок чрезмерный! Но который уже год содержать больных детей на те крохи, что получаешь сам от утомительной частной практики, — помилуйте, этому уже нет названия...

...Вслед за планетой были преподнесены другие, куда более ординарные подарки, а выздоравливающий

мальчик Игорь все ждал своей очереди. Нетерпение явно было написано на его открытом, красивом лице. По малости лет мальчику казалось: Петр Васильевич тоже хотел бы скорее перейти от дня минувшего к дню нынешнему, услышать и его, Игоря, выступление. Однако гости один за одним поднимались над столом и спрашивали:

— А помните, коллега? А помните, Петр Васильевич?..

— А помните, девятнадцатый, бандитов, которые пытались ограбить вас в пути, доктор?..

— А помните 300 рублей царской милости!..

— А помните, как нянечки ворчали: неужто наш доктор богаче царя?..

— А помните машину, подаренную красноармейцами?

...Доктор Изергин скончался в этом же, 1936 году, а мальчик, так страстно чувствовавший свою с ним духовную связь, был благополучно выписан из санатория. Но судьбам их еще суждено было скреститься.

...Когда в Крым пришли фашисты, у тех, кто стоял постоем в «Бобровке», было свое развлечение. Они ходили на поляну у моря стрелять в памятник на могиле врача Изергина. О, в этом было какое-то особое удовольствие — всаживать пулю за пулей в орден на груди этого фанатика, этого любимца большевиков. Конечно, лучше было бы застать его живым и сломить в назидание окружающим, но...

Однако некоторый реванш фашисты все-таки взяли. 10 апреля 1944 года в лагере смерти на территории

совхоза «Красный» недалеко от Симферополя ими был расстрелян Игорь Носенко, когда-то клеивший наивные фотографии и газетные вырезки в альбом с шершавой, не очень белой бумагой.

Впрочем, вряд ли его смерть нацисты могли счесть реваншем. Тем более что в дневнике Игоря Носенко, руководителя одной из подпольных молодежных групп Симферополя, они прочли: "Гитлеризм есть вчерашний день человечества. Солдатский сапог не остановит ход истории. Пусть трусы и малoverы отказываются от своих взглядов, хуля и оплевывая то, в верности чему они расписывались недавно. Я остаюсь верным моей партии, моей Родине".

Улица имени Курчатова

В сильный дождь улица напоминает русло горной реки: мутная вода, сварливо ворча, тащит за собой ветки акаций, мусор, песок. Потом все это оседает, как оседало сто лет назад, забиваясь в щели между камнями. И дома вдоль улицы те же, что стояли в начале века и раньше: толстые стены из ракушечника, черепичные тяжелые крыши. Во дворах много абрикосовых деревьев, деревянные галерейки верхних этажей нависли над нижними, и везде голубятни, медные тазы, прислоненные к беленым стенкам.

Всегда мне странно, что улица эта названа именем одного из величайших ученых нашего времени, именем Курчатова. Такая не современная улица... А может, в этом есть смысл? Может, в этом есть тот смысл: пусть каждый видит и знает — улица, по которой гений бегал в гимназию или школу, не обязательно должна быть столичной, даже просто широкой?..

Учился Курчатов в первой мужской гимназии Симферополя, которая теперь стала общеобразовательной школой тоже номер один и кажется сегодня маленькой, не по росту города. Однако на фасаде этой маленькой и невзрачной школы мемориальные доски свидетельствуют о том, что здесь учились Спендиаров, Курчатов, преподавал Менделеев. Именно в Симферопольском университете получил Курчатов и высшее образование.

В начале двадцатых годов университет в Симферополе блистал составом своих профессоров. Вот передо мною длинный список имен, вошедших в историю мировой науки в качестве ее первопроходцев и одновременно ее корифеев. Все они преподавали в университете в те дни, когда там учился Курчатов. Академик В. А. Обручев, академик В. И. Палладин, академик В. И. Вернадский, академик А. А. Байков, академик Б. Д. Греков, академик А. Ф. Иоффе.

Надо сказать, что и слушатели были подстать учителям. Из группы в 19 человек, в которой занимался Игорь Васильевич Курчатов, академиком, кроме него, стал еще Кирилл Синельников. А еще из этой же группы вышло впоследствии шесть профессоров.

А время было вот какое — разруха, девятнадцатый, начало двадцатых годов. "Сотрудники университета доведены до такой крайней степени нищеты, при которой уже начинается вымирание определенной общественной группы или неизбежная необходимость прекращения научной работы" — так писалось в одном из решений совета университета. А дальше шел подсчет, из которого явствовало: профессор получал теперь раз в 60 меньше,

чем в четырнадцатом году, и в 40 раз меньше, чем любой английский солдат.

Чтоб не умереть с голоду, профессора продавали вещи, пилили дрова, шили сапоги, варили мыло, изобретали «спички», мастерили зажигалки, но не все, надо думать, умели это делать. Недаром тогдашняя профессорская отрешенная от мира сего беспомощность в делах житейских стала нарицательной... Недаром Горностаев, при помощи драматурга Тренева шагнувший в литературу, был профессором. И спички с его лотка были теми самыми спичками, которыми при Врангеле пытались поддержать свое существование знакомые ТрENEвы, преподаватели Курчатова.

Студентам жилось не лучше, чем профессорам. Хотя почти все они были народ местный, а в своем доме, как известно, и стены помогают. Биографы Курчатова рассказывают: чтоб как-то поддержать семью, подрабатывал он в землеустроительной экспедиции у подножия Чатыр-Дага, потом на строительстве аэродрома, потом расклейщиком объявлений. Пришлось ему и железную дорогу строить, и дрова у мельника пилить, и быть сторожем в чужом саду, а также в кинотеатре «Лотос». Надо сказать, к необходимости работать и на скучных, не требующих ни ума, ни квалификации, работах относился он легко, с юмором.

И стоило ли обращать внимание на такие мелочи, если лекции читают профессора Усатый, Франк? А из Петрограда приезжает сам Иоффе, один из основоположников отечественной школы физики? А кроме отношения к науке складывалось именно в эти годы и именно в Симферополе для Курчатова нечто не менее важное — отношение к окружающему миру.

Складывалось так, что на вопрос одной из анкет о цели высшего технического образования для себя Курчатов ответил: "Стремлюсь отдать свои силы и знания на укрепление хозяйственной мощи республики".

Надо сказать, что качество знаний зависело не только от того, какой состав профессоров читал лекции, и какой состав студентов слушал. Каждый курс был объемён и разносторонен. Перечень досрочно сданных Курчатовым дисциплин на одном из курсов занимает добрую страницу.

Время неслось быстро и вскачь, голодное, азартное, часто повторяющее это как бы заново открытое слово: *досрочно*. Щелкали по мостовой деревянные подошвы сандалий, чадили коптилки, непрочное тепло «буржоек» улетучивалось быстро. А радость была от запаха ветра, от огромных букв, возвещавших прямо со стен домов, с заборов: "Мир — хижинам, война — дворцам", "Владыкой мира будет труд".

И еще была радость от дружбы и любви. Отношения, возникшие в Симферополе, протянулись через всю жизнь. С братьями Луценко, с Кириллом Синельниковым и его сестрой Мариной Синельниковой, которая потом стала женой Курчатова, со многими другими.

Окончив университет, Курчатов уехал в Петроград, но связи с Крымом не порвались, и летом 1924 года он снова был здесь, в Феодосии, жил в Карантине, рядом с древними башнями, работал в местном гидрометеорологическом центре, выходил в море на маленьком катере. А вечерами жадно смотрел в небо и повторял про себя ломоносовское: "Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне — дна".

Действительно — не было. Взгляд втягивало в глубину Вселенной. Обгоняя его, бежала мысль...

Курчатов любил природу и в качестве неистощимой поставщицы тайн, которые ему предстояло разгадывать, и просто так, как любим ее мы, не озабоченные делением атома. Вот строки из писем, подтверждающие это: "Погода стоит чудесная, ясная и жаркая. Любуюсь яркими красками Крыма, замечательным вечерним небом, амфитеатром покрытых черепицей домиков и морем... Работа идет спокойно и хорошо". "Здесь бывает иногда изумительно. Вчера, например, я просто глаз не мог оторвать от моря". "Жил несколько дней в Балаклаве, вспоминал, как мы возвращались из Гаспры, заезжали осматривать город".

...Однако самое удивительное в письмах этого периода совсем не то, что большой ученый находит время восторгаться природой. Письма писались из военного Севастополя, и если удивляться чему, то редкому умению Курчатова скрывать от близких тревогу и напряжение тех дней. В Севастополе Курчатов вместе с товарищами размагничивал корабли, делал их неуязвимыми для фашистских мин. Возясь с аппаратурой, Курчатов приговаривал: "Мечтал строить корабли, не удалось. Однако построенным мы помочь можем".

В Севастополе Курчатов видел бомбежку и жертвы ее, видел израненные, дымящиеся корабли, вползавшие в бухту на последнем дыхании, видел эсминец, сражавшийся с пятнадцатью фашистскими бомбардировщиками. А как-то прямо над бухтой «спецы», не спешившие в укрытие, наблюдали воздушный бой, который кончился тем, что наш летчик пошел на таран. И потом в воздухе долго висели,

снижаясь фигурки нашего и двух немцев. Письма же он все писал такие, будто мимоездом заехал взглянуть на приятные сердцу места...

Это был характер, умеющий видеть все краски жизни и отбирать яркие, утверждающие ее тона. Это был характер, знавший: трудности лучше всего встречать и сопровождать шуткой. Так было в юные и во все другие годы.

Неизвестно, как здоровался с товарищами Курчатов-гимназист и Курчатов-студент, но, вспоминая, став во главе лаборатории, он вместо обычной формулы приветствия каждодневно употреблял такую: "Открытия есть"? И сейчас, когда я иду по старой улочке, названной именем ученого, я как бы слышу эти слова, гулко звучащие в розово-сером летнем предгрозовом небе. Согласитесь: вопрос такой не только обнадеживает, но и обязывает...

О Кирилле Ивановиче Щелкине

Я люблю Случай. И утверждаю: в каждом случае есть своя закономерность.

Нынешний для меня начался с того, что 27 августа 1976 года я случайно ехала в Алушту из Симферополя на экскурсионном троллейбусе. Когда троллейбус проезжал мимо университета, экскурсовод сказал:

— Не так уж много людей, трижды удостоенных звания Героя Социалистического Труда. Двое из них — Игорь Васильевич Курчатов и Кирилл Иванович Щелкин — учились в этих стенах.

Ну, в отношении стен, положим, экскурсовод не то чтобы ошибся, а выразился образно: стены были новые,

только что сложенные. И новое поколение выбегало из них как раз на трассу, радуясь, что прошло по конкурсу. Но, может быть, и немного досадуя: не в московский, не в киевский, а всего лишь в симферопольский прошло. Я подумала об этом мельком, и еще о том, что о Щелкине ничего не знаю. Имя его «открыто» было недавно и не стало еще привычным, как, скажем, имена Королева и Курчатова.

В тот же день в Алуште я услышала о Щелкине еще раз. Из передачи крымского радио, урывками, я узнавала биографию ученого, про себя усмехаясь: дважды за день встретилось имя, а раньше почему-то, если и слышалось, не затрагивало мыслей, пробегало мимо. Не сто ли рассказов сделали меня пристальней?

Школу он кончал, оказывается, даже не в Симферополе, как Курчатов, а в Белогорске, который тогда назывался Карасубазаром и, помню, даже позже вызывал насмешки своею незначительностью. "Тоже мне город — один фонарь и десять улиц!" Летом городок был буквально забит светлой, меловой пылью. Белые горы заслоняли и не могли заслонить его от ветров, и верткая речка с черной водой протекала по нему — отсюда старое и новое название.

Отец у Щелкина был землемером, умер рано; мать учительствовала, Кирилл с четырнадцати лет стал подрабатывать в кузнице, и именно от карасубазарского кузнеца получил он те пять рублей, на которые отправился сдавать экзамены в университет. Впрочем, об этом я узнала позже и вот при каких обстоятельствах.

В тот же день пришла ко мне соседка по даче и привела какую-то пожилую женщину; обе расстроены.

— Приехала погостить родственница, а у нас ремонт. Нельзя ли ей несколько дней побыть у вас?

— Что вы! У меня Ноев ковчег: и физики и лирики съехались, не протолкнуться...

— И физики? — переспросила между тем соседка с каким-то загадочным выражением. И поманила в сторону. А там, в стороне шепотом: — Знаете, за кого я прошу? Любовь Михайловна — вдова Щелкина Кирилла Ивановича. Ваши физики его наверняка знают, потеснятся...

Физики были молоды и, конечно, потеснились. Щелкина они в силу той же молодости не знали. Знали о его работах. Но, главное, передачу крымского радио только-только мы прослушали вместе. Вместе охали: пошел на войну добровольцем, подумайте, какая голова могла погибнуть! А вот теперь, буквально через несколько часов, сидим с женщиной, которая всю жизнь прожила рядом с ним и удивляется:

— А как же? Кирилл Иванович не мог иначе. Вы знаете, на фронте, пока не отозвали, он был разведчиком у артиллеристов и вообще смелостью отличался. Как-то так случилось: все ему утопающих приходилось спасать... Вот был в Ленинграде до войны случай...

Случалось, случай — нет, он не на каждого, этот случай, бежит. Конечно, одному из ведущих физиков страны совсем не обязательно еще и утопающих спасать, но до чего же приятно сидеть слушать и о ленинградских прудах, и о тех тапочках, в которых Кирилл Иванович уехал на первую свою работу из Крыма: не было денег не туфли. О том, как всполошились разведчики, когда рядового Щелкина вызвали к командиру дивизии:

"Неужели будем расставаться?" И как потом собирали его в дорогу: кто нес консервы, кто новую гимнастерку: "Мы здесь, а ты там, Иваныч, постарайся..."

В удостоверении, которым его снабдил штаб, говорилось: "Выдано настоящее бывшему красноармейцу 7-й гвардейской стрелковой дивизии Щелкину Кириллу Ивановичу в том, что следует в г. Казань для прохождения научной работы при Институте химической физики Академии наук СССР... Основание: шифротелеграмма зам. наркома обороны т. Щаденко".

Авиации нужны были реактивные двигатели, топливо для них. Работы Щелкина по теории взрыва отныне могли пригодиться не только в целях обеспечения безопасности на шахтах. Теперь они должны были не снимать угрозу, но помочь создать новую грозную силу... Продолжая исследования, ученый сформулировал то, что теперь широко известно под названием — модель турбулентного горения. Таким образом профессор Щелкин в ряду других стал пионером реактивной техники. А дальше, с сорок шестого, он работал под руководством Курчатова.

С Игорем Васильевич Курчатовым Щелкин был знаком давно, еще по Ленинграду, как-никак — земляки, кончали одно и то же высшее учебное заведение, равно любили Крым, как любят край, где прошла счастливая юность.

— Ну, ну, не тянет в небо? — спрашивал Курчатов, бывало, намекая на планеризм, которым Щелкин когда-то занимался по его рекомендации. Предложение же шефа "поломать копыя" в крымском небе за честь атомщиков надо было, конечно, понимать как шутку.

Да он и в самом деле шутил, когда бормотал, медленно сдвигая рычажок установки к нулю: "Копья, копья, но не шею. Шею не надо. На шее держится голова, а от нее ждут гениальных решений..."

Глаза у шефа были веселые. И эта манера смеяться глазами, шутить, разыгрывать осталась у него до самой смерти. Уже очень больной, взявшись за большую новую работу, Курчатov назвал ее «Доутрия». Приходил к Щелкиным домой, говорил, как о чем-то очень веселом:

— Один тут спрашивал: "До утра, мол, будете решения искать? Здоровье поберегите". Утра, говорю, у меня уже не будет. Будет удар номер три, так что спешить надо. Четвертого звонка оттуда не дают.

В манере шутить, так же, как в манере работать с полной отдачей, сгорая, они, Щелкин и Курчатov, по утверждению коллег, были похожи друг на друга.

... Через несколько дней, вернувшись в Симферополь, я рассказала о случае своей давней приятельнице.

— Кирилл? — переспросила она. — Я же тебе о нем еще лет десять назад говорила, когда «Правда» впервые дала портрет и рассказала о его работе. Через два дня после смерти... Мы же с ним в институте учились. Дружили... — Она вдруг засуетилась, принесла маленький прямоугольничек фотографии. "Соне от Кирилла. Помни". И лицо детское, гладкое, ничем не примечательное. Вся жизнь была еще впереди. И какой-то представлялась она честолюбивому юноше, отлично писавшему тексты «капустников», «трактаты» о преимуществах лени и удивлявшему однокурсников своим упорством? Вся жизнь была еще впереди, никак, ни в какие приборы нельзя еще было разглядеть

мемориальные стелы в маленьком городке Белогорске: "В этой школе с 1924 года по 1928 год учился трижды Герой Социалистического Труда, член-корреспондент Академии наук СССР..."

Кончается этот раздел и кончается время, которое начиналось великой вехой: после революции. Правда, чаще говорилось: после гражданской. Оно сомкнулось с другими, его отсчитывали потом так: довоенное. Обрамленное потерями, жертвами, подвигами, немыслимым мужеством и еще более невероятным терпением и выносливостью народа, прошло короткое время относительно мирной жизни наших отцов. Они были ровесниками века или не намного старше его. Они были бойцы и строители, как, впрочем, и следующее поколение — мальчики сороковых. Они были энтузиасты, как и те, кто после Великой Отечественной восстанавливал превращенную в пепел, оскорбленную, разграбленную, бывшую в оккупации территорию.

Но было же какое-то различие?

Я перечислю только те приметы, которые видела, чувствовала и постигла сама. Время отцов было время ликбезов, аскетичности и множества лошадиных сил, выступающих в прямом, не метафоричном смысле. Вместо тракторов, ЗИЛов, мотоциклов впрягались в работу кони... Это было время очень темных ночей и фонарей "летучая мышь". Это было время, когда книги и газеты читались вслух на коммунальных кухнях и на ступеньках барачков. Да, это было время барачков, и само слово употреблялось часто, тоже в буквальном смысле, в смысле адреса: "Нинка жила в первом барачке, а Урусовы в четвертом".

Это было, конечно, время первых больших строек, беззаветных перелетов и открытия Севера. Это было время, когда я читала "Пионерскую правду", и душа замирала от гордости, от ощущения счастья. Причем я не сейчас выдумываю, было тогда так, я помню, в основе счастья лежало ощущение слитности с временем и пространством моей необыкновенной страны. Но дальний гул войны уже слышался, уже угадывался взрослыми. Уже прошла трагическая война в Испании, уже копошилось на Западе, нечто не поддающееся пока описанию, собиралось в темную, неминуемую тучу... И уже было понимание: мы — единственные, кто будет противостоять этой туче.

Колесо истории

Бой идет святой и правый.

Смертный бой не ради славы.

Ради жизни на земле.

А. Твардовский

Как я увидела войну

В первом рассказе о войне я ничего не напишу о том, что узнала потом по книгам, документам, свидетельствам тех, кто в ней участвовал. Это будет рассказ, как война обрушилась на девочку, которая только что окончила восемь классов и даже не успела стать комсомолкой.

Пока война стоял на Перекопе, девочка после уроков плакатным пером переписывала сводки Советского Информбюро на большие листы светло-серой бумаги и надеялась на чудо, в крайнем случае — на эвакуацию. Листы с неутешительными сводками вывешивались возле исполкома, на Набережной, и, наконец, настала ночь, когда над Ангарским перевалом поднялся розово-сиреневый отблеск дальнего пламени. А потом в темноте услышалось, как что-то большое вступило в город и стало подниматься по шоссе в сторону Ялты. Раздавалось натруженное шуршание подошв, звякало железо, двигалось как бы одно тяжелое тело.

Днем мы увидели конные упряжки, усталые солдатские лица и будто ржавые, мятые, кое-где прожженные шинели. Из всего отступления мне больше всего запомнились именно эти шинели на

красноармейцах, тесно сидевших в грузовиках или двигавшихся по шоссе. Весь город стоял над дорогой возле базарной площади, ловил взгляды: а вдруг в каком-нибудь прочтешь, что можно надеяться. Взгляды были хмурые, но и в эту все еще тянущуюся, теперь уже сплошь пешую ленту отступления то и дело бросался, как в реку, кто-нибудь из алуштинцев и тоже уходил.

А потом чьи-то снаряды разрывались прямо возле нашего дома, но что за бои, кто стреляет — этого мы понять не могли. И, наконец, жизнь оцепенела: в город вошли немцы.

Осень в сорок первом обещала как будто долгое, ясное тепло. В синем воздухе кружились листья старых груш, опадая по одиночке, но красота неба, листьев, летящей паутины только ужасала — до того была ни к чему. Из первых дней помню: больше всего поразили меня мотоциклы и молодые грубые голоса, перекликавшиеся через весь замерший город. Треск мотоциклов, рев больших, новеньких грузовиков, сливаясь с довольным солдатским гоготом, давил на душу. Мотоциклов было столько, что казалось: солдаты в нарядных, во многих местах отстроченных мундирах пешком вообще не ходят. Разве что от дома, выбранного на постой, до кухни. Идут, гремя гроздьями котелков и поддавая ногами вороха неопрятной соломы, которой много оказалось в городе.

Беспризорные кони бродили по улицам, подбирая эту солому, безнадежно прислонялись к заборам. Рядом с ними мотоциклы выглядели особенно внушительно.

В Севастополь немцы готовились ворваться, наверное, все на тех же мотоциклах, вроде продолжая прогулку, начатую на дальних рубежах Европы, —

неуязвимые кентавры, не видящие вокруг ничего, кроме того, что могло составлять для них удобство или неудобство, тогда еще не говорили *комфорт*.

У наших соседей рядом по коридору квартировал один из них. До сих пор помню офицерскую его фуражку с задранной тульей, впалые щеки, взгляд, оббегающий нас, потому что мы были не красивы, не приветливы, следовательно, — не удобны. Помню еще массу пестрых пластмассовых коробочек для маргарина, джема и прочего. Коробочки эти как раз составляли *удобство* и были предметом гордости денщика. Внушали ему чувство какого-то особого превосходства над нами — голодными.

В первый раз офицер отправился на фронт под Севастополь в середине ноября. Сбегая с нашего крыльца, он даже поднял руку с двумя сложенными пальцами к фуражке и крикнул нам что-то длинное, веселое. Денщик загоготал, а мама сказала, что поняла только: "Не больше недели".

Офицер вернулся через десять дней и был уже другим человеком. Он зарос грязью, насекомые одолевали его, он ходил, отставив руки: под мышками вши, очевидно, жгли особенно сильно. Лицо у него стало теперь совсем не прогулочным, впрочем, и погода была уже другая, и мотомеханизированный табор, раскинувшийся в нашем городе, был другой. Небо слоилось тучами, на улицах и во дворах как будто еще прибавилось этой нищенской перетертой соломы, на стенах появились приказы, а в конце каждого: за невыполнение — расстрел. Мы заранее знали из наших газет приблизительное содержание этих приказов, и все-таки не только страшно, но и странно было читать: за утайку лишнего килограмма продуктов — расстрел; за

то, что выйдешь из дому после комендантского часа, за то, что не выдашь знакомого коммуниста... Да, нам все еще было странно, хотя чему удивляться после того, как они потопили в Ялте «Армению» с ранеными, после того, как уничтожили в городе евреев вместе с маленькими детьми, после того, как в саду санатория «Металлист» каждую ночь расстреливали заложников, после того, как мимолетно на улице убили ученика нашей школы Витю Эльвединова.

...В это же время напротив нашего кинотеатра, где недавно я выстаивала огромную очередь за билетами на "Александра Невского", быстренько стали расти грядки белых, свежеструганных крестов с рогатыми касками, прибитыми к ним, — это помогало догадываться, что же происходит под Севастополем. Во всяком случае, там фашисты узнали, что уязвимы. Пластмассовые коробочки, мотоциклы и даже пушки больше не представлялись им залогом благополучного и скорого конца. Но мой детский ум не мог постичь, что задержала фашистов и даже потеснила их та самая пехота, которая понуро шла и ехала на разбитых грузовиках через наш город. Я считала, тогда, что это сделали совсем другие люди — моряки.

И немец-денщик, стонавший вокруг своего офицера, тоже повторял: "Матрозен! Матрозен!" — при этом он махал руками, как на горячее. Офицер ничего не говорил, но часто поглядывал в сторону Севастополя помертвелыми глазами.

Что касается меня, то я все время была повернута к этому городу. Там на маленьком клочке крымской земли еще существовала наша страна, здесь же дотлевали книги, выброшенные из окон библиотеки, люди ели

пристреленных на пустырях или просто павших коней, в нашей школе открыли гимназию и перед рождеством в ней всем вдруг выдали по заскорузлому черному пирожку. И нашелся один — благодарил за новый порядок, за этот пирожок. Потом он стал служить в полиции, на виду у всей улицы вышагивал за немцем, нагружившимся имуществом арестованных, каким-нибудь электрическим чайником или уютгом, необходимым Германии. Ему самому доставалось что попроще...

...Второй раз из-под Севастополя офицер явился к самому Новому году. Денщик опять кричал: "Матрозен! Матрозен!" — и рассказывал о каком-то поезде, который ходит, как призрак, по ночам и без рельсов, просто по земле. Кажется, он называл поезд *зеленым призраком*, а может быть, это я сегодня придумала, потому что знаю, как немцы окрестили бронепоезд «Железняков». И еще помню злые слова офицера, услышавшего эти разговоры. "На всю Россию матросов не хватит! — так приблизительно звучали они в мамином переводе. — И этому городу к Новому году — конец".

Он так думал или дисциплинированно заставлял себя думать, когда отлеживался в тепле или вышагивал по Алуште и горланил песню с дурацким припевом: "Айли, айлу, айли, айля!"

Горланили ее на марше, горланили, сидя за столом. Красные рты раскрывали широко, руки шлепали по столу. К Новому году Севастополь будет добыт, как трофей, как подарок фюреру!

И вдруг...

Ночь была промозглая, с ветром, громко хлопали двери, кто-то выходил и входил в дом, потом под окно пригнали фуру; огромные кони-першероны возвышались,

чуть ли не вровень с крышей крыльца, в фуру что-то грузили, и опять появился, навис этот сплошной гомон голосов, только теперь переспрашивающих, испуганных.

В приоткрытую дверь мы увидели, как прыгали руки у офицера, квартировавшего в нашем доме, когда он ощупывал пуговицы шинели. Заметив, что дверь приоткрыта, немец вдруг странно раскрыл рот, высоко оттягивая верхнюю губу, и, выхватив пистолет, двинулся на нас. Обшарив нас тоже прыгающими глазами, немец вышел.

На следующее утро мы слышали, от кого — не помню, что наши высадились под Керчью и в Феодосии. А через много лет, читая военные мемуары, я узнала, что делалось в это время в Севастополе. Узнала также, что Алушта оказалась на пути наших важным рубежом, где предстояло задержать врага во что бы то ни стало. Узнала, что трое суток сдерживали фашистов у Алушты два полка 421-й дивизии и, очевидно, это были те сутки, когда мы не могли себе объяснить, почему в город не входят немцы.

Потом, когда пришли наши, когда были написаны книги и рассказаны рассказы, подвиг Севастополя расслоился для меня на отдельные действия или, лучше сказать, героические деяния. Как из тумана стали выплывать не общие представления, а конкретные лица: пулеметчицы Ониловой, журналиста Хамадана, подпольщика Ревякина... Сейчас, встретившись в редакции областной газеты или просто на улице с постаревшим уже генералом в отставке А. И. Ковтуном, я могу уточнить подробности насчет того, чего стоило Приморской пробиться сквозь фашистские заслоны в горах. Или узнать, как сам он еще молодым и быстрым

майором сидел на Мекензиевых горах у радиостанции, пытаюсь выйти на связь с разрозненными ее частями, или о том услышать, как Пугачевский полк Чапаевской дивизии к вечеру 6 ноября одним из первых прорвался в Севастополь, а утром вступил в бой...

А тогда у меня был только мой полудетский взгляд и мой слабый слух, все время ловящий ровный мощный гул, который, не разрываясь на залпы, тек от Севастополя. И казалось: оборвется этот дальний гул, и моя жизнь оборвется. Ночами, когда он стихал, или когда его уносило ветром, я выходила во двор, прижималась к мерзлой, рубчатой земле, слушала: гудит.

Дочь Севастополя

Имя Нины Ониловой принадлежит первым дням обороны Севастополя. Трудным дням, когда разум человеческий, как опоры, искал образца для подражания, примера. Таким образом для севастопольцев стала Онилова. Но сначала она для себя выбрала пример — Анку-пулеметчицу. Онилова сражалась в Чапаевской дивизии, вошедшей в Крым в составе Приморской армии, так что естественным было следовать именно этому образцу из далекой гражданской.

Впрочем, еще в Одессе, когда девчонки просились на фронт медсестрами, Нина Онилова, работница трикотажной фабрики с наивным названием "Друг детей", выложила на стол в военкомате справку: окончила курсы пулеметчиков. А потом, уже в Севастополе, писала артистке, сыгравшей когда-то Анку в бессмертном фильме. "Настоящей Анке-пулеметчице из Чапаевской дивизии, которую я видела в кинотеатре

«Чапаев». Я не знакома вам, товарищ, и вы меня извините за это письмо. Но с самого начала войны я хотела написать вам. Я знаю, что вы не та Анка, не настоящая чапаевская пулеметчица. Но вы играли, как настоящая, и я вам всегда завидовала. Я мечтала стать пулеметчицей и так же храбро сражаться. Когда случилась война, я была уже готова, сдала на «отлично» пулеметное дело. Я попала — какое это было счастье для меня! — в Чапаевскую дивизию, ту самую, настоящую. Я со своим пулеметом защищала Одессу, а теперь защищаю Севастополь. С виду я, конечно, очень слабая, маленькая, худая. Но я сам скажу правду: у меня ни разу не дрогнула рука. Первое время я еще боялась. А потом все прошло. Когда защищаешь дорогую, родную землю и свою семью (у меня нет родной семьи, и поэтому весь народ — моя семья), тогда делаешься очень храброй и не понимаешь, что такое трусость. Я вам хочу подробно написать о своей жизни и о том, как вместе с чапаевцами борюсь против фашистских..."

На этом письмо обрывается.

Ну, что ж, наверно, она писала правду, что не боится. Хотя фашисты подходили и на 40 метров к окопу, где лежала она с расчетом. Кругом была твердая севастопольская земля, которую кирка еле берет, когда отрывает окоп. Низкие, в ржавых, еще не опавших листьях кусты грабинника и дубняка, балочки, взгорки, просто трещины среди камней. Жесткая работа войны, и среди всего этого девочка с одесской трикотажной фабрики, которая хотела поехать на Дальний Восток, как многие тогда ехали, прыгать с парашютной вышки, скакать, не разбирая дороги, кому-то на помощь...

Старые работницы на фабрике с особым удовольствием называли ее дочкой. Из-за того, что сирота, из-за того, что ходит в белых носочках в прорезиненных тапочках с перепоночкой, из-за того, что домашним пирожком ее угостишь — ест, не отрываясь, глаза круглые, детские.

И на фронте тоже называли дочкой. И были благодарны ей за ее бесстрашие. Особенно трудно было быть или хотя бы казаться бесстрашным, когда враг ведет минометный обстрел позиций. Наверху летит, воеет мина, взрывы справа, слева, песок на зубах, забило глаза, как живая шевелится стенка окопа, а у этой девочки только щеки стали каменными да глаза узкими:

— Ничего, сейчас они получают. Все получают — долго помнить будут...

— Дочка, чего же ты? Дочка, стреляй!

— Без паники, без паники, дядечка, сейчас будет все точно, как в аптеке...

И, действительно, четко, зло бьет пулемет, атака отбита, и ты оглядываешься вокруг, смотришь на пулеметчицу, на товарищессу по окопу:

— А что, не прошли, гады?

— И не пройдут, дядечка! Больше жизни, дядечка! Они наш город в землю не вдавят! Так я говорю?

Наш город...

Еще недавно они о нем мало что знали: стоит и стоит на краю земли, у самого синего моря. Теперь он для всех них стал — наш город, наш Севастополь, красавец... А красота его гибла под взрывами бомб, горела, подоженная фугасками.

— Вы знаете, товарищ комиссар, я как будто своим телом чувствую, как они Севастополь ненавидят. Стал он им поперек дороги, всю легенду подрывает.

— Какую легенду, Онилова?

— О непобедимой армии, какую же еще?

Ранило Онилову в одном из зимних боев. Она лежала на узкой железной койке подземного госпиталя совсем плоская, маленькая, с белым тихим лицом. В госпиталь много звонили, справляясь о ее здоровье: "Ну, как там дочка, есть надежда?"

Люди жалели ее, конечно, но еще им для себя надо было убедиться: она жива, выживет, и снова на позициях можно будет услышать ее скорый говорок:

— Они еще не видели, какие мы, если злые. Сейчас увидят...

В штольни, где помещался госпиталь, приехал попрощаться с Ониловой генерал Петров, командовавший Приморской армией. Собственно говоря, приехал он, может быть, и не попрощаться, а повлиять на медицинский персонал своим присутствием: а вдруг да сотворят чудо? Но чуда сотворить было нельзя, и нельзя было без слез смотреть, как жизнь уходит из маленького тела.

— Спасибо тебе, дочка. Повоевала ты хорошо. Спасибо от всей армии, от всего народа, — сказал и не мог сдвинуться с места, выйдя из госпиталя, всех спрашивал, может, нужно чего.

А потом, когда все кончилось, еще долго продолжались звонки из частей: люди хотели бы убедиться в ее бессмертии, чтоб поверить в свое.

О Нине Ониловой рассказывал мне генерал Андрей Игнатьевич Ковтун. Во время обороны он был еще майором, начальником оперативного отдела, и командарм как-то попросил его вызывать пулеметчицу в штаб. Хотел увидеть ее лично перед представлением к ордену. Когда она пришла, Ковтун посадил ее в углу за своими телефонами, а сам продолжал работу. Звонил, писал, готовил сводку и ничего в девушке не заметил, только, что похожа она на неухоженного ребенка. Одна щека в копоти: видно, там, на передовой, откуда ее вызвали, не оказалось зеркальца посмотреться. Эта щека, осунувшаяся, но в то же время еще по-детски круглая, и очень тонкие в запястьях, прямо школьные какие-то руки — кольнули сердце, запомнились...

...Очень мало осталось от работницы Одесской трикотажной фабрики: "Севастопольские рассказы" Толстого с пометками, то письмо, о котором уже говорилось, переписанная детским почерком песня приморцев: "Раскинулось море широко у крымских родных берегов", две смены мужского бязевого белья с тесемками.

От бойца Чапаевской дивизии Нины Ониловой осталось больше.

Однажды в гостях показали мне красную папку-складень, сделанную, очевидно, кем-то из ветеранов, с фотографиями бойцов Чапаевской дивизии. Тех, кто сражался в ее составе во время гражданской и Великой Отечественной войн. Я сразу же стала искать среди женских лиц самое молодое. Нашла: прическа фестончиками вся в приколках, наивный сарафан на бретельках, курносенькое, вроде бы обыкновенное лицо — Нина Онилова. А напротив Ониловой на первой

странице — М. А. Попова, большая, красивая, сильная. Та, которая потом в фильме стала Анкой-пулеметчицей.

Так я и знала: они должны были где-то сойтись, эти женщины, внешне столь не похожие друг на друга. История обыкновенно не пропускает случая свести, как эстафету, имена, передающие мужество.

Александр Хамадан — журналист

Впервые с этим именем я встретилась, собирая материал о Нине Ониловой. Собственно говоря, почти все, что знаем мы из первых рук о маленькой пулеметчице из Чапаевской дивизии, восходит к Хамадану. Материалы его печатались во многих сборниках о героическом городе и представляют из себя главы репортажа. А репортаж свой специальный военный корреспондент ТАСС Александр Хамадан день за днем передавал, как и положено, непосредственно с места событий, то есть из осажденного города.

Человеку надо иметь возможность сказать себе: "Если они могут, значит, и я сумею. Пусть не то, что смог командир полка пограничников Рубцов под Балаклавой или Онилова на Мекензиевых горах, но все-таки, но все-таки..." Александр Хамадан хорошо понимал эту особенность души человеческой и чувствовал всю ответственность, возложенную временем на него. Из газет очерка Хамадана перекочевали осенью сорок второго в журнал "Новый мир", оттуда в книгу «Севастопольцы», вышедшую в самом конце того же года, когда трава еще не пробилась сквозь раны окопов, еще не заржавел металл взорванных пушек и выброшенных на берег катеров...

Но в то время как очерки Хамадана печатались в "Новом мире", в то время, когда была издана книга о севастопольцах, в то время, когда автору шли многочисленные письма читателей, сам Хамадан был уже не военным корреспондентом, а пленным из Севастополя и, может быть, шел где-то в общей связке, дальним взглядом перебирая подробности памятного года. Потом Хамадан сидел в севастопольской тюрьме, куда был заключен по чужой фамилией: ведь любой страницы биографии специального военного корреспондента было достаточно, чтоб немедленно приговорить его к расстрелу.

Одной из таких страниц могло, например, оказаться все, написанное о Хамадане командующим Приморской армией генералом Петровым: "Верный своему долгу, Хамадан до конца оставался в Севастополе. Судьба его неизвестна. Есть основания думать, что он в составе большой группы своих друзей ушел к партизанам в Крымские горы.

Будем ждать, думать, надеяться, что Хамадан вернется к нам и допишет свою книгу о делах, днях и людях Севастополя, оставшихся верными своему долгу и показавших примеры беспримерного мужества".

Но даже пусть не слова командующего, любое письмо — отклик на книгу — говорило о значительности работы, которую проделал военный корреспондент. Вот несколько строк одного из таких писем.

"Уважаемый товарищ Хамадан!

Я прочла в журнале "Новый мир" ваш рассказ «Севастопольцы». Девушка Нина, Мартынов, Орлов и другие молодые герои, которых вы описали, способны

воодушевить нас, молодежь, готовую стать вместо погибшей Нины, учителя, отца.

Благодарю Вас, уважаемый товарищ корреспондент, за чудесный рассказ о родных севастопольцах, о близких местах: о лесе, о горах, о море, по которым я очень тоскую".

...Тускло светила плашка, красный огонек, не больше листка акации, выдвигал из тьмы худые, серые лица. Санитар тюремной больницы Михайлов, примостившись на корточках, спиной к стене, читал наизусть любимое: "И невозможное — возможно, дорога дальняя близка, когда блеснет во тьме дорожной знакомый взгляд из-под платка..."

Какая уж там дорога, и какая надежда! Он пошевелил пальцами, рассматривая свои руки с выступавшими от худобы сухожилиями, с плоскими костистыми запястьями. И лицо, наверное, не лучше, чем у тех, кто сидит напротив, ловит странные, похожие на дуновение влажного ветра слова... мало чего осталось от Сашки Хамадана в пленном санитаре Михайлове — разве что голос почти прежний, чуть только глуше... И еще не могли истребить в нем фашисты любовь к стихам и желание показать людям, как много ценностей в мире, ради которых стоит сопротивляться смерти...

— А может, в нашем положении все эти ценности, братишка, как рыбке зонтик? — спрашивает собеседник не то у санитара Михайлова, не то у самого себя. — Простые люди, скажу тебе, умирают легче...

— Простые? — Михайлов вскидывает тяжелые, запавшие глаза. — А зачем тогда была революция?

Просто ты и при царе Миколе мог жить. Простую жизнь некоторым и Гитлер оставит. Рабочий скот и ему нужен.

— Да нет, Сашко, я так. — Парень мучительно гоняет кадык по худой, напрягшейся шее. — Ты не обращай внимания. Только, правда, зная Блока, тяжелее умирать, чем не зная.

— Умирать, может, тяжелее. Человеком оставаться легче.

Оставшиеся в живых товарищи по заключению вспоминали, что Хамадан не просто поднимал дух окружающих своею стойкостью, он явно был связан с подпольем. Он сообщал сводки о продвижении наших войск, он вместе с врачами тюремной больницы переправлял на волю тех из пленных, кому удавалось достать документы умерших гражданских.

...В Севастополе между тем было тихо и страшно. Пахло запустеньем: сырой сажей, нищенской похлебкой из лебеды, пылью битого кирпича. Призрачно стояли остовы домов, похожие одновременно на скелеты и на памятники собственному мужеству. Даже море было теперь другое — весь берег в разбитой технике, и солнечный зайчик на волне кажется чем-то случайным, ненужным и неуместным.

На Большой земле не знают пока подробностей об оккупированном городе. На Большой земле ничего не знают о судьбе Александра Хамадана. Только в центральных газетах рядом со сводками Совинформбюро печатаются рецензии и отклики на его книгу о севастопольцах. По ней определяют сущность национального характера советского человека на войне. По этой книге воспринимают и видят рядом с собой, как живых, и генерала Петрова, и полковника Богданова, и

Нину Онилову. И того регулировщика, который стоит себе и стоит под обстрелом на перекрестке белесых дорог, слоями режущих Мекензиевы горы.

Между тем автор «Севастопольцев», как пишет исследовавшая его жизнь Любовь Руднева, и в тюрьме продолжал свою работу над второй частью книги. Казнили Хамадана летом 1943 года как рядового бойца. Никто не знает, где могила журналиста Хамадана. На ней нельзя поставить памятник. Но памятником ему стало все то, что мы узнаем из его книг о Севастополе.

Предчувствие подвига

Герой Социалистического Труда художник Александр Дейнека любил рисовать Севастополь еще в то далекое, довоенное время. Однако предчувствие подвига было уже как бы разлито в воздухе вместе с этим желто-розовым свечением вечернего воздуха, вместе с запахом остывающих камней и звуком шагов трех людей, которые подходят к нам: двух краснофлотцев и женщины в светлом сарафане на бретельках.

Краснофлотцы эти с картины Александра Дейнеки служат на военном корабле, а может быть, на одной из береговых батарей, сыгравших такую большую роль в обороне города. Но пока до обороны далеко. Пока они вырвались в город на попутной полуторке просто так, потому что любят Севастополь, особенный город. Они идут по его улицам и тоже чувствуют себя особенными.

Хотя особенного вокруг, кроме незримого дыхания прежней славы, пока еще вроде нет. На Приморском бульваре сладко пахнут розы, белеет над водой колонна памятника затопленным кораблям. Скоро стемнеет, и

чуть пониже звезд повиснут медные, тоже искрящиеся звуки оркестра. И тот из них, кто останется жив, будет, вспоминая свою молодость, слышать в душе именно эти звуки и теплое дыхание моря, смешанное не с гарью, не с сухой пылью битой штукатурки и кирпича, а с запахом цветов на Приморском...

А кто останется жив? Кто останется жив, неизвестно: до лета сорок первого — еще далеко. Еще есть время любоваться прибоем и рыжей краской ближних мысов. Еще на водной станции «Динамо» прыгают с вышки пловчихи в простеньких купальниках, и художник рисует их и мужчин с мощными торсами на фоне Константиновского равелина.

Еще будущие летчики с узкими спинами пятиклассников долго будут сидеть над ультрамариновой севастопольской водой, а в недоброй зыби моря, в силуэте маленького самолета еще только намек на будущее, когда мальчишки действительно поднимутся в воздух и кто-то из них в красном небе сорок второго над красной бухтой собьет фашистского аса. А кто-то потом будет сбит сам, и ему на Малаховом кургане поставят наивный и трогательный памятник — алюминиевый самолетик, взмывающий над аэродромом...

Но пока еще ничего этого нет, пока еще медлительная «этажерка», кажется, мальчишкам ужасно быстроходной и летит себе в сторону открытого моря, а женщины Севастополя — жены командиров — занимаются в кружках ворошиловских стрелков и гасят мячи на обязательных волейбольных площадках. Они, эти женщины, медлительные в танце, но быстрые в воде окрестных бухт, волнуют художника не только своей силой и юностью, но еще и тем, что в них отразилось

время, которое скоро кончится, потому что потом город станет героем, пережившим войну, а не просто Севастополем... Потом в нем будет уже не предчувствие подвига, а сознание, что подвиг совершился. Предчувствие выльется в доказательство любви к Севастополю, этому особому городу, вселяющему в каждого из своих граждан особые силы.

А может быть, художник предчувствует и свой подвиг? Свою главную картину, которую многие исследователи считают едва ли не лучшим батальным полотном в истории советской живописи. Картина эта нам известна как "Оборона Севастополя", но первое ее название "Морской десант", то есть всего-навсего случай из обороны.

Почему?

Александр Дейнека не был в Севастополе во время войны. Войну вблизи он видел под Москвой: "Много тяжелых героических эпизодов". Однако, когда пришел час и потребовал: изобрази подвиг, художник изобразил Севастополь. Рассуждая, почему случилось именно так, Дейнека говорит: "Я люблю Севастополь. И вот, когда я увидел фотографии разбитого города, я понял, что должен это написать". Тут надо сказать, что фотографии, послужившие толчком для художника, были из немецкой хроники, и вдохновлять им надлежало солдат рейха: смотрите, как близка победа! Что осталось от крепости большевиков на Черном море!

Что осталось? Дух остался. Остался советский характер тех, кто сопротивлялся в осажденном городе, на краю земли.

Картина изображает высадку десанта в декабре сорок первого. Моряки пришли на кораблях из

Новороссийска, когда враг прорвал позиции на Мекензиевых горах. И тут вдруг: "Наши в Сухарной балке!"

Действительно, частный, хоть и значительный эпизод. Но изображенное по силе обобщения было куда шире его. Прошло время, и картина воспринимается как символ обороны. И если вдруг нам приходит в голову мысль: "А когда же все-таки все это происходило?" — то цепь ассоциаций приводит нас отнюдь не в Сухарную балку, а на мыс Херсонес. Хотя всем хорошо известно, что на Херсонесе не было ни таких высоких домов, превращенных в руины, ни бетонированной набережной, город вообще был далеко от этого места последних атак. Но все-таки там стояло лето, и хотя вряд ли и там кто был одет в белую матросскую робу, но в декабре-то она вообще неуместна — так станет возражать здравый смысл, все равно чей, ваш или вашего собеседника.

И, тем не менее, картину Дейнека начал задолго до весны или лета сорок второго, а горящие, разрушенные здания и светлая форма нужны были ему для создания образа. Они не могли появиться на фотографии или на картине, где художник взялся изобразить "все до точности, как оно было". Однако то оказался бы другой художник, другая картина и даже другая цель... Что же касается названия, изменилось оно естественно и стихийно, когда стало очевидно: художнику посчастливилось остановить мгновение гораздо более значительное, чем единичный случай из обороны.

...Над красной бухтой — красное небо войны. Идет сила на силу, и на лице того, кто на нашей стороне, кто сейчас швырнет связку гранат в фашистов, — такое удивление...

Да, на нем, окровавленном мальчишеском, простом, еще удивление и горечь: почему он должен умирать, почему он должен убивать других? Почему вздыбился мир? Почему он так неестественно оцетинился штыками?

Может быть, не в композиции, не в экспрессии картины самая большая удача художника? Может быть, нет большей находки, чем это лицо на картине, полной ярости и смерти? Лицо, если присмотреться, точно такое же, как было у одного из моряков на той первой севастопольской картине, где ничего еще не говорило о войне, а просто была разлита красота и нежность, которые придется защищать.

И еще одну, неожиданную и, может быть, не прочтенную в сорок втором мысль, будит полотно. Мысль о том, что и для тех, оцетинившихся штыками, одетыми в мундиры вермахта, война, в конце концов, ужасна...

Домик Потапова

Во дворе женщина вешала белье, другая, совсем молодая, смотрела на нас из-под светлых кудряшек и говорила, что они только что сюда переехали, прямо сегодня...

Только переехали и знали о доме, где им предстояло жить, не больше, чем сообщала мемориальная доска. Между тем это был "домик Потапова", тот самый, где располагался командный пункт семьдесят девятой стрелковой или, как ее еще звали, морской бригады.

А семьдесят девятая бригада, потаповцы, к слову сказать, и были именно теми людьми, что изображены на картине "Оборона Севастополя" художником Дейнекой.

Иногда говорят, будто семьдесят девятая пошла на позиции, чуть ли не сразу ссыпавшись с трапов "Красного Кавказа" в Сухарную балку. На самом деле бойцы, которых встретил на пирсе сам командир, имели несколько коротких часов отдышаться, оглядеться, понять, что такое та севастопольская земля, защищать которую им предстояло. Впрочем, над позициями и днем стояла темная мгла от гари и насевшей пыли, так что только и можно было заметить: вокруг много оврагов, заросших мелким, переломанным кустарником, и камень слоями выступает то тут, то там по склонам этих оврагов да иногда чудятся очертания дотов, где их нет, а есть только серые нависшие козырьки известняка и темные, как амбразуры, промоины под ними...

..."Красный Кавказ", высадивший морскую пехоту под командованием полковника Алексея Степановича Потапова, пришвартовался в Северной бухте после полудня двадцать первого декабря 1941 года в самый разгар второго штурма. А в 18.45 сам Потапов был уже в этом домике дорожного мастера, который потом так прочно в истории свяжется с его именем, и слушал первое боевое распоряжение командарма И. Е. Петрова быть в 8.00 готовым атаковать врага.

Здесь было главное направление вражеского удара, и накануне здесь же были взяты в плен немцы, шедшие в атаку без шинелей. Как выяснилось при допросе, шинели у них отобрали перед атакой, обещав вернуть в Севастополе. Там же обещали и праздничный обед.

Таким образом, Манштейн, очевидно, планировал закончить штурм даже не к Новому году, а к сроку, отмечающему шесть месяцев войны. И теперь генерал Петров говорил полковнику Потапову, что немцы после

провала наступления под Москвой, соскучившись без победных реляций, сделают все возможное, "чтоб выполнить график". А его бригаде предстоит совершить невозможное — не только остановить гитлеровцев, но еще отбить у них высоты за Камышловским оврагом. Вернуть позиции, где в предыдущие дни врагу удалось нас потеснить.

А еще командарм перечислил, наверное, такие цифры: убитыми и ранеными за четыре дня штурма с нашей стороны 5 тысяч человек, резервов нет, все введены в бой. У врага выставлено против Севастополя семь дивизий, 900 орудий, 200 самолетов, 150 танков. Плюс бесперебойное снабжение боеприпасами посуху.

В этом же домике, ставшем командным пунктом семьдесят девятой, Петров, так уж получилось, отдавая распоряжения и командиру триста сорок пятой дивизии Гузю, соседу потаповцев слева:

— Этого ни в каком уставе нет, — говорил командующий, еще сильнее, чем всегда, подергивая контуженой головой, — но на ближайшее время примите к исполнению такую схему: от командира роты до бойцов в передовом окопе — сорок шагов, от командира полка — четыреста шагов, ну, а от вас максимум восемьсот-девятьсот...

Но тут надо сказать, что и эти, небывало близкие, шаги были часто условными: подполковнику Гузю в одну из предновогодних ночей по пути все к тому же домику пришлось врукопашную отбиваться от немецких автоматчиков. Что же касается командующего, ему «домик» полюбился особенно, он бывал в нем часто, созывал здесь совещания командиров третьего и четвертого секторов, то есть тех, кто стоял на

Мекензиевых горах и дальше — до моря, и свои знаменитые слова, охотно цитируемые в любом издании, Иван Ефимович Петров произнес именно здесь:

— Дороги назад нет! Я прыгать в море не хочу, но, если придется, прыгнем вместе. Только пусть все помнят: на дне моря сидеть будем, раков кормить будем, но трусливых, малодушных, тех, кто не сумел выстоять, осудим и там беспощадным презрением!.. Нет у нас права не выстоять — нам доверен Севастополь, и о нас помнят!.. Ну, товарищи мои дорогие, от чистого сердца желаю боевой удачи!

Можно представить, что значили эти слова для собравшихся в «домике» в одну из предновогодних ночей. Можно представить, как режущим светом горела карбидная лампа на столе, как нервно протирал пенсне командарм и как все сидели, глядя не друг на друга, а как бы в первую очередь внутрь себя. Сила этих слов, на мой взгляд, увеличивалась еще тем, что сказаны они были не каким-нибудь нуждающимся в накачке подчиненным, а в первую очередь Потапову и Гузю, двумя командирам, чьи части не только закрыли наметившийся прорыв, но и действительно совершили невозможное, взяли назад высоты за Камышловским оврагом.

...Тридцать пять лет прошло с тех пор. Чего я хочу? Услышать голоса, которых нет? Увидеть, как, разбрасывая полы шинели по мерзлой, кочковатой земле, идет в этот дом на шоссе человек с интеллигентным лицом и в пенсне, командарм, наш "дед Иван", как звали его красноармейцы? Услышать, как в «домике» зазвонит телефон: из штаба справятся, доехал ли, не свернул ли по своему обычаю в окопы?

Узенькой змейкой вьется мерзлая пыль, стекает с обочины в овраг, я слежу за ней, и я слышу, как чиркают осколки и пули по штукатурке «домика», я слышу голоса, наполнявшие когда-то стены. Они говорят о разном: о высоком и малом, о том, что составляет трагедию и только тактику, о случаях и событиях. Они смеются над высокопарными приказами немецкого командования, попавшими сюда вместе с пленными, вместе, например, с тем незадачливым «комендантом» Севастополя, который уже был назначен Манштейном и действительно со своей командой попал в город — только под конвоем.

Смеются, рассказывая о том, как взбеленился фон Манштейн, узнав, что оборону против него держит сын обыкновенного сапожника, в высокие чины попавший только благодаря Советской власти; смеются, высчитывая, к какому новому дню барон решит в очередной раз объявить Севастополь «подарком». Ну, к Рождеству? К Новому году? А потом? Какие именины у них там еще идут? Не ко дню же Парижской коммуны?

И это вправду смешно, потому что "Парижская коммуна", кроме всего прочего, — флагманский корабль Черноморского флота. И, придя с Кавказа, линкор бьет по позициям врага, стоя у причала в Южной бухте, то есть, по существу, в центре города.

Тяжело и видимо глазу вырываются из жерл флагмана снаряды главного калибра. Ерзает черепица на крыше «домика», когда шквал огня проносится над ним. А на позициях врага вбивает в камень все живое, рушит, жжет, подавляет мощью.

И все-таки смех по поводу того, что не ко дню же Парижской коммуны, был не веселым смехом, потому что к этим дням из четырех тысяч бойцов семьдесят девятой

в строю осталось 1200, а из девяти с половиной тысяч триста сорок пятой — две тысячи, а направление, на котором стояли эти части, все еще было направлением главного удара противника. Оно играло приблизительно такую же роль, как Малахов курган в первую оборону. И не может быть, чтоб об этом тоже не говорили...

И вот теперь, ровно тридцать пять лет спустя, мы стояли во дворе «домика», и все было до неправдоподобия обыденно вокруг: и молодая женщина в кудряшках, и детское белье на веревке, и диван, за ненадобностью оставленный прежними жильцами прямо посреди двора.

А я почему-то до недавнего считала, что "домика Потапова" теперь нет. И только генерал Ковтун, не раз бывавший в этом домике во время обороны, удивился: "Стоит, как стоял, у самого шоссе. Стоит и все помнит".

Впрочем, возможность помнить относилась скорее к живым, и, пользуясь ею, я вызываю из небытия, из бесплотного шелеста страниц образ другой женщины, давней хозяйки этого дома. О ней говорил журналист Александр Хамадан в своих корреспонденциях из осажденного города. Наверное, она была дочерью довоенного дорожного мастера, кем же еще? Жива ли? Родила ли детей? И что случилось с тем офицером, который сидел с нею на крыльце «домика» весной сорок второго?

Нет, что ни говорите, но и самые высокие смерти на войне совершаются еще и ради самой возможности продолжения простой жизни, такой, какая и нынче течет в "домике".

Тридцатая батарея

Шофер, с которым я побывала в "домике Потапова" и который повез меня дальше, пережил всю войну в Севастополе шустрым, как он говорил, и бесстрашным, как я полагаю, севастопольским мальчишкой. А потом, уже после войны, действительно отбывал на тридцатой, восстановленной или восстанавливаемой к этому времени. В потерны тридцатой же он лазил сразу после освобождения, но сейчас не помнит, где действительно случилось и виденное, где легенды, которые впитало сердце...

Нет, вмятины на стволах огромных орудий они, мальчишки, ощупывали своими руками — это точно, и точно были следы ржавой крови в потерне, где умер комиссар батареи Соловьев. Может быть, конечно, кто-то другой, но все говорили: Соловьев. И еще говорили: культей только что отнятой руки Соловьев ударил о ствол, хотел что-то написать кровью, но сил уже не было.

Помнит, как мальчишки искали выход водостока, по которому пытались уйти "из-под бетона" командир батареи Александер и еще несколько оставшихся в живых.

Остальные воспоминания шли помельче: жители разбитой, разграбленной Любимовки подбирали на батарее снарядные ящики — это была у них и мебель и чемоданы. Из гильз делали ведра, кастрюли, кто-то как будто рассказывал о консервах, которые вроде бы нашли в дальнем отсеке.

И тут мы заговорили о «Доре». О том, что вопрос так и остался открытым: существовала ли эта сверхмощная мортира на самом деле.

С одной стороны, есть снимок: рядом с ее неразорвавшимся снарядом стоит инструктор политотдела по фамилии Калинин. Подпись: "Рост старшего политрука 180 сантиметров, длина снаряда 240 сантиметров". С другой стороны — почему немецкое командование о «Доре» ничего не говорило в своих документах, хотя мортира «Карл» в них отмечалась? С одной стороны — в своих воспоминаниях, красноречиво названных "Утерянные победы", Манштейн о «Доре» вспоминает с подробностями: лафет — высотой с трехэтажный дом, только ствол везли на трех специальных железнодорожных платформах. С другой — кто не знает, что Манштейн умеет и соврать?

И все-таки, наверное, «Дора» действительно по приказу самого Гитлера была привезена под Севастополь для поединка с тридцатой.

Тридцатая была одной из тех батарей, что своим огнем остановила в ноябре бросок немцев к Севастополю. Иные зарубежные историки и по сей день сваливают неудачу на усталость армии и беззаботность командования, так же, впрочем, как провал наступления под Москвой списывают за счет небывалых морозов...

...Между тем, когда еще не подошла к городу Приморская армия, когда еще седьмая бригада морской пехоты с боями пробивалась в Севастополь, когда в одном из кавказских портов грузилась на крейсера восьмая — батареи уже сражались.

...Стояло раннее утро 31 октября, и первая немецкая автоколонна, довольно небрежно замаскированная,

ползла по шоссе... Корректировщики тридцатой лежали в кустах, далеко от своей батареи и так близко к дороге, что до них долетал не только натужный шум немецких моторов, но и запах бензинного перегара. Как только от них поступил сигнал, на батарее заработали механические транспортеры, подавая фугасные снаряды. Краснофлотец Пономаренко успел написать мелом на одном из них: "Смерть презренным фашистам!" Потом бывали и другие надписи: "Это вам, подлецы, за смерть боевых друзей", "Гитлеру все равно конец!", просто: "Держите!" — и трудно объяснить словами, почему сердце требовало этих безмолвных выкриков, но оно требовало...

Батарея стреляла по железнодорожному пути и вокзалу в Бахчисарае, в стереотрубу корректировщикам ясно было видно: снаряды разметали пути, попали в паровоз, в несколько вагонов, которые стали гореть, неестественно желтым пламенем — в них везли боеприпасы. И корректировщики если не с ужасом, то, во всяком случае, с почтительным изумлением смотрели на результаты работы своей тридцатой.

В те же дни тридцатая громила немецкие составы на станции Бюк-Сюрень, которая теперь мирно и нежно называется Сиренью, помогала отбиться от врага маленькой батарее лейтенанта Заики. У батареи было много работы: еще не подошла артиллерия Приморской, мало было кораблей, способных вести огонь на дальние дистанции. Во время декабрьского штурма фронт постепенно приближался к тридцатой. Прорвались к батарее немецкие танки, было занято Братское кладбище, фашисты залегли в домиках Казарменного городка...

...Немцы называли тридцатую так: форт "Максим Горький-1". Фортом "Максим Горький-2" для них была тридцать пятая береговая, такой же мощности, только стоявшая на мысе Херсонес. Но наши, прислушиваясь к громовым рыкам залпов, говорили иногда по-домашнему: "У Сони сегодня стреляют". "У Сони" — потому что рядом лежали земли совхоза имени Софьи Перовской.

Но «Соня» ли, "Максим ли Горький-1" — сражались с «Дорой» с вызывающим недоумением упорством. О чем, наверное, писалось в тогдашних немецких письмах, как и в позднейших мемуарах. Сколько же, оказывается, надо пороху и тола, чтоб подавить русских, засевших под своим бетоном! Но — погодите! — и бетон дает трещины, и мы посмотрим, как будут выглядеть большевики голенькими.

И «Дора» садила и садила по тридцатой. А штурм ее Манштейн с неисправимой пунктуальностью назначил на 17 июня. Немцы поставили против тридцатой почти целую дивизию, за сутки выпустили по ней до двух тысяч снарядов и мин, стремясь подавить внешние огневые точки и тогда уже подойти к батарее вплотную.

Утром семнадцатого на батарее оставалось еще двадцать пулеметов, да десять захватили с собой отступившие сюда части Приморской армии. Кроме того, действовало еще два орудия малого калибра — не главные стволы, а «стволики», как их здесь называли.

Из орудий главного калибра уцелело два ствола, но почти не было боеприпасов. В ход пошли учебные болванки, а потом стали стрелять холостыми, и эти холостые выстрелы струей пороховых газов поражали врага на расстоянии трехсот метров. Но скоро кончились и холостые...

Немцы подняли над батареей в знак своего торжества большие флаги со свастикой. Несколько флагов — у командной рубки, над башнями, у входа под массив. Поединок их с тридцатой вроде бы закончился. Предстояло только газами, толком, дымовыми шашками выкурить из-под бетона последних защитников. И, если повезет, взять живым командира этого форта Александра. Поединок с ним германского вермахта как бы продолжался и после гибели тридцатой. Группе Александра не удалось прорваться к партизанам, он был взят в плен.

— Ну, какой же вы русский! — говорил ему немецкий офицер при допросе. — У вас-то и фамилия немецкая или шведская — Александер!

— Дело не в фамилии. Я родился в России, отец мой был русским и дед. Я из военной семьи, три моих брата и сейчас воюют против вас...

Этот диалог можно бы и продолжить, но кто поручится за его точность? Достоверно только то, что имя Александра фашистам нужно было не меньше его военных знаний. Какой бы козырь оказался у них в руках: сам командир непобедимого форта "Максим Горький" работает на вермахт.

— Ваша смерть в случае отказа будет ужасна. Кроме того, это будет безымянная смерть, даже тело ваше затеряется среди сотен таких же. Подумайте, — внушали Александеру. — А у нас вас оценят высоко.

Александер молчал или отрицательно поводил окровавленной головой — какая разница? Тело его действительно не нашли, а был он молодым, с той щегольской подтянутостью, которая отличает потомственных военных, особенно флотских. Что же

касается имени его, то севастопольские мальчишки не всегда говорят: тридцатая, но очень часто: батарея Александера. Особенно если это бывшие мальчишки, вроде моего спутника.

Совершенно секретно

Тощий вещмешок Мисюры, вместе с двумя другими, стоял на вытопанной траве под дубком, росшим у штабной землянки. Как было условлено, Махнева, Талышева и Мисюру перед самым выходом на задание вызвал к себе командир, и таким образом пакет, обернутый куском аптечной клеенки, удалось всунуть под Мисюровы пожитки незаметно. Времени же на то, чтоб перетряхивать свой скарб, у предателя уже не оставалось.

Времени было в обрез, они спешили к шоссе с заданием, о котором Махневу с Талышевым и Мисюре было известно разное. Мисюра считал его рядовым выходом на диверсию, приуроченным, может быть, к тому, чтоб проверить его в деле. О том, что он раскрыт, Мисюра не знал, хотя и чувствовал себя в отряде неуютно. Выход в Алушту его тоже не радовал: возвращаться к немцам с пустыми руками он не мог, а рисковать лишний раз своей шкурой, которую могли продырявить в любой перестрелке, с какой это радости?

Разно думали о задании три человека, пробиравшихся по ночному душному лесу лета тысяча девятьсот сорок второго. Разно думали они и о всей жизни вообще и, в частности, о Севастополе, к третьему штурму которого готовился в это время враг. Махнев и Талышев, знавшие истинный замысел задания, наверное,

думали, что город держится еще и потому, что помогают партизаны.

Мисюра о Севастополе вряд ли думал. А если и думал, то только в том смысле, что так или иначе Севастополь будет взят, и начнется настоящая жизнь: со своей землей, своими конями и без страха. Хотя — нет, со страхом, пожалуй, не удастся распрощаться до конца войны. А может, и после конца ее будет мерещиться за каждым углом партизанская барашковая шапка?

Мисюра повел лопатками, как на сквозняке, отгоняя от себя ненужные мысли. Что будет потом, то будет. А сейчас надо выжить. И надо еще выслужить ту землю, которая ему снится ночами.

...О том, что день назад в партизанский лес прилетел самолет, Мисюра знал. Но не знал о том, что самолет доставил в штаб два пакета. И что один, с грифом "совершенно секретно", был спрятан на дне его вещмешка и сейчас лежал там, завернутый в кусок аптечной клеенки...

Летние ночи коротки, и к рассвету едва дошли до шоссе. Вот оно с вырубленными вдоль бровки деревьями, так что незамеченным к самому асфальту не подползешь. Вот оно с предупреждающими визгливыми надписями: "Внимание! Партизаны!" "На поворотах обстреляй кусты!" Вот оно с патрулями на мотоциклах, блестящее от утренней обильной росы...

Ночью по шоссе движения нет. Манштейн вынужден был запретить его в целях сохранения живой силы и техники. И еще он отдал приказ, чтоб машины и румынские каруцы двигались по шоссе целыми караванами и ни в коем случае не в одиночку.

Много лет спустя в своих воспоминаниях бывший командующий фашистскими войсками на полуострове напишет, что партизаны стали реальной угрозой с момента захвата Крыма. Что даже днем партизаны нападали на мелкие подразделения или одиночные машинные, а ночью одиночная машина не смела показаться на дороге.

Но до конца войны еще далеко. Еще тяжело, из последних сил обороняется Севастополь, еще уверены в своей скорой победе мотоциклисты-патрульные, промчавшиеся по шоссе в ранних лучах ясного солнца, еще Мисюра мечтает о той жизни, в которой слово «мое» станет главным словом. В этой жизни его, Мисюру, наконец-то перестанут пугать и начнут бояться. Уж он зажмет их в кулак до писка, до юшки, того же Талышева, того же Махнева или, во всяком случае, им подобных.

Мисюра тяжело повел шеей вправо-влево, посмотрел на Махнева, на Талышева, деловито шагавших рядом, усмехнулся внутри себя, не выпуская улыбку на губы. Нет, кому-кому, а этим двум жизни он не оставит. Талышев ему особенно не нравился: до черноты обветренные, молодые щеки его играли желваками, светлые глаза с точечными зрачками были злы и спокойны. Талышев прислушивался к дальнему, натужному вою машин, поднимавшихся на перевал...

Через несколько минут фашистские машины были уже напротив тех кустов, где они сидели в засаде, и Талышев с Махневым ринулись на шоссе, увлекая с собой Мисюру, так, будто решили ввязаться в бой, будто бой этот для них был важен...

Партизанская ли, фашистская ли пуля догнала Мисюру? Об этом уже никто не узнает...

...Пакет с грифом "совершенно секретно" лежал на столе у Манштейна. Среди бумаг, аккуратно завернутых в клеенку, были бесспорные свидетельства того, что наши ждут подкрепления в виде десанта на Ай-Петри и в районе Ялты...

У немцев не осталось ни малейшего сомнения в подлинности документов. Возможно, опознав своего агента, они решили, что Мисюре удалось выкрасть ценный пакет, что он нес его им, да не сумел донести...

Как бы то ни было, а армейские разведчики в тот же день отметили передвижение немецких войск, явно навязанное пакетом с грифом "совершенно секретно". Противник был вынужден сделать переброску в районы, куда, собственно, и «приглашал» его подложенный в вещмешок Мисюре приказ.

История эта, описанная не в одной книжке о партизанском движении в Крыму, была мне известна давно. Однако оставалась какой-то отвлеченной, не наполненной ни характерами, ни приметам. Но недавно узнаю: придумал ход с пакетом не то Иван Ефимович Петров, не то начальник штаба Крылов. А непосредственно осуществлял операцию Андрей Игнатьевич Ковтун. Со стороны же партизан — Георгий Леонидович Северский, командовавший в это время силами третьего партизанского района.

И что интересно: только через много лет после войны на одной из военно-исторических конференций в Симферополе Ковтун спросил у сидящего рядом партизана: не слышал ли тот случайно об операции с пакетом под грифом "совершенно секретно"?

— А как же? — ответил партизан. — Конечно, слышал. И даже сам имел к нему отношение.

Партизан этот оказался Махневым. Потом Ковтун познакомился с Северским и Талышевым. А еще через некоторое время, прочтя мемуары Манштейна, генерал Ковтун имел удовольствие поделиться с товарищами новостью: фельдмаршал признался, что единственный раз за всю войну попался на удочку именно тогда, в сорок втором, что был «мистифицирован» у стен Севастополя.

Для меня в этой истории есть одна особая черточка: я хорошо знаю всех ее участников, особенно Ковтуна и Северского. И когда встречаю их на улице, когда советуюсь с ними по тому или иному вопросу, каждый раз, будто вновь начинаю удивляться, что это сегодня совсем вроде бы штатские люди, как и я занимающиеся литературой, не только были солдатами войны, как многие были, но и ее командующими, диктующими ей повороты.

Большой прочес

Надо еще учесть, какое состояние было у них после падения Севастополя, после того, как на третий день немцы устроили в городе парад. Это угнетало сильнее голода и страшной жажды в сухом, со всех сторон обложенном карателями лесу лета тысяча девятьсот сорок второго.

Теперь Манштейн должен был взяться за них, освободить свои тылы от «бандитов», которые девять месяцев сковывали его, Манштейна, одиннадцатую армию, были глазами, ушами осажденного города, вели рельсовую войну, подрывая немецкие составы, машины,

даже штабы, и вообще заставляли жить с унижительной оглядкой...

Как начнется «прочее»? Откуда, когда? Первое, что стало известно, — пойдут от Севастополя через Бельбекскую долину. Много позже узнали: пойти должно было — и пошло — двадцать две тысячи, тремя волнами, вторая на расстоянии пятисот-семисот метров от первой, развернутым фронтом, локоть к локтю, загоняя в «мешок» под Чатыр-Дагом. Пленных велено было не брать.

А партизан, способных вести активную борьбу, оставалось, кто считает — около тысячи, кто — всего пятьсот человек. Это зависит от того, как понимать: "способных вести..." Все были истощены, многие ранены.

Решать, что делать, предстояло среди других Георгию Леонидовичу Северскому, и до сих пор он помнит длинные и в то же время катастрофически малые минуты, когда никакое приемлемое решение не приходило в голову.

В конце концов, заминировали палатки штаба третьего района, оставили боевую группу Леонида Вихмана, пошли в сторону хребта Хейролан. Шли, подвязав все, что могло брякнуть, звякнуть. Нельзя было дышать. И вот что непостижимо — даже дети двигались, как тени, без звука. Кстати говоря, на сравнении "как тени" стоит остановиться, сказать, что немцы, обожавшие кодовые названия, окрестили эту операция "Schwarz Schatten" — "Черная тень". Черная тень, которая должна опуститься над лесом...

Пока что над лесом опустилась южная звездная ночь. А внизу, в долинах, усиленные всплеском ракет, зажглись сотни огней: костры немецких привалов. Одни

считают, что немцы световыми этими эффектами подбадривали себя. Другие — что демонстрировали неуязвимость. Было, очевидно, и то, и то. Очувившись в партизанском лесу, хоть и после падения Севастополя, они были совсем не так беззаботны, как им хотелось.

Но как пахло от тех костров едой! Мясной, сытной пищей. Этот запах всем врезался в память, как величайшее оскорбление. Тем более, что продовольственный запас бахчисарайцев, например, целиком умещался в противогазной сумке Миши Самойленко, помощника командира отряда по разведке. Миша, наклонив черную кудрявую голову, резал вяленое мясо маленькими кусочками в толщину пальца. Приложит палец, как мерку, и режет: получайте, может быть, последнюю в жизни еду.

Так многие и считали: может быть последнюю. А выход искать надо было командирам: Георгию Северскому, Михаилу Македонскому, Христофору Чусси, комиссару Никанорову. Выход в буквальном смысле слова: проход, прореху в цепи, куда можно нырнуть. Коридор, через который в течение двух, ну, пяти минут бесшумно ринутся полтысячи человек и окажутся уже за спиной первой цепи, то есть между первой и второй, и пойдут в их же направлении, невидимо возвращаясь на место ночевки. И дальше так будут идти по лесу, став тенью тени...

Как ни странно, проскочить решили не ночью. Ночью еще рискованнее: можно зашуметь, споткнувшись наступить на гнилой сучок, съехать по откосу. А на рассвете, когда немцев разморило от долгого ожидания зари, как одно сплошное минутное дуновение ринулись вниз по лобовому склону Хейролана, который немцы

обтекали с боков, поднимаясь на плоскогорье... Все! Свершилось!

И дальше сумели. Но тут надо вернуться к штабным палаткам, где оставался Леонид Вихман. Немцы подошли и бросились к этим далеко видимым палаткам из парашютного шелка. Тут же раздались взрывы, потом выстрелы, а через минуту можно было наблюдать картину полной паники. Самую сладкую партизанскому глазу картину, когда в одно мгновение стройная цепь хорошо натренированных убийц превращалась в вопящее, бросающее оружие, сталкивающееся лбами месиво.

"Партизанен! Партизанен!" — кто слышал этот крик, мог точно понять себе цену. И цена была не малая, если такой ужас звучал в вопле: "Партизанен! Партизанен!" А ведь не случайно попавший в лес вопил, а кто-то из двадцати двух тысяч, подкрепленных минометами, пушками, танкетками, авиацией, чувством собственной безнаказанности.

Среди тех, кто взлетел на партизанских минах, был немецкий подполковник, планшетку его сняли с сосны, а в ней оказались карты, схемы с план подробно разработанной операции.

"Первой группе стрелков совместно с 18-й пехотной дивизией с северного направления и второй группе горных стрелков южного направления прибыть в зону расположения партизан к 12/VII после полудня.

Для проведения прочеса приказываю:

...В первой колонне участвуют 23-й батальон горных стрелков, 3-й батальон горных стрелков... В каждом батальоне иметь 35 пулеметчиков".

К плану была приложена инструкция, как допрашивать, как расстреливать, чем вооружаться, начиная с компасов, рюкзаков, ракет, сухого калорийного пайка, кончая специальными знаниями, какими обладают обычно бывшие лесники, пастухи, охотники всех рангов и сословий.

Трудно переоценить значение этого документа для партизан, тем более, что в нем скрупулезно были указаны маршруты и с точностью до минут обозначено, в какое время на какой поляне или вершине должна появиться та или иная часть. Одним словом, все предусмотрели, все расписали и даже заранее оповестили население Крыма по радио: "Ждите: через пять дней жизнь на полуострове нормализуется. С «бандитами» будет покончено".

Надо сказать, что несколько раз, оторвавшись от преследователей, партизаны тоже слушали юлящий, противный до судороги в челюстях "Голос Крыма".

— Вот брешет, вот брешет, — удивленно наклонился над рацией бедовый парень Николай Гордиенко. — О, чуете? Аж на лапах приседает перед хозяином.

— Окружили нас, значит, гранатами забросали и, как звать, забыли, — Митя Аверьянов тоже говорил удивленно, но неторопливо, будто прислушиваясь. — Подрастерялся парень, если на такую липу пошел...

"Парень" — это в понимании Мити был сам Манштейн, очевидно и в действительности обескураженный результатами «прочеса», который первоначально представлялся ему чем-то вроде успешной прогулки. Во всяком случае, после боев под

Севастополем карательный марш по свежему воздуху и зеленому лесу мог бы выглядеть именно так, и вот...

Самойленко тоже слушал радио, кривил запекшиеся губы, но считал: лучше агитации в нашу пользу не придумаешь. Чего стоит немецкая похвальба — в этом они сами расписались. А «Голос» юлил между тем, перечисляя якобы отбитые обозы, толпы идущих в плен, и опять заверял: мирное население может чувствовать себя в безопасности...

— Наши, значит, отцы, сестры, дети, — он покосился на ухмылку Николая, на его поднятый, требующий тишины палец, — могут теперь, говорю, спать спокойно: и ты, Гордиенко, убитый, и я.

Гордиенко кивнул пальцем, ближе наклонился к коробке приемника:

— Ничего, воскреснем, не журишь, Миша! Ишь, собака: сто тридцать убитых под Абдугой насчитал, а там и одного не было...

...На пятый день точно в назначенный час «прочес» заканчивался. Пели немецкие рожки, спускались в долину танкетки, шли несколько поутратившие самоуверенность пешие и конные части. Все пункты встречи, все часы были соблюдены с возможной скрупулезностью, но что-то покатило не по правилам...

Ах, это "не по правилам!" Как выбивало оно из колен привыкших главным считать слово «порядок». Порядок, безапелляционно установленный на захваченной земле: "За невыполнение — расстрел"! Порядок, предусмотрительно расчертивший лес на клеточки и все-таки не обеспечивший успеха "Черной тени".

Партизаны смотрели на немцев сверху. На всю эту стройную кутерьму сборов и понимали: остались жить. Вернее, остались живой, боеспособной воинской единицей. Впереди были новые испытания, очевидно, не менее жестокие, а теперь надо было только перейти дорогу, идущую через Бешуй на Алушту.

Выбрали минуту, ринулись одним духом на косогор из редколесья. Ноги уже разбежались по сухой траве, как вдруг из-за поворота показался конный взвод румын. Партизаны оцепенели: еще бы! Один призывный выстрел, и сюда ринется вся техника, вся двадцатитысячная сытая сила.

Но и румыны понимали: если выстрелят, через пять минут от взвода ничего не останется. А может быть, им к тому же надоело воевать за интересы "арийцев"?

Вспоминают: Македонский окликнул пленного румына по фамилии Апостолов, по имени Тома:

— Томка, переведи им: будут молчать, мы их не тронем.

И румыны ответили:

— Благодарим за великодушие.

Но иные утверждают: разминулись безмолвно, в сухой, напряженной тишине, перевели дыхание, когда офицер отпустил шенкеля, послал лошадь вперед.

О доброте

Сначала Михаил Федорович Самойленко рассказывал о хорошем повороте под Приятным Свиданием. Там достаточно было двух шашек тола, чтобы пустить под откос целый состав. И, главное,

шашки маленькие, а каша получается из платформ с орудиями, вагонов с боеприпасами — хоть три дня растаскивай. Очень хороший был поворот, и говорить нечего...

Но потом от поворота, от взрывов, которые хоть как-то помогали Севастополю, мы вернулись в разговоре к декабрю сорок первого, Самойленко вспомнил операцию в Шурах. И тут я не в первый раз, слушая его, стала думать о доброте, отвлеклась от тактической задачи. Может быть, потому, что сам Самойленко сказал о ней быстро: в тот раз операция в Шурах прошла удачно, только он сейчас не помнит точно, не то одиннадцать машин они уничтожили и девять офицеров-карателей, не то, наоборот, девять машин. А потом надо было возвращаться в лагерь, снова переходить вброд декабрьскую Качу.

— Вода в ней была такая, сердце заходило, — вот так, — Михаил Федорович сжал кулак, да еще пригнул его книзу и вдруг посмотрел на меня выцветшими удивленными глазами, будто это не он мне, а я ему рассказывала о том, что даже кони пали в том походе, а люди выдержали, перегрузили на себя пулеметы — пошли...

Правда, когда поднимались с последнего привала, двое не смогли. Но он им влил в рот из фляжки спирта, ничего — встали. Точно так же и на следующий год летом, после падения Севастополя, после "генерального прочеса" не смогли они добраться до своих баз на горе Черной — оцепенели от усталости. Сидели, привалившись к горячему сухому откосу — даже злости не было, только в ушах звенело, как будто тоненько и страшно пел им отходную веселый немецкий рожок на

земляничной поляне... Потом двое или трое поднялись все-таки к соснам, где в тайниках оставалось немного мяса, принесли остальным. Он его опять резал на тонкие ломти, и опять встали — молодые...

Это теперь болят давно зарубцевавшиеся раны, убивают забытые контузии, так что и не хочется перебирать старые фотографии: того нет, того нет, этот никогда уже не приедет погреться на судакском пляже. И самый любимый друг, бывший командир соединения Михаил Андреевич Македонский, тоже не приедет, не спросит, глядя на праздничные горы:

— Миша, а помнишь, как в сорок первом мы голодали и мерзли, как нас в Лаках принимали?

Все, кто жив, помнят, как их принимали в Лаках. А у него, у Самойленко, до сих пор во рту вкус той горячей картошки. И как сейчас он помнит: с огурцом была картошка и грела не только обмороженные пальцы, тощие животы. Главное заключалось в том, что картошку эту жители Лак отрывали от себя, от детей.

Главный смысл заключался в том, что каждого, кто варил для партизан картошку или узвар из черных, пахнущих дымом груш, немцы могли расстрелять тут же у порога.

В Лаках их не только кормили, в лесной этой деревушке можно было обогреться, высушить обувь, выспаться в кровати, пока хозяин ее маячит неясной тенью в предрассветном тумане, сторожит, не появятся ли на лесной дороге каратели. Не было людей лучше тех, что жили в Лаках, нет, не было... А насчет румына Томки Апостолова, так тут все сложилось очень просто.

Бывший председатель колхоза в Лаках Володя Лели попросил:

— Только не в себе берите «языка». Только не в селе, сам понимаешь, Миша, спалют они нас. А так ходит тут один шустрый румын, везде, говорит, побывал.

— Договорились...

Для того чтобы выманить шустро́го румына из села, придумали, будто должен он помочь председателю вернуть от соседей какую-то незаконно угнанную подводу, а дальше разыграно все было, как по нотам. Румын и пикнуть не успел, не то, что выстрелить. Хотя, сказать по правде, этому румыну стрелять и не хотелось. Во всяком случае, он так заявил, когда на обратном пути в лагерь на привале у костра разговорились. Разговор шел не жесткий, румын чистил картошку, рассказывал о доме. Когда картошка поспела, он не то чтобы отказался от еды, а сказал: с господином офицером есть из одного котелка не может — рядовой... Разумеется, ему быстренько объяснили, что Самойленко, хотя и офицер, но не господин, а товарищ. Разговорчивый румын, я думаю, знал разницу между этими понятиями и раньше, но по-настоящему, надо сказать, почувствовал ее, когда через полчаса после привала переходили вброд все ту же ледяную Качу. Шли, держа над головами одежду, автоматы, согреваясь, прыгали на том берегу, а румына свело всего. Тощее тело его посинело и как-то клонилось набок, на мелком мальчишеском лице отчетливо проступал ужас. Не перед Самойленко, нет, перед тем, что живым он из этой передряги не выйдет, вот сейчас, сию минуту окоченеет.

Самойленко принялся тереть румына концом собственной шинели, потом нагрузил его картошкой, автоматом, бегом погнал в гору, разогнал ему кровь.

Румын Тома Апостолов прижился в отряде Македонского, мерз, голодал, ходил на задания наравне со всеми и очень был полезен, когда в лицах, играя глазами и голодными складками вокруг рта, объяснял пленным соотечественникам разницу между господином и «туарищем». Томку любили за безотказность и незлобливость, но рассказать все-таки я хотела не о его доброте...

А о доброте того, молодого и красивого, у которого под вьющейся шапкой волос лицо было когда-то как будто точно и вдохновенно вырезано резцом. Да еще, в придачу к такому лицу, наделила природа его легким голосом. И сейчас еще помнят партизаны голос Миши Самойленко, отлетающий, казалось, к самым звездам: "Ніч яка, господи, місячна, зоряна".

Почему это доброта красивого и молодого ценится выше, чем доброта деда? Не знаю, почему, но со мной всегда так. А дед, вот он, сидит, на веранде судакского своего дома шевелит фотографии на столе, рассказывает о боевых товарищах.

Двадцать шесть раненых было в отряде, когда немцы захватили лагерь и сложили штабелями попеременно: слой дров, слой людей — и сожгли. Самойленко молча смотрит на меня, поняла ли, потом наклоняется и тихо добавляет одно слово: живых. Я знаю, что живых, но я не так знаю, как он, видевший их лица, руки, движения, а потом обгорелые тела. И о Лаках он мне тоже рассказывает, о сожженных и расстрелянных там, и снова о той картошке с солеными огурцами, вкус

которой он до сих пор помнит. Вкус и тепло, когда перекатываешь из ладони в ладонь, не то что греешься — дышишь ею... Золотой был человек Володя Лели, бывший председатель, и все люди в Лаках жили золотые... За что Лаки и спалили каратели еще в первую военную зиму, так же, как спалили они Чаир и другие села, помогавшие партизанам.

...Что же касается Тома Апостолова, то я хочу сказать о нем еще вот что. Конец сорок второго и половину сорок третьего он провел в лесу, а потом был вывезен на Большую землю. И, улетаая, снял с себя плащ-палатку: "Мне не надо — Самойленко пригодится". Когда Михаилу Федоровичу передали туго скатанный сверток, он растрогался до слез.

Но, может, это сейчас, кажется — до слез? Сейчас, когда слезы близко? Тогда же просто отметилось: "Молодец Томка, помнит", и мысли ушли к другому — надо было организовывать новый этап партизанской войны...

Однако в мирное время им, Самойленко и Апостолову, суждено было еще встречаться, и одна встреча получилась с чисто юмористическим уклоном. Впрочем, многие случаи с Томкой отдавали юмором, во всяком случае, в позднейшем изложении. Самойленко в тот раз приехал в Симферополь из «Коктебеля», совхоза, где работал вместе с Македонским. По штатному расписанию должность Самойленко числилась: освобожденный секретарь партийной организации, но по старой привычке ему больше нравилось — комиссар. А Македонский и там оставался командиром — директором.

В Симферополе на главной улице, основательно по тем временам загроможденной будками, ларьками,

фанерными шаткими закутками, увидел Самойленко в одном из таких закутков Тому.

— Ты что тут делаешь?

— Красоту делаем, — парикмахер Тома, осклабясь, пощелкал ножницами перед самым носом у Самойленко. — Садись, я быстро.

— От какой артели? От себя самого? Сам себе артель? Да чтоб я тебя через пять минут здесь не видел — ишь обрадовался! Инициативу завел, партизанскую честь позоришь? Артель ему, видишь, не нужна!

Самойленко для убедительности потряс кулаком перед самым носом озадаченного Тома. Впрочем, так ли уж был тот озадачен? Уроки политграмоты в лесу он получил основательные.

...А постричься Самойленко все-таки постригся тогда у своего крестника. Черные, такие черные, что сейчас не верится, молодыми, тугими кольцами, вились тогда волосы у Самойленко...

Мои знакомые

Под обелиском, в парке возле Набережной, кроме расстрелянных членов первого Советского правительства в Крыму, похоронен был и наш, алуштинский, большевик Тимофей Багликов, убитый за непоколебимость большевистских убеждений. В моем детском представлении герой спал в могиле не в своем суконном пиджаке и косоворотке, а в нетленном шлеме со звездой и высоких солдатских обмотках, гораздо более похожий на героя романтического, скажем, на того же Метелицу, чем был на самом деле. А рядом, недалеко от нас, до обидного буднично жила семья героя: женщины этой

семьи вместе со всеми нами стояли в очереди за картошкой, а один из сыновей, Николай Тимофеевич, перед войной стал директором санатория «Металлист», где работала моя мама.

Началась оккупация. Мы уехали из Алушты в декабре, а после войны вернулись. Рядом с обелиском у моря стояли фанерные пирамидки над свежими могилами. В одной из могил лежал Николай Багликов, сын Тимофея. Он ушел в партизаны и погиб в бою.

И не один он из моих знакомых, из тех, кто жил рядом в городе, погиб во время войны, пал смертью храбрых. Их именами в Алуште названы улицы: Горбачевой, Снежковой, Глазкрицкого. После долгой отлучки бывает странно проходить по ним, кажется: вон за тем углом, ну, в крайнем случае, за тем, встретишь женщину с узким сосредоточенным лицом. Она, замедлив шаг, будет рыться в черной сумочке, наверное, проверяя, не забыла ли ключи...

А женщины той нет — ее повесили осенью 1941 года.

Я помню слухи тех дней: они ползли от дома к дому, и все замирали, услышав очередное имя. Мария Яковлевна Горбачева была врачом, ее знали многие. О ней с первых дней говорили, что она ушла в лес. А теперь вот вернулась с заданием, ее схватили, пытаются. Не в одной семье, наверное, в эти дни сидели, глядя в огонь, вздрагивая согнутыми плечами, когда как будто долетал дальний крик...

Повесили Горбачеву в конце Набережной, возле волейбольной площадки. А место было одним из самых веселых в довоенной Алуште, там гулко ухали мячи, и

алуштинские парни, подпрыгивая над сеткой, железными ладонями «гасили» мячи.

Я его таким веселым и вспоминаю, это место возле курортной поликлиники. Иногда только мелькнет: пустая, разоренная Набережная, а вдали черточка ниже горизонтальной ветки большого дерева. Ближе подойти увидеть, что не черточка — человек висит, сил не было.

...Нина Константиновна Снежкова преподавала у нас историю. Маленькая, седая, легкая в ходьбе, она почему-то зимой вместо чулок носила детские черные носки, что нас очень занимало. А еще больше занимали нас рассказы о том, как Нина Константиновна, имея своих детей, еще нескольких усыновила в разруху, а потом в тридцатые годы, когда опять был голод, сказала своим:

— Вам легче пойти в детдом, вы не можете подумать, что я от вас отказываюсь. А они могут.

Когда началась война, Нина Константиновна ушла в лес партизанить и погибла первой же осенью. Но я о ней еще слышала. А может быть, придумала: сама себя уговорила, что именно о ней кричали вернувшиеся с «прочеса» каратели у нас во дворе. Они в себя не могли прийти от увиденного в лесу. "Мамка-партизан! Мамка-партизан!" — вопил один румын, подбегая к нам, заглядывая в лица: ждал, наверное, объяснения, как же так: седая, маленькая, по пояс в снегу, отходила, прикрывая других, стреляла, так и не сдалась!

...А третьим моим знакомым, чьим именем названа улица, был дядя Миша Глазкрицкий. До войны он работал директором санатория в Рабочем уголке и главным своим партизанским заданием, главной своей удачей тоже был связан с Рабочим уголком. Там он

разведал местоположение немецкого пульта, управляющего большими прожекторами, собранными где-то на склонах так называемой Миндальной горки. Долго еще и после войны было видно, как укреплена эта горка; там, в траве во много рядов вилась колючая проволока, валялись огромные, слоновой шершавости глыбы взорванных укреплений. И было непонятно, как удалось совсем не молодому дяде Мише обмануть бдительность часовых, проползти в зону чуть ли не под самыми их ногами, пока они накидывали дождевики. Не вязалось, что глыбы эти взлетели в воздух, потому что именно дядя Миша указал нашим самолетам, где бомбить. Тот самый дядя Миша, который до войны подходил к нам с мамой, спрашивал у меня однообразно, как спрашивают у маленьких:

— Отца помнишь? Зачем хмуришься? Отец веселый был...

Приблизительно такие же слова мне в городе часто говорили. Шеф-повар того санатория, где работала мама, дядя Яша Берелидзе, например, угощая казенный булочкой, смеялся:

— Длинная, как отец, кушать надо, мясо растить. Нет мяса, силы не будет, одни сопли. Поняла, дочка?

Дядя Яша в партизанском отряде был пулеметчиком. И очень скоро в Алуште появилась немецкая афишка, подписанная комендантом: "В окрестных лесах скрывается бандит-партизан Берелидзе. Кто доставит его к нам живым, получит вознаграждение десять тысяч рейхсмарок, а мертвым — пять тысяч".

Говорят, читая это объявление, дядя Яша неодобрительно качал головой: "Плохая цена. Я ему такую окрошку под Кастелью приготовил, а он скупится".

Под горой Кагель дядя Яша подорвал немецкий автобус, полный высоких штабных чинов... Таких высоких, что о них впоследствии в своих мемуарах скорбел Манштейн...

Сразу после войны, когда я вспоминала этих людей, мне легко было связать их со своим детством, например, с веселым гомоном «Поплавка», где ели чебуреки и слушали, как шуршащий круг пластинки просит: "Скажите, девушки, подружке вашей...", а вот к тому, что они герои, я привыкала трудней. Они были знакомые, герои же, в представлении нашем, живут где-то отдельно, на другой, не этой, заросшей одуванчиками улице.

"Муся"

Был случай: немецкий жандарм в Симферополе на улице, на мосту обыскивал женщину. Он ее обыскивал, а она поворачивалась, охотно подняв руки, улыбаясь. Зубы у нее блестели, по щекам спускались длинные темные локоны, глаза сверкали огненно. Она любила кокетничать и фотографироваться. По этим фотографиям мы сейчас точно знаем, какая она была. А, кроме того, в Симферополе живет еще не так-то мало из тех, кто учился, работал или был во время войны в одной подпольной организации вместе с нею, с "Мусей".

В тот раз, на мосту, в руке у нее была авоська. Она ее поднимала легко, на пальчиках, вертела перед носом жандарма. В авоське, между картошкой и луком, лежали мины. Из тех, что потом взрывали немецкие составы на пути следования от Симферополя до Перекопа. И дальше, конечно, тоже, если не успевали на территории, где взрыв можно было учесть. Об учтенных взрывах «Муся» писала донесения в лес, — вроде вот этого,

помещенного в сборнике документов о Крыме в годы Великой Отечественной войны:

"19 декабря 1943 г.

Здравствуйте, т. Семен. Обижены отсутствием магниток — 4 магнитки и 3 взрывателя — капля в море! Немцы пустились на хитрость и формируют состав так: 4 вагона полных, 4 пустых, 4 полных, 4 пустых... Для одного состава нужны 3–4 магнитные мины. Один состав готов — снаряды рвались — любо смотреть. Подробности следующей почтой. Шлите! Шлите побольше мин" — и подпись мужская — "Вася".

Но «Вася» и «Муся» — одно и то же лицо: Александра Андреевна Волошина, женщина средних лет, типичная интеллигентка, краевед-экскурсовод. Наконец, учительница географии десятой средней школы, с довольно неподходящим прозвищем «Балерина». К чему — неподходящим? К ее подпольной, мужской, серьезной, даже трагической деятельности?

Но ведь деятельность эта вся была в будущем, и о ней ученики не могли догадаться. А к самой Александре Андреевне «Балерина» вполне подходило. Не только потому, что она была легка и у доски любила становиться на цыпочки. В ранней молодости Александра Андреевна несколько лет занималась балетом, выступала на сцене, и не без успеха.

Вот передо мной фотографии: в классической пачке, в легком наряде Заремы, в тунике, но на всех не просто по-балетному гибкая и красивая — все фотографии не просто констатируют, а излучают такую жажду жизни, так кричат об этой жажде — сердце вздрагивает.

Кроме этих фотографий, мирные, семейные: вот мать, мама, мамуся сидит в кресле с кошкой на коленях, вот она рядом с отцом, вот на веранде, наспех накинута на волосы белая накидка. Только что вымыла голову, а сыну захотелось сделать снимок, чтоб взять с собой на фронт... Кто тогда знал, что сотни людей будут вглядываться в это лицо? В эту обнажающую душу, неровную улыбку?

Сын ушел в армию. Догоняя сына, мечтая воевать рядом, мать окончила курсы медсестер, но на фронт не попала. Мать, мамочка, мамуся, Муся, самое ласковое слово, самое детское имя.

Когда в город пришли немцы, Александра Андреевна сидела у окна, сжавшись под теплой шалью, смотрела на мокрую улицу. Глаза оставались тоскливыми, пока она не начала действовать на свой страх и риск и задолго до того, как главные нити Симферопольского подполья сосредоточились в руках опытного конспиратора, специально за этим и посланного, Ивана Андреевича Козлова.

Что значило — действовать в тех условиях? Нащупывать, кто думает одинаково с тобой? Одинаково думают многие. А вот кто готов пожертвовать жизнью? И кто практически свяжет с лесом? Стала искать среди учителей, укрывавшихся от трудовой повинности. Вспомнила о сестрах Лазаревых. Они жили неподалеку, были известны как активистки, и, главное, у них были хорошие лица. Но Лазаревы, когда она с ними заговорила о подполье, отшатнулись, вернее, замкнулись. Испугались как раз ее жизнелюбия, веселости, торопливой настойчивости именно потому,

что с подпольем уже были связаны. Вернее, с теми, кто организовывал его.

В конце концов, Александра Андреевна сама попыталась пойти в лес — ведь была же она туристской, экскурсоводом. Может быть, повезет — наткнется на партизан. Пошла в плюшевом своем пальто, в туфлях, какие были. Еле приволоклась назад по мокрому снегу, по гнилым листьям — не повезло. Связавшись с партизанами через бывшего своего ученика — Толю Досычева, «Муся» стала передавать в лес сведения, медикаменты, отсылать туда людей, которым грозило гестапо. Через нее в группу железнодорожников под руководством Ефремова-"Хрена" из лесу шли мины, и каждый раз она требовала их побольше.

Особенно азартно хотелось ей угостить немцев перед днем или в День Красной Армии, в сорок четвертом — пусть знают наших! Переправляя в лес предпраздничные подарки от подпольных групп, «Муся» послала штабу также большое поздравительное письмо. Оканчивалось оно, однако, всегдашним неистовым припевом: "Нам нужны мины и еще мины к тем, что вы нам посылаете. Работа, несомненно, потребует много, много мин!"

Приходя к Ивану Андреевичу Козлову за партизанскими передачами, глядя на него жалобными глазами, протягивала крепкую, смуглую ладонь:

— Подкиньте, ну что вам стоит, хоть пяток сверх нормы.

— А другим — не надо?

— Другим тоже. Но вспомните, как в Джанкое взлетело девятнадцать вагонов. Вряд ли у кого еще был

такой урожай. Не скупитесь, позолотите ручку. — И смеялась.

Она опять стала смеяться в это время: оккупация явно шла к концу, впереди была жизнь, а вкус к ней с годами не убывал.

К двадцать четвертому февраля из лесу специально для «Хрена» доставили 20 мин. Александра Андреевна торопливо укладывала их в сумку, будто боялась — передумают, урежут «голодный», как она его называла, "паек"...

— Ну, будет весело, — пообещала Козлову, и жесткое, торжествующее мелькнуло в глазах сквозь улыбку. — Ждите вестей.

И ушла, аккуратно расправив локоны. Мины «Хрену» и после того случая на мосту она носила сама, никому не перепоручая смертельно опасного. А в лес шли донесения, сухая, деловая проза: "В течение двадцать третьего, двадцать четвертого и в ночь и в ночь на двадцать пятое непрерывно шли войска в Симферополь и его пригородные районы. Состав следующий: пехота, вооруженная винтовками, автоматами, артиллерия, мелкокалиберные горные пушки, зенитные орудия. Прибыли автомехчасти: двести машин, конный обоз — четыреста подвод. Части переброшены с Керченского направления, с Перекопа..."

Больше всего в дни оккупации Александре Андреевне хотелось вступить в партию. В декабре сорок третьего ее приняли в кандидаты с трехмесячным испытательным сроком. К концу этого срока Александра Андреевна оказалась в тюрьме, в гестаповском застенке. А между тем за несколько дней до ареста ее могли

вывести в лес. Но она была учительницей. Она не могла уйти, пока в городе оставались ее ученики-подпольщики.

Многие удивлялись ее беззаботности: "Обойдется. Перебуду как-нибудь, у меня в городе много друзей". Нет, это была не беззаботность. А что? Высшее чувство долга? Гордость характера — до последнего не показывать, что тоже страшно?

А тут еще заболел муж, друг и соратник по подпольной борьбе, Иван Михайлович. Он лежал на кровати плоско, незаметно — ничего от него не осталось, уговаривал: "Спасай себя, Шура. Я свое отжил".

Иногда я думаю, как странно близко от меня проходит ее жизнь. Кажется, я не в одном только воображении слышу запахи, звуки, вижу блики этой жизни: отражение пушкинского бюстика в лаковой крышке пианино, книги, где между страниц лежат истонченные временем цветы и выцветшие записки с признанием в любви. Вот открывается дверь за полотняной портьерой и, неловко шаркнув, держа перед собой что-то в вытянутых руках, входит большелобый пожилой человек: муж поздравляет Александру Андреевну с днем рождения, дарит ей книгу — томик стихов, тех самых, из которых она потом будет читать наизусть в тюрьме самые любимые строки.

Колесо истории

Перед войной Александра Федоровна Перегонец играла Машеньку — девочку из пьесы Афиногенова, пленявшую сердца зрителей в конце тридцатых годов. Выходила на сцену, прикрывая лицо теннисной ракеткой, подпрыгивая, шаля. Минута-другая — зритель привыкает к облику, в котором достаточно было и юности, и

знакомого очарования, а потом, когда ракетка отводилась, немолодое, тщательно загримированное лицо никого не ужасало, не отталкивало. Она все еще продолжала восприниматься в городе женщиной, которой возраст не помеха.

Может быть, поэтому, когда думаешь о том, что произошло во время войны, участники этой высокой драмы представляются, во-первых, куда моложе своих лет и, во-вторых, куда романтичнее. А между тем художник Николай Андреевич Барышев был человеком внешне не только простым, но как бы еще и простоватым. Не эта ли его простоватость разрешала сомневаться в вызывающем лаконизме, с каким оформлял он спектакли? Тогда многие подобного лаконизма упорно и раздраженно не признавали, через 15 лет он начал казаться единственно возможным. Море, обрыв, небо, проволока. Ни одной лишней детали. "Оптимистическая трагедия".

Трагедию, которую пережили они, оптимистической назвать было бы нельзя, а что касается проволоки, то проволока, ржавая, колючая и просто алюминиевая, скрученная в наручники, проволока могла бы служить и ее символом.

У Зои Павловны Яковлевой тоже было простоватое лицо женщины, которой на роду написано переиграть всех бабушек, всех Феклуш и никогда не стать Героиней. Что ж, на сцене она ею и не стала, хотя в паре со своим мужем актером Добросмысловым иногда бывала очаровательна так же, как когда играла на гусях и можно было рассмотреть всю добрую и в то же время непререкаемую силу ее лица. Сам же актер Добросмыслов имел внешность, совершенно готовую для

того, чтоб принести славу первого любовника в оперетте. Куда его и переманивали, суля большие деньги. Но он не пошел. Однако во время оккупации весело участвовал во многих немецких и румынских пирушках, охотно заходил в ложи к знакомым офицерам вермахта, вообще внешне вел себя так, что в городе стали его считать в лучшем случае неосновательным.

Таковы были главные действующие лица, действие же началось с того, что заслуженному артисту Добкевичу, мужу заслуженной артистки Перегонец, предложили пост городского головы. То есть настолько были уверены оккупанты, что он с радостью согласится, что даже где-то на Кубани, куда прорвались в это время, объявили, агитируя по радио: "...В Симферополе городским головой стал хорошо известный публике артист, дворянин Добкевич".

О, это был завидный кус для их агитационной машины! Но Добкевич, игравший Жухрая и Платона Кречета, городским головой в Симферополе не стал. Его вызывали в гестапо, и он оттуда не вернулся.

Дальше события разворачивались так. Александру Федоровну вызвал к себе доктор Фольпрехт, шеф ведомства пропаганды и просвещения отдела министерства по делам оккупированных восточных территорий. Свидетелей этого разговора нет.

Подлинный — канул в вечность, можно только попытаться смоделировать каким был, каким мог быть этот разговор и некоторые другие.

— Злые языки, мадам, говорят, будто солдатам не нужны музы, — доктор Фольпрехт вполне мог произнести эту банальную фразу и вполне мог попытаться придать

при этом нечто игривое своим светлым нордическим глазам.

А что Александра Федоровна? Ей оставалось только терпеливо слушать довольно сносную русскую речь доктора Фольпрехта. Вполне возможно, что по старой привычке при этом она старалась быть очаровательной и казаться даже беззаботной...

— Но пусть мадам меня поймет: солдатам нужна муза, способствующая победе. Я сам — солдат, я могу судить, мадам. Фрау Перегонец деловая женщина, должна понимать, что требует новый порядок. Сила в радости, так сказал великий фюрер. Следовательно, радость, радость и еще раз именно радость должен приносить театр, особенно в этой медвежьей стране!

Александра Федоровна смотрела в лицо Фольпрехту все так же беззащитно и внимательно, даже после того, как шеф перестал называть ее мадам и вместе с обращением сменил легкий тон беседы на другой: четкий, выговаривающий каждую фразу, как параграф устава.

— Никакой политики, об этом, я надеюсь, не надо предупреждать фрау. Никаких русских загадок мысли! Русский сарафан — да, русский самовар — да, русский хоровод, пир горой — я говорю: да, да, да! Я повторяю: солдату нужна муза, способствующая смеху, слезы — нет!

Александра Федоровна прикрыла глаза, отгоняя страшное видение этой музыки. И неужели же она возьмет на душу грех: пойдет когда-нибудь на служение ей? Но пятьдесят мест.

Пятьдесят девочек можно будет спасти от угона в Германию, если откроется студия при театре. Всего пятьдесят, и какой ценой!

— Мы будем стараться пропагандировать великих сынов вашего народа: Шиллера, Гёте, музыку... — она не успела договорить, чью музыку, увидев мину на постном лице.

— Это потом, фрау Перегонец. Солдат терпит лишения, он не имеет времени задуматься — идет к победе. И вам не следует задумываться, ибо задуманность — не стиль вашего лица.

При последних словах доктор вполне мог протянуть руку, как бы намереваясь взять ее за подбородок. Но что-то остановило доктора, рука, дернувшись, забарабанила по столу:

— Вы слишком часто, думаю я, имеете возврат мыслей к судьбе вашего несчастливого мужа, фрау Перегонец. Между тем господин Добкевич попал под колесо истории, не больше того. Мадам знает историю?

...А дальше я вижу, как медленно она идет к театру, у нее усталая фигурка женщины, которой на самом деле пятьдесят, старое, некрасивое лицо. А в городе привыкли к тому, что Перегонец играла самую красоту. Город объявил на нее свои права — она была его любимицей. Театралы из уст в уста передавали историю о ее беспомощности и не приспособленности к жизни и о том, как бережет ее муж. Городу примелькался чемоданчик, с которым он ходил на рынок за мясом, в городе пересказывали и в самом деле случавшиеся споры из-за лишней котлетки за завтраком, город умилялся, город сочувствовал ее нелегкому усилию подольше оставаться

женщиной без возраста, сыгравшей Диану лучше Бабановой, а королеву лучше Яблочкиной...

Но то был другой город — весело шаркающий парусиновыми туфлями на танцплощадках, оглушительно аплодирующий Шурке Булычовой и горделивой Марине Мнишек... Оккупированный Симферополь стал ниже ростом, непригляднее, не столько от воронок и камуфляжа, сколько от лиц, таких же усталых и постаревших, как у нее...

Александра Федоровна шла по городу, отказавшись от кабриолета, на котором доктор Фольпрехт предлагал отправить ее домой. Александра Федоровна должна была вернуться в театр, должна была поговорить с Барышевым. Впрочем, теперь она вообще не торопилась домой, в опустелые стены, с которых смотрели ее молодость, ее успех, ее судьба. Театр Корша: осиная талия и такая вера в глазах, что теперь иногда хотелось перевернуть фотографию лицом к стене. Ихושка в фильме об Аэлите — опять доверчивость, ожидание счастья на маленьком, смешно загримированном лице. Блистательная Диана — совсем будто не похожая на нее самоё — дерзко готовая к самоутверждению...

Однажды один из гостей, от которых ей не всегда удавалось теперь отбиться, пощелкал по фотографии: "Вы умеете и так? О, как можно сохранять темперамент в столь варварских условиях, вдали от цивилизации?"

Решительно все они не хотели понять, что она, Александра Федоровна Перегонец, имеет что-то общее с этими людьми в ватниках, в надвинутых на лбы платках. С людьми, отбывающими трудовую повинность, волочащими санки или тележки с пожитками через город — в степь, в деревни, где хоть немного сытнее. С этим не

любезным, не тонким народом, решительно не умеющим изящно встать на колени перед победившим.

...У дверей театра, прямо на продавленном тротуаре, стыла голубая лужа. В ней отражалось высокое, холодное небо. Александра Федоровна остановилась над этим небом. Поднимать голову ей не хотелось. Ветер пробирался в рукава пальто, ознобом проходил по спине, в душе было пустынно. Хлопнула дверь, из темного провала служебного входа, на ходу поднимая воротники, вышло несколько человек — актеры после дневной репетиции, осветители, машинист сцены Чечеткин. Она привычно подтянула щечки, улыбнулась всем вместе и еще отдельно Барышеву, художнику. Но сквозь улыбку на него смотрели тоскливо-спрашивающие глаза. Барышев потоптался на месте, отстал от товарищей:

— Вернусь с вами, пожалуй, Александра Федоровна? Посмотрите, как я распорядился третьим актом. Удобно ли вам будет...

Но, закрыв за собой дверь мастерской, ни он, ни она на декорации и не глянули.

— Александра Федоровна, — сказал Барышев. — Александра Федоровна, есть задание.

Она прикрыла глаза, как бы заранее соглашаясь.

— Будет прочес. Не раньше, чем через неделю, но будет. Румыны зашевелились. Так что если в ближайшие дни... Одним словом, любая вечеринка, банкет, пикник — все годится. Постарайтесь, Саша... В лесу сейчас особенно плохо.

— Не надо меня уговаривать, — она так и осталась сидеть с прикрытыми глазами, по-детски спрятав кисти

рук в рукава. — Ах, какая тоска, Николай, какая тоска, если бы вы знали. Но пятьдесят мест для студии я у Фольпрехта все-таки вырвала. Боже мой — зачем? Может быть, чтоб все пятьдесят тоже легли под это колесо.

— Под какое колесо? О чем вы?

— Под то, которое великий фюрер приделал Германии. Или нет — истории. Под то, какого не было ни у Александра Македонского, ни у самого Чингисхана! Под то, которое на Толю наехало, а я — танцую на банкетах.

— Вы же сами понимаете: то, что сделаете вы на банкете, никто другой сделать не сможет.

Александра Федоровна поморщилась: ах, действительно, зачем разматывать весь клубок с начала? Она широко распахнула глаза, стараясь отогнать мысли о муже, о том, что там с ним делали в гестапо. Что с ним там делал Курт Кристман, в чьи руки и она попадет, как только лопнет миф о ее лояльности... В чьи руки, может быть, все они попадут. Все, кто связан с подпольем, с лесом, кто передает в лес сведения о намерениях немецкого командования, подслушанные на пикниках, в фойе театра, в офицерских пивных и бильярдных; кто достает для партизан медикаменты и фальшивые документы; кто слушает по ночам сводки Советского Информбюро и кто просто любит свою Родину, чувствует себя плотью от плоти ее народа. Этого несговорчивого, этого фанатичного народа, чья *загадка мысли* так раздражает доктора Фольпрехта.

...Расстреляли их всех 10 апреля 1944 года, за два дня до прихода наших. Сейчас за стеклом в витринах областного краеведческого музея лежит то, что спустя много лет все еще находят в страшных рвах «Красного» и возле поселка Дубки: наручники из проволоки;

алюминиевые лагерные ложки, женские металлические гребни: тут же наивная брошка — три подковки, так и не принешие счастья, детская свистулька...

В этом же зале фотографии членов группы «Сокол», возглавляемой театральным художником Николаем Андреевичем Барышевым: артисты Перегонец, Добросмыслов, Яковлева; машинист сцены Чечеткин, уборщица Ефимова, мастер костюмерного цеха Озеров, ученик Барышева Олежка Саватеев.

Колесо истории их не переехало, нет. Это они в числе многих и поименованных и безымянных заставили его повернуться в единственно нужную сторону.

Еще раз о моих знакомых

Сразу же, едва отойдя от тех витрин в музее, я поняла, что должна написать рассказ с таким названием. Все это молча взывало, весь этот быт смертников требовал: напиши. Уже много раз говорили, скажи еще и ты. Но сначала мне показалось: в рассказе ничего не должно быть, кроме цифр, документов и перечисления фактов. И вот я принялась переписывать одно из самых страшных писем, которые когда-либо читало человечество. Строчки, разрываясь, кричали перед глазами: "Здесь, в тюрьме, я родила ребенка. Когда соседка по камере начала отказывать мне помощь, немецкий охранник закричал:

— Прекратить, буду стрелять.

За все девять дней тюрьмы мне давали только соленые бычки, а детям моим гнилую картошку. Нас мучила жажда. Сердце мое разрывалось, когда я видела, как дети умоляют немецкого часового дать им попить.

Всякий раз вместо того, чтобы дать кружку воды, солдат отвечал:

— Жить вам осталось недолго, проживете без воды.

На девятый день мне приказали раздеться до нижнего белья, взять детей и следовать во двор. Вместе со мной вывели во двор еще нескольких женщин с детьми. Они тоже были раздеты и стояли на снегу босиком. Нас вывезли за город, где уже была открыта большая яма..."

В свое время это письмо обошло многие газеты мира. Писавшая его, Рая Белоцерковская из Керчи, осталась жива как бы после собственной смерти. Ее судьба исключительна именно этим. А так, я думаю, моя школьная подружка Иза Передельская, умирала так же страшно, только умерла и поэтому никому ничего не расскажет...

Подумав о ней, я подумала и о других, живших совсем рядом, и вдруг пришло решение: отодвинуть документы, писать о тех, кого знала сама. Кто не только факт для меня, но живая плоть: ресницы, пальцы, воспоминание улыбок, звуки давно отлетевших разговоров.

Абраша Шерман. Погиб первым из класса, в первые дни оккупации, его расстреляли в противотанковом рву за парком санатория «Металлист». Он был такой маленький, круглоголовый, так долго ходил в коротких штанишках. И мы с детской беспощадностью дразнили его за это. Перед Абрашей осталось чувство особой вины и за шлепки портфелем по тихой спине, и за то, что ничем, кроме этих шлепков, не запомнился. Война,

смерть, страшный ров, куда его спихнули, — все это было Абраше не по росту...

Иза Передельская. Изольда. В шестом или седьмом классе мы с ней сидели за одной партой, и она казалась мне самой красивой девочкой в классе. Нежная, как длинный весенний, еще не обветренный росток. Даже старое ее пальто с большим маминым шалевым воротником не перебивало этого впечатления свежести и нежной продолговатости рук, шеи. А лицо с вздернутым носиком плывущими кругами заливал румянец. Оно было бойкое, не задумчивое.

Когда за ними пришли, старая ее мать — у нее была почему-то очень старая мать — успела вытолкнуть Изу к соседям. Те скрывали ее у себя некоторое время, хотя на самом этом доме, где внизу была почта, а вверху — квартиры, висел плакатик: "За укрывание — расстрел". Потом в городе объявился мальчик, вернее, парень, давно, с шестого класса «бегавший» за Изой. Они поженились. Парень поступил работать в управу, выслуживался, терял себя, надеялся оградить маленький мир, только двух людей. Мог же фашизм, пересчитывая жертвы, ошибиться, пропустить их.

Не вышло. Однажды парень этот пришел домой — ни жены, ни месячной дочки. Он ходил по городу, узнавал, где их закопали, а в руках был сверток: одеяло, пеленки. Надеялся еще...

Зоя Зайцева. Тихая, добрая, подельчивая, без особых общественных нагрузок или талантов. Прямые волосы над смуглым выпуклым лобиком придерживает круглый большой гребешок, глаза смотрят внимательно. Очень светлые глаза на очень темном, матовом лице... Зою и ее маму расстреляли за то, что они хранили

найденную где-то на винограднике нашу листовку. Занавешивали окна рваным одеялом, клали на стол. Ничего не было: ни еды, ни дров, ни одежды, только эта листовка... Приходили соседи, тоже читали. На листовку шли, как на угощение, как на музыку собираются сейчас. Тот, кто не был в оккупации, может быть, просто не поймет, что за воющее чувство заброшенности, ничтожности собственной жизни охватывало нас и ночью, в одиночестве, и днем, когда раскатывалось громогласное: «Айли-айлу». Против этой тоски помогали только такие листовки или случайно переданная соседями сводка Совинформбюро, или гул Севастополя, пока он был наш. Так что Зою, отдавшую жизнь за кусочек бумажки, можно понять.

Володя Фирсов. Погиб еще осенью сорок первого, я сама видела, как лежал он на Набережной долго и с каждым днем все меньше напоминал человека, просто так упавшего на землю, запыхавшегося на бегу. Он был высокий мальчик, первый мальчик в школе, о котором много говорят, хотя он учится всего в восьмом классе...

Расстреляли Володю за то, что он хотел уйти в партизаны. И в том, что долго не убрали его тело, был особый смысл: пусть город помнит, что "новый порядок" может сделать с самым веселым, самым красивым...

Вера Хохалева умерла в сорок восьмом, но все равно ее убил фашизм. В Германии, куда ее угнали батрачить, Вера заболела ревматизмом, и ее поместили в больницу. Больница была очень хорошая: кормили, поили, долго консультировались, выслушивая, лекарств не жалели.

В этой больнице ставили опыты. Проверяли какие-то препараты. Домой Вера вернулась старухой, не

сгибались ноги, сердце останавливалось на каждом шагу, кожа была, будто долго ее прочерчивали острой злой иглой. А до войны мы кончили восьмой, вся жизнь еще должна была быть впереди.

А теперь — соседи. Самые близкие, у которых мы снимали комнату с маленьком домике на окраине. В семье Настешенок погибли двое: Надя и отец ее, Герасим Иванович, старик. Надя, по слухам, утонула на «Армении» или, во всяком случае, на другом каком-то транспорте. Она была медицинской сестрой, переправляла на Кавказ раненых из Севастополя. Старика расстреляли перед самым приходом наших.

Чуть ближе к городу жила семья Ивочкиных, там расстреляли невестку за связь с партизанами, остались две крохотные девочки... Дальше через несколько домов убили пятиклассника Витю Эльвединова просто за то, что он вышел за ворота после комендантского часа...

Точно так же расстреляли и другого школьника, постарше, фамилию его не помню, хотя со мной в одном классе какое-то время училась его сестра Катя. Я случайно видела, как она с матерью выносила на осоавиахимовских носилках его тело со двора немецкой комендатуры. Мальчик бал покрыт коротковатым байковым одеялом, и мать, когда его переложили в подводу, стоявшую у ворот, все время натягивала это одеяло, будто на спящем. И щупала ноги сына в шерстяных носках, как щупают у маленьких, не озябли ли...

Но не это тогда показалось мне самым страшным, а то, что, получив тело сына, они должны были расписаться за него в толстой книге. Немец вынес ее к воротам и уже злился оттого, что Катя не понимала, чего

он требует. Потом, когда она все-таки расписалась, немец взял ее за подбородок: "Не надо плакать. Молодой: музыка, танцен".

Мне кажется, именно в тот момент я поняла особые качества фашисткой жестокости, все, что следовало за тем, только служило подтверждением.

Всего в маленькой Алуште расстреляли около пятисот человек, разных: коммунистов, родственников партизан, заложников, евреев, просто не приглянувшихся "новому порядку".

Голоса Аджимушкая

"Весь вечер 25.6 читал вслух Пушкина А. С. Я бы еще читал, но в горле пересохло, а вода ограничена", — я ждала ее, эту фразу о Пушкине. Где-то, в записках, в обрывках дневников, в письмах, она должна была появиться, написанная *тогда*, обладающая неоспоримостью документа, а не вставленная потом, пусть даже в самые достоверные мемуары.

Сейчас, после присвоения Керчи за ее мужество звания города-героя, мало кому приходится объяснять, что значит Аджимушкой. Сейчас каждому ясно, какую нравственную ценность имеют и эти слова о Пушкине, нацарапанные в промозглой тьме каменоломен голодным, умирающим от жажды человеком...

Умирал от жажды лейтенант Александр Клабуков совсем не в переносном смысле. И умер через несколько недель от истощения ли, от ран ли, мы не знаем. Знаем только, что умер человеком. А это было труднее всего...

Я видела Аджимушкой первый раз летом 1966 года. Он был уже прибран, смягчен, приглушен хотя бы тем,

что останки, вернее, сухие кости тысяч людей собрали и замуровали в огромных бетонных саркофагах тут же в каменоломнях. Но не все собрали: в углах, в отсеках, в ответвлениях подземных коридоров еще аккуратно лежало, белело то, что когда-то было человеком, а теперь рассыпалось на позвонки и фаланги. И было невозможно представить, что то же не так давно смеялось, пело, откусывало от круглой, натертой чесноком горбушки, читало Пушкина или кого попроще на дневном свете в двух шагах от ведра с ключевой, пронизанной солнцем водой...

Что-то стоящее вне обычного человеческого понимания заключено в упорстве этих людей, сопротивлявшихся под землей, в тылу врага 170 дней — с мая по октябрь 1942 года. Не девять ли кругов ада им пришлось пройти, прежде чем умереть людьми или остаться в живых — тоже людьми? Сейчас эти круги лежат перед нами с расчищенными завалами, с четко обозначенными ходами и выходами, с огороженными, безопасными, уже почти музейными пропастями. И что-то кощунственное чудится в том, что мы, здоровые, загорелые, идем, *рассматриваем...*

Темнота, бугристые глыбы известняка с боков, наверху, под ногами. Осторожное, нащупывающее шарканье и мотающийся по стенам свет "летучих мышей".

— Вот здесь, — говорит Андрей Пирогов, один из тех, кто прошел все девять кругов и остался жив, — вот здесь они завалили спасавшихся от газов. Вот этими тоннами прямо на детей...

Он останавливается у серых, угловатых, еще не обточенных временем камней, держит руку на пористом, холодном.

— Они компрессорами гнали газ в щели, навстречу ползущим наружу. Видите, уже тогда были техничны...

Стоит прислушаться, хотя, кроме нашего дыхания, в штольнях никакого звука нет. Что чудится ему? Голос полковника Ягунова? Приказ комиссара Парахина? Нечеловеческие крики женщин и детей, которых гнала в глубь подземелий ядовитая струя?

Не знаю, что чудилось, что слышалось старому уже человеку, знавшему: может быть, в последний раз вот так спускается он под землю. Мне же сейчас, когда я пишу, слышатся голоса дневников, писем, документов, написанных тогда, не прошедших редакции временем. Тогда записывалось бесхитростно, а сегодня звучит величественно, хотя сказано самыми простыми словами. И эти слова роятся у меня над плечом, будто множество людей наклонилось, диктуя каждый свое:

"Жертвы, жертвы. Смерть так близка, а умирать все-таки неохота именно в этой живой могиле. Ровно в 11 часов ночи прекратили пускать газ. Теперь можно дать гарантию, что в живых осталось не более 10 процентов".

"Мир земной, Родина! Мы не забудем зверств людоедов. Живы будем — отомстим за жизнь удушенных газами. Требуется вода, чтобы смочить марлю и через волглую дышать. Но воды нет ни одной капли. Несколько человек вытащили ближе к выходу, но тут порой еще больше газов. Колю потерял, не знаю, где Володя, в

госпитале не нашел, хотя бы в последний раз взглянуть на них".

"Всем! Всем! Всем! Всем народам Советского Союза! Мы, защитники обороны Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаемся!"

Федор Иванович Казначеев, бывший радист, передавший в эфир эти последние слова, тоже идет с нами, тоже часто останавливается, как Пирогов, прикладывает ладонь к стенам, будто не может поверить в собственное прошлое. Мы идем мимо бывшего штаба, и Андрей Пирогов виском прислоняется к стене — что он?

— Вот здесь, — говорит Пирогов, — Чабаненко нашли, Степана Титовича, и ту записку.

Я знаю текст записки, вложенной в партбилет Степана Титовича: "К большевикам и ко всем народам СССР. Я не большой важности человек. Я только коммунист-большевик и гражданин СССР. И если я умер, так пусть помнят и никогда не забывают дети, братья, сестры и родные, что эта смерть была борьбой за коммунизм, за дело рабочих и крестьян. Война жестока и еще не кончилась. А все-таки мы победим!"

Это только говорится так: Степан Титович, полным титулом. Было же Чабаненко 28 лет. У него было твердое крестьянское лицо, а глаза, мне кажется, зеленые. Скрытая улыбка очень сильного человека проглядывала в этих глазах даже в самые тяжелые минуты. И, может быть, глядя именно на него, неизвестный автор запишет в аджимушкайской тетради: "Вот, черт побери, большевики и под землей поют, не унывают".

...А потом уже, наверное, не пели. Потом пошли такие записи: "Пробивали далеко в глубь камня дырочку

и с силой втягивали в себя воздух, а вместе с воздухом попадали мелкие капли воды. Более здоровые сосут влажные камни и приспособились так, что каждые два-три часа насасывают почти полную флягу. Значит, 10 раненых могут получить в сутки 100 г воды. А это большое дело".

Вместе с нами из конца в конец по каменоломням идет очень пожилой человек. В соломенной шляпе, с опущенными от старости и горя плечами, он всем видом своим являет крестьянина из тех, что еще пахали на волах, а сеяли, разбрасывая зерно из лукошка. Он идет, чаще других наклоняясь к белым холмикам костей по дальним отсекам. У него в Аджимушкае остался сын, младший лейтенант Владимир Костенко.

Он умер вот здесь, в госпитале. Голос его до нас не дошел: ни предсмертного письма, ни записки. Но о нем рассказывает в дневнике безымянный друг. О нем и о женщине, которую он любил. "Ранение их разлучило, поэтому первый вопрос о Шуре. Я ответил, что Шура здесь, в катакомбах. В госпитале лежало более 100 человек. С питанием у них пока неплохо. Правда, воды маловато. Между прочим, Володя не знает, чего стоила им вода".

Вслушиваясь в голоса Аджимушкае, я все больше думаю: наверное, фашистам не столь важно было уничтожить подземный гарнизон физически, сколько сломить его дух. Оккупантов не могли не мучить сомнения в безусловности своей победы, пока писались такие строки:

«Тов. Поважный приобрел себе дочку Светланочку. Светланочка осталась без родителей. Девочка не по летам очень умная. Понимает с

полуслова. Ей дали сухарик, она спрашивает: "Дядя, это на сегодня или вообще?" Комполка Поважный, если выйдет из катакомб, сохранит ей жизнь, счастливец».

"Пейчева освобожу от наряда на несколько дней и заставлю, как художника сделать хотя бы несколько зарисовок нашей жизни, службы, быта".

"Для меня этот день был большим праздником. В характеристиках товарищи заверили партию, что я честен, добросовестно отношусь к делу, волевой. Я таким был и останусь до последнего дыхания".

Человечество сберегло для потомков имена Ореста и Пилада; человечеству повезло: великий трагик Еврипид обессмертил имена этих древних греков. Подвиг старшего лейтенанта Клабукова А. И., который написал: "Весь вечер читал вслух Пушкина", был не меньше подвига предприимчивых друзей, отправившихся к берегам Таврии и в злую минуту готовых умереть друг за друга...

Да нет, он был неизмеримо больше: Клабуков вместе с товарищами умирал за идею и в отличие от древних надеялся не на богов, а на собственное мужество и мужество товарищей.

Сорок дней и ночей

Море шло на город косыми волнами. "Как тогда, ты помнишь, совсем, как тогда" — эту фразу они повторяли с утра.

Потом все поехали на Эльтиген. "В Героевку", — как говорят сейчас. А Героевкой-то ее, эту низенькую, приткнувшуюся между морем и холмами деревеньку, назвали из-за них. Не из-за шестидесяти одного, которые получили высокое звание Героя за операцию, а из-за всех...

...Вылились черной лентой на дорогу моряки. Они были гостями издалека. И, разумеется, никакого отношения не имели к тем событиям. Но именно к ним обратилась девчушка лет десяти с приветствием от школьников. У моряков были молодые, окаменевшие в серьезности лица, достаточно бравая выправка для того, чтобы представить их борющимися с волнами, проходящими сквозь огонь в своих черных бушлатах, с автоматами и лентами бескозырок...

А дяденьки и тетеньки, нестройно столпившиеся у пирамидки с зеленой оградой из штакетника? На лице у девочки проступает недоумение, когда учительница шепотом поправляет: им говори, они десантники...

Какие они десантники! На ком мешковато сидит давно не модный макинтош, кто кутается от брызг дождя в болонью. И у всех морщины и ничего военного в осанке...

Детский разум не в состоянии так сразу сбросить с их плеч прошедшее время, не в состоянии представить, что происходило вот здесь, на этой самой земле, на этом самом песке, во время высадки Эльтигенского десанта.

А было вот что.

В ночь на первое ноября 1943 года с таманского берега на керченский двинулись мелкие военные

корабли и "тюлькин флот" — рыбацьи, собранные с миру по нитке баркасы.

Шли и могли взлететь в воздух на любом из пятидесяти минных полей, перегораживающих пролив... Тонули, горели, подбирали в пути товарищей, которые держались на воде, слабея, теряя силы.

Волна стала заливать беспалубные суденышки. Черпали воду касками, но это слабо помогало. Тогда стали, обнявшись, по бортам, спустили концы плащ-палаток в воду, как бы нарастили своими телами борта... А волна била по этим телам, осеняя, штормовая. Иных смыло...

Наконец, земля.

Не гостеприимный берег, а ощерившийся минами, проволочными заграждениями, дзотами. Его еще надо отбить.

Идет в атаку 386-й батальон морской пехоты, идет в атаку рота ПТР с молодым лейтенантом Георгием Титовым во главе. А немцы палят с высоты, и нет никаких сил перейти линию заграждений. Слишком по-хозяйски натянута проволока, слишком глубоко вбиты железные трубы и рельсы, заменявшие обычные колья.

У фашистов были месяцы и месяцы, чтоб укрепиться, у наших всего короткий предрассветный час, чтоб взять эти укрепления.

Команда: "Раздевайся!"

Полетели на проволоку плащ-палатки и ватники, бушлаты, даже рубашки. Наконец, ее смяли в нескольких местах, прошли по ней и по теплым еще телам убитых. В

одной из первых атак был ранен Титов. Он лежал на земле с перебитыми ногами, и атака захлебывалась...

Тогда он стал кричать. Сейчас с полной достоверностью не вспомнишь тех слов. Кричал он что-то вроде того: "Кто знает Титова, ко мне!"

Титова знали в роте не только в лицо, как, естественно, должны были знать своего командира. Знали о его храбрости, хладнокровии по прежним десантам.

И вот Титов приказывает, чтоб его взяли на плащ-палатку и несли вперед. Таким образом, он командует атакой. Подрывается один несущий, за ним — второй, третий... Но атака выиграна, взята гряда холмов, враг выбит из окопов и дзотов...

Это только один из эпизодов десанта...

И мужество, и лихость, и просто умение держать себя в руках до последнего нужны были десантникам не только в первые дни. Они нужны были и когда танки нависали над самым противотанковым рвом, и когда ров этот переходил из рук в руки, и когда шли артобстрелы, бомбежки...

Десант на Эльтиген был не основным десантом, а только отвлекающим. Но он выполнил свою задачу — наши войска высадились с Чушки, заняли пол-Керчи. Но снять войска с Эльтигена не представлялось возможности: море простреливалось насквозь.

Ночью к этому морю сносили раненых и ждали, замирая от надежды, — подойдут мотоботы, возьмут на Большую землю. Днем раненых тащили в капониры, под укрытие холмов.

Санинструктором была здесь и Галя, та самая Галина Петрова, имя которой сейчас в Керчи носит не один пионерский отряд, Герой Советского Союза...

В одной из атак, когда произошла заминка перед минным полем, она подняла бойцов: "Хлопцы, здесь нет мин!" Даже, рассказывают, ногой притопнула для большей убедительности. И они пошли за ней, за своей Галкой, за своей Галинкой, красавицей, фартовой девчонкой, какой больше ни в одной роте, даже ни в одном полку не было...

А она и в самом деле была храбрая. Кроме того минного поля, которое она прошла первая, сколько было еще случаев. Все помнят, как выносила Петрова раненых к морю и сама ложилась рядом с носилками на песок и лежала, какой бы огонь ни вели немцы... Лежала, уже одним присутствием ободряя...

Наверное, ей было страшно. Но она любила в человеке силу, отвагу. И хотела видеть себя такой, какой видели ее окружающие: "Ребята, Галка с нами, не пропадем!"

В девятнадцати атаках участвовала Галина Петрова, не раз была ранена, но оставалась в строю. Зашла как-то в капонир, где лежали раненые командиры: "Ребята, дайте широкого бинта перевязаться". Отмотали они ей метров по пять от своих повязок. И она ушла... Может быть, в ту, самую последнюю свою операцию. Девятнадцать моряков пошли тогда ликвидировать прорыв на правом фланге. И она с ними. Добровольно, в самое пекло. Оттащила раненого лейтенанта Наумова в блиндаж, а тут — прямое попадание...

А море все идет на берег косыми, темными волнами...

Каждый год приезжают они на Эльтиген, — кто из Керчи, а кто издалека... Морщины, одышка, заматерелые — у кого еще сильные, у кого усталые — тела, стоят сивые деды, а были ведь совсем парнишки. Все они были парнишками. Остались парнишками да девчонками только те, кто лежит за зеленым штакетником под пирамидкой...

Как-то странно представить, но у Галины Петровой уже внук, и сын ее стал морским офицером. Тот самый сын, чьи пинеточки, первую детскую обувь, хранила она на груди во время десанта...

...А море все идет на берег косыми, с бешеной белой пеной невысокими волнами. В волны тоже бросают венки. Многих ведь смыло с мотоботов и баркасов, многие подорвались, сгорели, многие упали в воду, всего двух шагов не дойдя до суши.

Потом все возвращаются к своей обычной жизни... Разбегаются школьники, уходят домой рыбаки... Уезжают и они, те, о которых сегодня совсем не лишне громко было сказано: герои Эльтигена.

И вполне возможно, что в один из последних дней, как было уже не раз, маленькая рука постучится к Шурочке Меркуловой. Она откроет дверь, глянет, заранее зная, в чем дело.

— А где ваша дочь? — спросят ее.

— В школе.

— Нет, та, что медсестрой была на Эльтигене. Которая раненых вывела на Митридат.

— Это я...

Ах, она давно уже не Шурочка, давно уже Александра Григорьевна. И темное лицо в глубоких, тяжелых морщинах, и седина... Давно уже мало чем похожа на свою фотографию в музее.

Но все это было, было на самом деле...

Море идет на берег косыми, темными волнами...

Замер знаменосец у маленького обелиска, очень похожего на простую солдатскую пирамидку... Лицо у знаменосца молодое и суровое. Втянутые щеки, внимательные, но сейчас замершие глаза. И усы. Может быть, знаменосец хочет выглядеть старше? Ветер стелет над ним туго натянутое полотнище флага...

Да, все это было, было на самом деле.

Керчь помнит

Вера Белик никогда не была красавицей, и даже хорошенькой ее не считали. Но, наверное, такой уж момент выпал для нее в жизни, когда фотографировал ее фронтовой корреспондент. Такой момент, когда вся она искрилась радостью, вся не только впитывала ласковый свет погожего дня, но и лучилась светом сама.

Может быть, представляла она в тот момент, что выросли у нее за спиной не самолетные, а собственные и притом неуязвимые два крыла. Может быть, как раз, повернувшись к объективу, не просто поняла, а ощутила, до чего прекрасна жизнь, и поверила в свое бессмертие. А вернее и проще — пришло к Вере в те дни женское счастье, любовь.

Тоненькая фигурка в галифе, глаз в пол-лица и безудержная, девичья улыбка...

Фотография Веры висит в Керченском музее на самом видном месте, а до шестьдесят третьего года сами керчане не подозревали, что Герой Советского Союза Белик и та девочка Вера Беликова, которая училась у них в школе в поселке Войкова, — одно лицо...

Почему? Из-за некоторой разницы фамилий? Из-за того, что на фотографии в книжке о Героях Вера была не похожа? А может быть, из-за того, что в школьные годы в ней не было той искристости, той броскости, которая предполагается в будущем герое?

Она была серьезной, упорной, веселой девочкой из очень большой семьи, где покупка кашемирового платья выпускнице была событием, где и по снегу ходили в «парусовых», покрашенных гуталином туфельках.

Да, семья была очень велика, а работал один отец. Но у девочки оказались незаурядные способности к математике, и ее младшая сестра Лида пошла нянчить чужих детей, чтоб Вера могла поступить в институт... Это не воспринималось как жертва. Кончит Вера институт, всем поможет: и Лиде, и отцу, и матери.

Итак, Вера готовилась стать учителем математики.

Во время войны Вера стала штурманом. Она летала на самолете, подаренном полку ремонтными мастерскими с надписью на борту: "Лучшему комсомольскому экипажу".

Весь экипаж был: она да Татьяна Макарова. Таня учила своего штурмана управлять послушной, но слишком хрупкой машиной. Таня учила своего штурмана чувствовать себя лихим покорителем стихии. Сама она

еще до войны стала летчиком-инструктором. А у Веры если и была какая-нибудь привычная стихия, то только море. Море наделяло ее спокойствием, ощущением силы и каким-то особым желанием *окинуть взглядом...* Да, всегда, когда она заплывала далеко-далеко и оставалась словно бы одна в тишине, в блеске солнца, ей хотелось окинуть взглядом то ли свое будущее, то ли вчерашний, только что прожитый день, то ли Керчь, свой город.

Она лежала на доброй, послушной волне и смотрела на белые домики поселка, на Митридат, на рыжие обрывистые берега... Может быть, это было неподходящее место, но именно море в ней пробуждало особое чувство острой любви и к дыму над домнами Войкова, ко всему строгому рабочему укладу Керчи, и, кажется, к самой ее белесой, древней земле...

Потом ей приходилось сбрасывать бомбы именно на свой город. Он был истерзан до неузнаваемости, весь зиял, как одна сплошная рваная рана. Вот здесь где-то была школа, там девочкой стояла она у доски, и ход решения задачи озарял ее внезапно, как молния черное ночное небо. Сейчас небо озаряли только прожекторы, пожарища да вспышки зениток. Шла охота... Враг охотился именно на нее, Веру Белик...

Вот здесь, на Эльтигене, был пионерский лагерь. Подошвы ее ног будто бы помнят шелковую прохладу песка рано утром. И как пахнут могучие, серебристые кусты лоха, она тоже помнит...

В ноябрьские ночи сорок третьего года море металось где-то далеко внизу, темное и враждебное. На огненную землю Эльтигена высаживался десант. Прожекторы врага шарили по небу и воде, били злобным светом прямо в грудь мчавшимся Керчи катерам.

Таня Макарова и Вера Белик, пролетая над Эльтигенем, сбрасывали своим хлеб, фашистам — бомбы... К тому времени не одна сотня боевых вылетов была у них на счету. Мастерством своим каждая владела в совершенстве. И все-таки это были особые полеты по напряженности, по опасности, по тому чувству ненависти, которые они рождали.

Враг ждал, подстерегал их каждую минуту. Эльтиген весь был в сплошном огне. Даже невозможно было представить, как приходится тем, внизу... Наверное, это придавало девушкам силы, позволяло выдержать невозможное. И еще сознание того, что под тобой не просто захваченный врагами город, а — Керчь. Та самая Керчь, откуда Вера Белик.

Позднее в письме Ирины Ракобольской (бывшего начальника штаба полка) к керчанке и соученице Веры Белик Таисии Александровне Дроздовой я прочла такие слова: "И нигде после этого я не видела такой израненной земли, как возле этого города". По самой керченской земле девушки не ступали. И когда был освобожден город, не вошли в него с первыми частями...

Но две из них написали книги, в которых рассказывалось о сорок шестом Таманском женском авиационном полке ночных бомбардировщиков.

Книга Марины Чечневой, Героя Советского Союза, называется "Самолеты уходят в ночь". Книга Ларисы Литвиновой, тоже Героя Советского Союза, "Летят сквозь годы".

Но книга Литвиновой будет написана значительно позже.

Тогда же, в 1963 году, была только книга Чечневой. Ее берет в руки Таисия Александровна и вдруг видит — портрет Веры.

И вот Таисия Александровна, преподаватель русского языка и литературы школы № 17 в поселке Войково, всю ночь напролет читает эту книгу и узнает и нее, что было с Верой Белик там, на Большой земле, вернее, в большом грозном военном небе, после того, как Вера ушла из института в армию.

...Всю ночь сидит она над книгой, то, отрываясь и всматриваясь в темное окно, то снова наклоняясь над страницами. И за окном, и над гладким листом бумаги мелькают тревожные тени, слышится гул бомбежки, пламя мечется на ветру, сжирая все живое...

Таисия Александровна едет в Москву, в гости. Она видит там почти всех оставшихся в живых однополчан Веры, и слезы текут и текут по ее лицу... Оттого, что слишком далек день, когда они с Верой впервые вышли во двор своей школы уже не учениками, а взрослыми людьми. У каждой в руках было свидетельство об окончании десятого класса, а небо над головой стояло такое бескрайнее, такое легкое...

Оттого, что вдруг вспомнилось: когда их привезли, Таню и Веру, мертвых, обожженных, лишь по орденам можно было узнать, где кто... Восемьсот тринадцатый боевой вылет... Хрупкие крылья самолетика производства 1942 года, лай зениток, польская зеленая, утопающая в летних травах земля и две девочки...

И вот та сторона школьной жизни, которая сухо называется внеклассной, в семнадцатой, в поселке Войково, наполнилась особым содержанием. Школе

присвоили имя Веры Белик. В этот день в Керчь приехали отец и мать Веры и Лариса Николаевна Литвинова...

Через некоторое время ребята решили собрать деньги на памятник. Они не очень представляли себе реально размер суммы и то, каким должен быть этот памятник. Но им нравилось, что они сами *увековечат* и что вот тут, на привычном школьном дворе, будет стоять их Героиня, та, на которую они имеют прав больше, чем кто бы то ни было, хоть ищи по всем школам Союза.

И вот она действительно стоит. Днем мимо нее пробегают совсем еще маленькие и проходят совсем почти взрослые. Для одних она, как из сказки, сплошь населенной чудесами. Другие, приглядываясь, ищут истоки мужества...

Днем над ее бронзовой головой в летном шлеме — огромное и приветливое небо. Днем она ведет себя, как все в ее положении, олицетворяет подвиг, напоминает...

А ночью... А ночью бьется пламя Вечного огня над Митридатом. Ночью ей хочется встать на цыпочки или, еще лучше, оторвать тяжелые ноги от пьедестала, разбежаться и вдруг, как раньше, пролететь над своим городом...

Теперь бы ей не пришлось опасаться, и можно было бы, сняв сапоги, походить по мокрому песку Эльтигена, удивиться домам Аршинцева, прислушаться к ночному бормотанью Камыш-Буруна...

Теперь бы ей не пришлось опасаться, но бронза не пускает. И она остается стоять, только чуть-чуть поводит головой, чтоб увидеть, как можно больше из той жизни, за которую умерла. Серебряный свет звезд легко лежит на высоких скулах, а косы под шлемом, наверное,

заплетены «корзиночкой», как теперь уже никто не носит...

Флаги над Севастополем

Из всех рассказов Михаила Федоровича Самойленко запомнился мне еще рассказ о том, как стояли они, партизаны Южного соединения, по-над шоссе возле Бахчисарая и плакали: такая техника шла на Севастополь в апреле сорок четвертого и такая молодая сила...

А недавно, перечитывая газеты того времени, в корреспонденции Аркадия Первенцева я нашла: "Жители Крыма говорят: к нам пришла какая-то новая армия. Все молодые, здоровые, веселые. Все на машинах. Много разной техники, которой мы не видели у немцев".

Это было общее чувство: не та армия, что отступала по тем же дорогам, мимо тех же крылечек. Но главное заключалось в том, что армия была как бы именно та же — Приморская. Во всяком случае, она несла прежнее вдохновляющее имя — Приморская. Вернее, Отдельная Приморская, образованная осенью сорок третьего из частей 10-й и 56-й армий, высадившихся десантом под Керчью. То есть это Отдельная Приморская армия в числе других пятьдесят первой и второй гвардейской — шла на Севастополь. Она шла на Севастополь через разбитую, обшарпанную Алушту, мимо цветущих садов, мимо дома, где жили мы до войны и в начале войны, и народ густо стоял вдоль обочины, ловя прямые, не виноватые взгляды. И наша родственница, одна оставшаяся в том алуштинском доме, тоже стояла, и тоже у нее, как она рассказывала, было чувство — другая армия. Но она ведь и была другая — наступающая.

А потом у нее в комнате, прямо на полу, завалились спать четверо сморенных усталостью и весной лейтенантов. И еще с ними пришел сержант по фамилии Христенко. Фамилию сержанта или старшины тетя запомнила, потому что это был украинский вариант нашей. Сержант мягко ходил по комнате и по двору на низких сильных ногах, все никак не мог примоститься, успокоиться, отдаться сну. На то у него оказались свои основания: ему предстояло подняться по этой дороге во второй раз, и сейчас его лихорадила необходимость разделить с кем-то это чувство: вернулся!

Тетя моя, слушая, угощала сержанта узваром из шиповника, в который он бухнул сахар с такой бесшабашной щедростью, что это же был жест скорее символический. И вдруг среди рассказа о том, как он не мог дожждаться этого часа, сержант вскочил из-за стола, кинулся к своему вещмешку и вытащил оттуда что-то непонятное.

— Вот, для полковника собираю. Он интересуется.

Тут тетя наклонилась и увидела: на столе лежала стопка нарукавных нашивок с изображением Крымского полуострова. Такие нашивки носили немцы, когда-то осаждавшие Севастополь.

— Мало попадается, — качнул головой между тем сержант. — Не то сами срывают, не то дразнят, не то успели смотаться.

Потом они еще посидели, порассуждали, каких, мол, только напрасных слов ни придумывают фрицы, чтоб поприглядней выставить свой откровенный драп: то они, мол, сокращают линии фронта, то занимают эластичную оборону, то отрываются от противника.

— Ну, ничего. Дальше моря не оторвутся, встретимся, — сказал сержант, и тетя увидела: у него есть к ней какая-то просьба.

Просьба оказалась простая: сержанту нужен был кусок красной материи. Но материю всю давным-давно тетя выменяла на кукурузную муку, так что ни белой, ни красной, ни голубой... Для полной убедительности она распахнула шкаф, и сержант упер взгляд в его нищенскую пустоту.

— Мне такой, чтоб на солнце играла, — уточнил он при этом безо всякой надежды. — Хочу водрузить.

Тетя и тут не поняла, зачем ему красная материя. Потому, наверное, не поняла, что любое знамя, флаг, флажок представлялось ей строго официальным, и чтоб так, от себя, можно было бы их водружать — это до нее медленно доходило.

А когда дошло, она запустила руку поглубже за старые простыни и развернула перед сержантом шелковый красный платок с кистями. По какому случаю в доме уцелела эта нарядная вещь? Единственная нарядная вещь среди лохмотьев? Не знаю — по какому, но сержант принял ее на ладони и посмотрел умоляюще...

Тетя кивнула и тут же стала беспокоиться: а древко? Однако сержант усмехнулся: какое древко? Если повезет дойти, мамаша, соображу, мол, к чему прицепить, а пока — спасибо.

Тут сержант опять кинулся к вещмешку, выгрузил оттуда хлеб, какие-то концентраты в вощенной бумаге, понес к столу, но потом раздумал: примостил возле печки на табуретку, а на стол торжественно поставил

большой, полевой, цейсовский бинокль — недавний трофей.

— Жалко, горки заслоняют, а то б в эту пушку и штурм разглядели...

...Горки действительно заслонили, но штурм был хорошо слышен и в Алуште и в степном Крыму, где я жила в то время. До двухсот пятидесяти наших орудий и минометов приходилось на каждый километр главного направления. И снарядов навезли вдоволь, и нетерпение подгоняло. Севастополь был святыня, а не обычный очередной город, в который предстояло войти. И это надо понять перед тем как удивляться: фашисты брали его 250 дней, а мы вернули за 8, причем штурм ключевой позиции — неприступной Сапун-горы — начался и закончился в один день!

Хотя все-таки и поняв, удивляешься, в особенности, когда перечитываешь приказы немецкого командования. Например, такой: "Нам представляется возможность обескровить на севастопольском плацдарме превосходящие силы русских. Я требую, чтобы все солдаты оборонялись до последнего. Плацдарм на всю глубину сильно оборудован... Никому из нас не должна даже прийти мысль об отходе с этих позиций... Фюрер дал нам достаточно боеприпасов, самолетов, вооружения и подкреплений".

Но, несмотря на приказы, немцы дрогнули и отступили, сбившись к Херсонесу... А над Сапун-горой, над городом, вернее, над руинами его, один за одним стали вспыхивать флаги. Их было очень много, гораздо больше, чем обычно бывало над освобожденными городами.

История сохранила фамилии многих из тех, кому повезло. Яцуненко, Дробязко, Бабажанов одними из первых водрузили флаги на Сапун-горе. Лейтенант Гужва — над разрушенным зданием панорамы. Морские пехотинцы из отряда Цезаря Куникова пристроили над портиком Графской пристани тельняшку и бескозырку — символ возвращения. Григорий Пивоваров поднял флаг над зданием Водной станции. Разведчики Илья Поликахин, Михаил Головня, Николай Гунько, Ажу Канамазов — над Домом метеослужбы, а о сержанте Христенко ничего не слышно. Дошел ли он вообще до Севастополя или лег где-нибудь на склонах Сапун-горы или Малахова? А потом его похоронили вместе с тем куском шелка, теперь уже мокрым от крови, который он так ясно представлял себе бьющимся, играющим в несравненном севастопольском небе...

Подробность штурма

Страница штурма, о которой я сейчас расскажу, наверное, не самая значительная и решающая, но часто стоит она у меня перед глазами, хотя я не только не была очевидцем события, но даже не разговаривала ни с кем из участников его. Только читала воспоминания о случае, который хочу описать.

Первой на штурм Севастополя со стороны Качи и Мекензиевых гор пошла 2-я гвардейская армия и создала видимость того, что тут и будет направление главного удара. 9 мая на рассвете части этой армии вышли к Северной бухте и начали ее форсировать. В разведку на лодке отправилась группа Земкова Александра Федоровича. В группе было шесть человек, все они посмертно получили звание Героя, однако волею случая

лейтенант Земков остался жив и о высоком своем звании узнал в 1956 году, побывав в Севастополе. Но речь в рассказе не о том...

Вторым со своей группой плыл лейтенант Стрельченко, в сорок втором оборонявший Севастополь. Стрельченко плыл на плоту, сначала на одном, потом, когда первый разбило снарядами, на втором, тоже наскоро сколоченном. Но все это, и плот и лодка, были, так сказать, обычные подручные средства, и их оказалось явно мало.

И вот как гвардейцы вышли из положения, вспоминает Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов: "Находясь в этот момент в войсках, — пишет он, — я стал очевидцем весьма занимательного случая. По направлению к берегу двигалась длинная вереница бойцов, несших какие-то длинные черные ящики. Присмотревшись, мы увидели, что это гробы с белой фашистской свастикой по бокам.

Оказывается, фашистские интенданты позаботились о том, чтобы запастись на гитлеровских солдат в Севастополе побольше гробов. Выбив противника с берегов Северной бухты, наши части захватили этот похоронный склад".

И вот тащат эти гробы — не только «плавсредство», но и некое свидетельство немецкой педантичности и хозяйственной предусмотрительности.

— Что за спешка с гробами? — спрашивает удивленный генерал у какого-то дюжего старшины с прокуренными запорожскими усами и ловкой повадкой.

— На ту сторону будем переправляться! — кричит в ответ старшина, подкидывая на плече для убедительности небывалый груз.

— Они же не шпаклеванные?

— Ничего, звязками звяжемо — выдюжат! А так лодок, товарищ генерал, на берегу ни одной нема! — И обоим сквозь собственный крик кажется, что в этот день нет смерти, а есть только одно чувство: дошли, вернулись, вот он — рукой подать, город Севастополь...

Впрочем, генерал, наверное, понимает в любой момент, что смерть есть и скорее всего она унесет усатого старшину, как унесла сержанта Висовина и его товарищей, как уносит сотни в этот день. Но он тоже стоит на виду у смерти, и он равен старшине в этом и в чувстве нетерпения, хотя видит город в первый раз.

Мне кажется, если бы человек ничего не знал о русском характере, не читал ни Толстого, ни Симонова, ни Казакевича, то и тогда из одного этого эпизода, описанного Бирюзовым, этот характер встал бы перед ним достаточно отчетливо.

А между тем над Севастополем стоит ясный майский день с высоким небом и слабым ветерком с моря. Воздух наполнен рвущимся и ревущим металлом, но и в самой горячке атаки есть миг, когда ощущаешь и небо, и море, и прежние, как бы утратившие значение слова: красавец Севастополь.

Но нет, они приобрели только новую силу, когда не из газет узнал, не на фотографиях увидел, что стало с городом. И у тех, у кого не было личных счетов с немцами за Севастополь, они появились при виде его

ран, и гнали каждого через бухту — вцепиться в тот берег.

Генерал тоже видит то, что осталось от города... Он смотрит на развалины в бинокль, он трогает руками стены старинных укреплений, удивляясь мощной кладке еще времен Ушакова, он произносит слова, которые потом пригодятся истории. А в это самое время где-то там, уже на городской стороне, клоочет горлом, сдерживая рыдания, и не может уняться старшина с запорожскими усами. Он на время растерял всю свою деловитую расторопность русского солдата, присмотритесь к нему: он вернулся.

Он вернулся, и он жмет ее к сердцу, севастопольскую белесую землю, он дышит и надышаться не может запахом моря и ветра, слаще которых ничего нет на свете. А может быть, запах моря и ветра только чудится ему? Потому что все перебивает резкая гарь, потому что пороха, железа, тола истрачено столько, что два года потом не будет расти трава на Сапун-горе... Во всяком случае, так говорят севастопольцы: не росла.

Еще одна подробность штурма

А цейсовский бинокль цел у меня. И сегодня я посмотрела в него в перевернутый, будто могла появиться на том конце земли весна сорок четвертого... Будто я могла рассмотреть шоссе, по которому то ли мимо нашего алуштинского дома, то ли мимо партизан шла эта новая армия на Севастополь, влекомая чувством, которое не поддается описанию. Во всяком случае — моему. Оно не было только жаждой мести. И не было только азартом преследующего. В нем скорее жило

сознание: справедливость должна свершиться. А свершится не раньше, чем последний немец будет взят в плен на Херсонесе. Или убит, скинут в море с нашей земли. Вот в чем главная разница — с нашей поруганной, оскорбленной земли.

И вот о каком случае я хочу еще рассказать. Он произошел на мысе Херсонес, на той самой печальной памяти земле, где почти два года назад у тридцать пятой батареи закончилась наша оборона. (И я узнала о нем все из той же книги Бирюзова С. С.) Вокруг еще лежали остатки нашей техники сорок первого, еще в кустах валялись ржавые тельняшки, матросские пуговицы с якорями, и трава пробивалась сквозь густо насыпанные прошлые осколки, противогазные сумки, обрывки ремней, полосы пустых патронных лент...

Теперь здесь скопилась немецкая артиллерия, уцелевшие части, те самые офицеры, которые несколько дней назад грозились держать оборону города не восемь месяцев, как держали наши, а восемь лет. Они вещали: "Наш девиз — здесь не может быть отступления, перед нами победа, позади нас смерть. Мы будем здесь находиться столько времени, сколько нам прикажет фюрер, на этом решающем участке гигантской мировой борьбы..."

И вот теперь они с истерической поспешностью рвали документы, портреты Гитлера, срывали с мундиров знаки отличия, ордена. И уже не могли оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления наступающей нашей армии, занятые только одной мыслью: как сберечь жизнь. Мысль эта одинаково занимала и какого-нибудь рядового, мелкого Бауэра из Баварии и командира 111-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Грюнера, который

торопливо натягивал на себя солдатские сапоги и мундир. Впрочем, то же самое делали тогда и многие другие из больших чинов вермахта.

Очень скоро они, понурясь, пойдут в длинной колонне, и конвоиры станут торопить их тем самым русским "давай! давай!", которым, казалось еще недавно, суждено только им вовеки пользоваться на захваченной земле.

Захваченная и отбитая земля трудна под ногами, и командир 5-го армейского корпуса генерал-лейтенант Бемэ плетется медленно, постепенно переходя все дальше в хвост колонны. Он идет, заложив руки за спину, возможно, думая уже сейчас о том, что позднее выразит такими словами: "Я был поражен силой и стремительностью удара русских. Все было предусмотрено: сильные укрепления были, солдаты у меня были, был мой приказ держаться, во что бы то ни стало. А через пять дней от моих дивизий осталось 4000 человек. Непонятно!" Генералу Бемэ вольно удивляться непостижимости русского наступления, непостижимости русского характера, но я начала рассказ не о генерале, а вот о каком случае.

На рассвете 12 мая части Приморской и 51-й армий, после соответствующей артиллерийской и авиационной подготовки, пошли на Херсонес в решительную атаку. Но вскоре командир одного из корпусов 51-й генерал-майор Неверов доложил, что его войска вышли к морю и видят на поле "горы трупов".

— Откуда убитые? — удивился начальник штаба фронта, слушая его. — Настоящего сражения-то еще не было?

Но все новые и новые донесения подтверждали: вся земля впереди покрыта мертвыми телами.

Неужели массовое самоубийство? Однако к этой мысли начальник штаба отнесся недоверчиво. Слишком хорошо он знал характер недавних храбрых вояк. С чужой жизнью рассчитывались они не задумываясь, но не со своей, драгоценной, арийской. И в самом деле, стоило частым К. П. Неверова миновать пространство, где валялись убитые, как «мертвецы» бодренько вскочили и подняли руки. Сейчас их интересовал только один вопрос: "Где плен?" То есть, куда можно сдать себя под надежную охрану, перейти из одной категории в другую, деловито зашагать по пыльной дороге под эти окрики: "Давай! Давай!", под собственные заверения: "Гитлер капут!"

Ах, это была бы страничка скорее юмористическая, чем какая-нибудь другая, если бы не печаль, от которой нельзя освободиться, когда думаешь о мысе Херсонес.

...Да, тут могла бы сложиться и юмористическая страничка, если бы, на первый случай, речь шла не о Севастополе. Если бы не так обильно были политы нашей кровью все подступы к городу и сами его улицы. И еще если бы те десятки тысяч немцев, которых недосчиталась здесь за несколько майских дней немецкая армия, сразу так и были бы отштампованы в качестве жестоких и надменных винтиков военной машины, а не родились от живых женщин. Если бы они не бегали в школу, потряхивая ранцами, мелькая голыми коленками. Если бы не болели корью, не радовались рождественским подаркам, не учили когда-то наизусть "Лорелею"...

Хмурый Черчилль

Премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Ялтинской конференции не устраивало многое. Прежде всего — почему Ялта? Почему Крым? Почему будто в пику ему выбрали именно этот злосчастный полуостров?

Очевидно, недовольство Черчилля переросло бы в ярость, узнай он, что друг и советник Рузвельта Гарри Гопкинс, первым предложивший Крым для совещания представителей великих держав, выбрал полуостров как раз потому, что читал "Севастопольские рассказы" Толстого.

Черчилль этого, надо полагать, не знал. Но и без такой подробности выбор места почти оскорблял его...

Приехав в Алупку, он, правда, смягчился: Воронцовский дворец, отведенный английской делегации, был несравненно пышнее и, следовательно, престижнее, чем отданный американцам белый Ливадийский. И, тем более чем Юсуповский, где остановились русские. Кроме того, Воронцовский дворец был построен в модном в свое время в Англии феодально-романтическом стиле. Черчиллю это импонировало.

Однако успокоения, которое он сам почувствовал при взгляде на серые зубчатые стены, хватило ненадолго. Из всех сидевших во время заседаний за круглым столом в большом зале, бывшем императорском бальном, Черчиллю больше всего был неприятен член советской делегации, заместитель наркома иностранных дел Иван Михайлович Майский. И вот почему...

В Англии ценят острое слово. Слова же Майского о том, что "нельзя ждать, пока последняя пуговица будет пришита к куртке последнего солдата", были, безусловно, остры и в свое время облетели королевство с быстротой если не молнии, то, во всяком случае, радиоволны...

Видеть Майского перед собой в течение всех заседаний Черчиллю не доставляло никакого удовольствия. Впрочем, лица других членов советской делегации раздражали его не меньше. Россия была соперница, и та уступка, которую он принес, приехав в Крым, угнетала премьера. А может быть, его угнетала сила, живучесть русских? И хотя в настоящее время эта сила спасала Европу, *старую добрую* Англию, Черчиллю она была враждебна...

Он смотрел на шпалеры войск на сакском аэродроме, куда прилетел с Мальты, и его раздражала нарядность молодых вскинутых лиц. Он осматривал дворец, и его раздражало даже то, что русские сумели отремонтировать и обставить его прилично случаю. И тут — как это у них говорится? — не ударили в грязь лицом...

Он был умный человек и понимал, что президенту Рузвельту ничего не стоило привезти с собой не только целую типографию, например, но и поваров филиппинцев, которые готовили экзотические угощения, странные на этой земле, все еще изрытой окопами. Рузвельту ничего не стоили его филиппинцы, а русским ремонт дворцов, уборка парков, все те удобства, какими они старались окружить гостей, влетели в копеечку. Но они расставались с этой «копеечкой» широко, улыбочиво — и это тоже раздражало...

Надо думать, была правда в утверждении: Черчилля устроило бы, чтоб, по крайней мере, целое поколение СССР и Германии после войны бродило на костылях, лишь бы Англия прибыла к финишу в доброй форме боксера. В интересах Великобритании премьер готов был идти по какой угодно скользкой дорожке. Однако и внутри королевства находились люди, и не только среди низов, считавшие его поведение недостойным.

...В то утро, когда нельзя уже было отвертеться от вопроса о репарациях, Черчилль встал особенно хмурым. Короткий, бычий затылок его давило от нежелания уступить. Не то чтобы русские просили много. Репарация была смехотворно малая цена даже за одни разрушения, не говоря о миллионах смертей... Но русским репарации помогут встать на ноги раньше, чем рассчитывает он, всю жизнь ненавидевший большевиков.

В молодости, во всяком случае, в относительно молодом возрасте, он организовал интервенцию против страны, куда ему в эту весну так не хотелось лететь. Может быть, как раз потому не хотелось, что интервенция не увенчалась успехом? Как, впрочем, и другая, почти вековой давности, в которой участвовали его предки?

В этот день Черчилль все-таки поставил свою подпись под соглашением о репарациях. Поставил нехотя, скривив рот в усмешке, оговариваясь дежурной своей фразой: "Сделаем, что сможем", злясь на Рузльвета, безоговорочно взявшего сторону русских.

Потом он поехал в Севастополь. Севастополя собственно не было: несколько относительно уцелевших домов стояло в нем среди развалин. В Англии премьер тоже, конечно, видел остовы разбомбленных домов. Но

такого большого и целиком уничтоженного города он не знал, и в то же время не мог не понимать, что тот отнюдь не уничтожен: нельзя уничтожить город с такой могучей силой сопротивления, с такой памятью.

В памяти заключалось главное. В Англии, стране традиционной, память играет особую роль, бывает возведена в культ. Уинстона Черчилля в Севастополь тоже привела память.

Стоя на старом английском кладбище, Черчилль мог думать о многом. Например, о том, что именно прадеды вон тех матросов в робах, вышагивающих по улице с лопатами на плечах, стреляли с Федюхиных высот в его предков. В тот злосчастный день давней интервенции это было, когда в одной атаке глупо погибла вся английская легкая кавалерия — гордость и цвет нации. На английском кладбище, где был похоронен и его родственник, отпрыск герцогского рода Мальборо, премьер долго бродил между могилами, наклонялся к плитам, стараясь прочесть почти неразличимые надписи.

Может быть, именно тут, на кладбище, Черчилль подумал о себе, привычно самодовольно, как о человеке, которому нация очень обязана. За шесть лет для других такой истребляющей войны англичане потеряли не так много убитыми еще и потому, что он хитрил, притворялся, выворачивался. Хотя прекрасно знал, сколько горячих голов и на родине его не одобряет. Хотя не раз слышал, что Рузвельт сравнивает его неуступчивость с тачкой, которую надо тащить в гору.

Интересно, подумал ли Черчилль в Севастополе вот о чем: что соотечественники его дышали, радовались солнцу в какой-то мере за счет сопротивления тех, кто погиб в этом городе и во многих других русских городах?

Но, возможно, как раз эта обязательная, с нашей точки зрения, мысль Черчиллю в голову не пришла.

Впрочем, в чем я уверена: не мог он не ощущать уязвленности в этом городе, когда вспоминал, как мало славы принесла англичанам в 1854 году осада Севастополя и как много — русским. А он не любил и не привык ощущать какую бы то ни было уязвленность, вот и хмурился...

Дни и годы

Подвиг этой женщины был не мгновенен — он длился целый год. Впрочем, все прошло бы незамеченным, не напиши Константин Симонов свои "Южные повести". В первой из них, которая называется «Пантелеев», — о событиях на Арабатской стрелке — есть такое действующее лицо: Паша-шоферка, Паша Горобец...

Читая книгу, каждый волен, так или иначе думать о ее прототипах. А чаще всего мы о них вообще не думаем, и "правда жизни" — понятие вовсе не равнозначное очерковой достоверности. Но в данном случае, очевидно, все встреченное Симоновым на самом деле было так ярко, что не очень нуждалось в домысле.

Встретилась я с Пашей Горобец в Керчи, где живет сейчас Прасковья Николаевна Колупова-Анощенко.

...Уже тридцать лет прошло, а все-таки в Прасковье Николаевне можно было различить ту голубенькую, натянутую, как струна, запыленную и бесстрашную шоферку. Глаза у нее под густыми, но аккуратными бровями еще синели молодо и радостно. А губы

морщились в улыбке, которую она все хотела унять, да это у нее не получалось.

Как когда-то молоденькая девушка, только начинавшая жить, так теперь пожилая женщина считала: для посторонних, по крайней мере, для журналистов, могут быть значительны и интересны только те месяцы, которые она провела в армии.

На Арабатской стрелке она действительно возила мины, "и живых, и мертвых, и что скажут". И действительно был полковник Ульянов, пожилой уже, некрепкий здоровьем, потом он погиб. Вызывал он Пашу не раз: "Надо миномет свезти", "Надо под Геническ — узнать, заняли ли немцы..."

Осколки чиркали по бортам: "Как-то так я повернулась: оно в бок. Бак не задело, мотор не задело. Потом зашла машина в промоину, спасли меня кусты лоха, богатые были кусты, выше роста..."

Когда речь идет об опасности, угрожающей лично ей и проходившей не то, что рядом — впритирку, рассказывает Прасковья Николаевна об этом буднично.

Итак, на Стрелке запомнилась, главным образом, не опасность, а то, как она, отправляясь к Геническу с молоденьким лейтенантом, поклялась живой в плен не сдаваться. И такое это было огромное чувство твоей необходимости не в своем маленьком, семейном деле, а в деле общенародном.

"Паша, свези мины" звучало, как "Паша, выручи".

И уж как она радовалась, что могла выручить! Плена же больше всего боялась, потому что знала: будут пытаться. И вдруг не выдержит? Вдруг выдаст под пытками

какую-нибудь тайну? А потом — самое страшное — еще чего доброго останется жить с таким позором?

А как пытаются — очень хорошо она могла себе представить: видела тело сожженного заживо комиссара. Только на запястьях у него сохранились лоскутки кожи.

Плену она совершенно серьезно предпочитала смерть, ту самую, которая была вокруг. "Возила и живых, и мертвых..." — это не для красного словца сказано.

...Приехала недавно в Сольпром, поселок на Стрелке, где ей все хотелось побывать. Смотрит — никаких следов могилы братской нет.

А она — как знала — так волновалась об этой могиле. Особенно, когда стали по всей стране отыскивать захоронения, приглядывать за ними, находить имена. Ей казалось, что те парни, которых она на полуторке возила к их последнему дому, там, на Стрелке, как сироты. Она сначала выросла, теперь уж и постарела, а они для нее оставались хлопцами...

Посмотрела она, значит, на пустое место, где раньше была могила, и спросила:

— А ребята где?

Ее сначала не поняли. Как-то непривычно, будто не об умерших, а об отлучившихся на короткий срок, она спрашивала. Потом ответили:

— В Геническ перевезли. Там хорошо похоронили.

Успокоилась. И все-таки не совсем успокоилась. Почему-то ей казалось: солдату легче лежать в той земле, которую он лично защищал...

Вот то, что касается Арабатской стрелки. А потом начались испытания еще более трудные. Опять-таки в

качестве шофера они участвовала в первом Керченском десанте. Опять возила и живых, и мертвых, и что скажут.

А потом отступление, окружение в Сальских степях...

На Стрелке тоже было страшно, нашим тоже приходилось туго, но там был какой-то взмах, взлет сил. И там были свои, домашние места, отступление не зашло еще так далеко.

...Из окружения Паша Анощенко так и не вышла, вернулась на Керченский полуостров. К себе, на Сольпром, пойти побоялась: сказали ей, что тамошний полицай держит у себя в столе очерк из воинской газеты. Тот самый очерк, что написал о ней сразу же по горячим следам Константин Симонов.

Была в этом очерке гордость и радость, стало горе...

Было невозможно даже представить, что к тем строчкам или даже не к строчкам, а к той молодой, задорной и в общем, счастливой девочке-шоферке притрагиваются грязные, проклятые полицейские руки.

Паша уже стала как бы отделять себя сегодняшнюю от той, что была на Стрелке, от той, о которой собирался написать книгу сражавшийся рядом капитан Дудник, о той, о которой был симоновский очерк в "Красной звезде". Но старалась вести себя так, чтоб быть достойной Паши-шоферки.

В общем, рассказ об оккупации — это рассказ о голоде, холоде и страхе, который охватывал вдруг, потому что на человека обрушивалось одиночество. Вернее, усиленно культивируемое фашистами чувство разобщенности...

..."Паша, миномет подкинуть надо..."

Неужели это была правда? Они дрались, могли умереть, но они были каждый рядом с другим, свои среди своих... А как они с тем лейтенантом клялись: если что живым в руки не сдаваться. И не сдались бы...

Наши освободили Крым, и Паша снова стала шофером.

Долгая жизнь прошла с тех пор, как о ней Константином Симоновым были написаны такие строки: "Нам, всем до одного, хотелось сказать ей, что нам легче воевать и умирать, когда видишь рядом с собой ее, озорную девчонку из деревни Полевые Новоселки, беззаветное русское женское сердце, которое даже не назовешь золотым, потому что нет ему цены..."

Такая долгая жизнь прошла, что может, и не о ней это?

Сначала, сразу после войны, за праздничным столом или с мужем наедине она вспоминала, рассказывала, как это было. Но постепенно не то чтобы подробности стерлись, а так... Не очень ей верили, что ли... Работает на ферме, таскает то ведра с пойлом, то еще что, вечно семьей озабочена, детьми... При чем тут полуторка, насквозь прошитая осколками, при чем тут "Надо миномет подкинуть, Паша"?

Или, может, она не умела рассказать как следует?

Но еще суждено было встретиться Прасковье Николаевне Колуповой со своей молодостью, с Пашей-шоферкой. Дело в том, что Прасковья Николаевна после долгих раздумий решила написать К. М. Симонову. Письмо было с просьбой прислать, если можно, ту газету, где печатался очерк о Паше Анощенко, и ту повесть, где

автор рассказывает о Паше Горобец. Не то чтобы ей хотелось иметь какие-то вещественные доказательства своей храбрости, своего служения Родине. Просто хотелось обратиться к человеку, который видел ее в самый яркий момент жизни и так верно понял.

Вскоре пришел ответ на письмо. Потом появилась статья писателя в «Известиях». Старые приятели оглядывали теперь Прасковью Николаевну не без удивления: "Смотри, Паша, все так и было, как ты рассказывала..."

А я хоть подобных слов не говорила, но тоже удивлялась. Чему? Нет, я не находила, что нынешняя жизнь ночного сторожа при каком-то там сельском объекте недостойна и не соответствует началу Паши-шоферки. Я понимала: в пятьдесят лет с пятью детьми, с внуками, с больными ногами и заботами о доме удобно дежурить, чтоб потом двое суток по свободе обстирывать, обшивать, варить, на огороде возиться.

Чему же я все-таки удивлялась? Силе того впечатления, какое оказала Паша Анощенко на писателя? Точности, с какой характер живой женщины лег в характер образа? Во всяком случае, удивлению моему суждено было продолжиться. Когда этот рассказ был уже окончен, я взяла в руки четвертый номер журнала "Дружба народов" за 1974 год и в опубликованных там воспоминаниях Константина Симонова прочла:

«"Русские люди" писались среди войны, и за персонажами пьесы почти вплотную стояли люди, которых я видел и о которых вспоминал.

За городским головой, доктором Харитоновым, стоял для меня феодосийский бургомистр Грузинов.

За водителем полторки Вале́й Анощенко была запомнившаяся встреча в Крыму на Арабатской стрелке с бесшабашно храброй двадцатилетней девушкой-"шоферкой".»

Вот так-то... Даже фамилия не изменена.

А образ-то получился не очерковый, только на этот случай. Образ, оставаясь связанным с Пашей Анощенко, как бы вобрал в себя лучшие черты молодых, совсем молодых женщин, ушедших в армию, тоже возивших снаряды, выволакивавших с поля боя раненых, ходивших в разведку, служивших связистками. И отличавшихся не только храбростью и чистотой, но еще и заранее проснувшимся материнским, охраняющим инстинктом.

В молодой своей героине писатель как бы не разглядел, а предугадал это начало: броситься, отдать свою жизнь, чтобы сохранить **жизни**. И не только, чтоб сохранить жизни: еще и за тем броситься, чтоб идеалы сохранились, чтоб не порвалась цепь времени...

...Я хожу по пескам Керченского полуострова. Голубые, чистые ракушки лежат у воды. Цветет терн, размываются, тают в воздухе серые кусты лоха. Летают стрижи, жестко, веселыми кругами прочерчивая воздух. Жизнь легко пробивается сквозь последние, почти занесенные временем следы войны. Редко теперь поднимешь с земли осколок, найдешь нетленный солдатский ремень, белую кость, вымытую дождями. Все вбирается в себя земля. Все, кроме памяти. Память живет в здешних краях, для меня, по крайней мере, здесь она живее, чем во многих других. Очевидно, у каждого

на земле есть свое место, вполне конкретное, с адресом и будничными подробностями пейзажа, которое приобрело значение символа. Место, к которому необходимо возвращаться в мыслях, в поездках, чтоб еще раз ощутить цену жизни.

Не только своей или тех, с кем ты знаком, за кого боишься. Цену жизни вообще. Той, что была однажды дарована природой, потом должна была погибнуть, так просто, по прихоти все позволяющего себе фашизма, но осталась для продолжения, для торжества, потому что ее отстаивали такие, как те, о ком я писала в этих главках.

Своя земля

День, когда пришли наши

В то утро я проснулась с ощущением, что уже ничего не может случиться плохого.

Было тихо, на стене сияло солнечное пятно, точно так же, как два с половиной года назад, до оккупации. Мы жили теперь, удрав из Алушты, в совхозе «Большевик», и вчера еще наше село должны были спалить, а с нами неизвестно что сделать. Однако ничего не сделали и уже не сделают...

— Тоня пришла? — спросила я у бабушки, хотя было ясно: если бы пришла, меня разбудили бы.

— Еще не пришла, — сказала бабушка и добавила: — а мастерские все-таки горят. Надо выйти из дому, переждать где-нибудь.

Было очень раннее розовое утро, и огонь, тоже розовый, еще не страшный, только набирал силу, потрескивая негромко. Мы, прислушиваясь к осторожному потрескиванию, толпились на всякий случай подальше от горящих мастерских, но не боялись: уже ничего не могло случиться плохого...

И вот тут-то появился этот немец. Он был до изумления такой, какого я мечтала увидеть все длинные дни и ночи оккупации. Дело в том, что он бежал через наше село совершенно так, как рисовалось на плакатах Кукрыниксов в первые месяцы войны. Возмездие, полное, блаженное, заключалось в том, что — совершенно так. Однако, мгновенно насладившись этим блаженством, я почувствовала, насколько стало бы оно полней, если бы

вместе со мной бегущего немца увидела Тоня, девочка, с которой я дружила всю войну. Впрочем, возможно, она его и увидит, встретит где-нибудь по дороге. И те же два покоренных огромных ботинка будут болтаться у него на плече, связанные шнурками, и то же выражение задохнувшегося ужаса на носатом худом лице увидит Тоня...

...Между нарисованным и живым немцем прошла целая вечность: почти три года войны. И эти три года, за которые я стала взрослой и как бы уже не молодой, стояли сейчас у меня за спиной, заставив вспомнить плакаты, выставленные осенью сорок первого в пустых окнах магазинов на алуштинской набережной. И мешки с песком в других окнах я тоже вспоминала, и противотанковые рвы, которые мы рыли в твердой глине Рабочего уголка, и полуторки с шаткими бортами, проходившие через город в оцепенелой тишине отступления.

Сегодняшний немец был возмездием за все это. Я наслаждалась тем, как на всем бегу он влетел в плоскую лужу на площади, как не мог почему-то свернуть на сухое и мчался вперед, разбрызгивая грязь.

Я могла смеяться и прикидывать, как расскажу обо всем Тоне: уже ничего не должно было случиться плохого. Но как раз, когда немец завернул за водокачку, с противоположного кона площади показались низкая широкая немецкая же машина. Она тоже врезалась в лужу, а потом за поворотом, скрывшим ее, раздались три негромких выстрела.

Мы побежали туда: вытянув вперед руку и поджав ногу, в непросохших еще колеях лежало мертвое тело

того немца. Оно было плоским и казалось как бы не настоящим.

Во время оккупации я терпела и голод, и холод, куда уже больше, но все-таки это было не главным. Главным была та ненависть, которую ежечасно, может быть, даже ежеминутно я ощущала и терпела в себе. Ненависть эту нельзя было выразить в открытую, в чем заключалось самое тяжелое.

Говорят: "Я сидела и ела, я сидела и писала". О себе могу сказать: если к нам в комнату приходил солдат или офицер, я сидела и ненавидела его, и это был вполне определенный процесс, сжигающий сердце, обгладывающий мои почти еще детские лета. Я ненавидела их больше всего за то, что они не знали, как мы жили в той, нашей жизни, где были пионерские галстуки и книги, и костры, и целые туфли на перепонке. Я ненавидела их за то, что они листали перед носом у нас яркие журналы и кричали: "О, спорт — карашо! Ви будет иметь спорт!" Или, как вечный патрульный унтер — Фриц, грея у нашей печки задубевшие руки, объяснял, что в Германии на таких простынях, как наши, не спят. Там белоснежные полотняные считают дюжинами и стирают настоящим мылом...

...Однако немец, лежавший у наших ног на проезжей дороге, на Фрица не был похож. Он был похож на другого, которого бабушка прозвала *Тотальным*. Тотальный появился прошлой осенью, и Тоня, подталкивая меня локтем, чтоб я не пропустила зрелища, крикнула тогда: "Ой, лышенько! Откуда они тебя, такую хворобу, выскребли в свой останний час?"

Однако до *останнего часа* осенью сорок третьего было еще далеко, хотя впечатление Тотальный

производил сильное. Шел он по селу в шортах и почему-то в каске, огромные ревматические колени его были похожи на какие-то нашлепки, а весь Тотальный на сухую, тонкую деревянную куклу. Для нас с Тоней он был только признаком того, что война идет к нашей победе. Бабушка же интересовалась и его судьбой. Оказалось, в мирной жизни Тотальный был прачкой, да и сейчас обстирывал тех, кто в механической мастерской чинил прибывшие с фронта танки... И ревматизм у него был, потому что прачка, и жениться не смог — потому что прачка. "И Гитлера своего ненавидит по этой же причине", — добавляла бабушка.

"Шиско едно!" — говорил Тотальный о своем будущем по-польски; «эгаль» — по-немецки [по-французски — *Прим. lenok555*]; "всё равно" — по-русски. "Работа, арбайт, давай, давай!" — именно это ждало его в любой части земного шара, так какая разница?

Разница была для других. Например, для Фрица. Фриц состоял вечным патрульным при механических мастерских, где чинились немецкие подбитые танки. В паре еще с кем-нибудь он обходил улицы поселка, врываясь в дома с криком: "Партизанен никс? Партизанен никс?" При этом Фриц устрашающе тарасил глаза, а иногда, сдергивая автомат, хватал за плечо меня, маму, бабушку, ставил к стенке, делал вид, что уже нажимает спусковой крючок. Толстое лицо его взаправду наливалось кровью, в толстом горле булькало: "Маленький, мамка, гросс мутер — аллес!" Это означало: на всех нас, не рассуждая, поднимет он руку, если что...

Тоню Фриц тоже пытался прислонить к стенке, но она отталкивала его, короткая верхняя губа ее при этом

поднималась угрожающе. Фриц Тоню отпускал и кричал, тыча ей в грудь толстым своим пальцем: "Партизан! Партизан!" Это, надо понимать, была шутка, и Фриц взглядом приглашал окружающих оценить ее: действительно, всего-навсего семнадцатилетняя девчонка, а ведет себя так, что он вынужден сравнивать ее с этими разбойниками.

Фриц исчез из села еще на прошлой неделе, напоследок объяснив нам, что оставшиеся перед отходом сожгут все: "Аллес!" Палец его вдохновенно описывал дугу, захватывая наш дом, вообще деревню, школу, мастерские. Но успели — только мастерские, с которых теперь, в разгар утра, с воем и грохотом, взлетали черные искореженные куски крыши. Мы смотрели на эти куски, парящие в воздухе, и тут кто-то крикнул: "Наши идут! Уже наши идут на танках!"

Все во мне рванулось навстречу этим танкам, но сначала навстречу Тоне, туда, всего-навсего за стенку дома, где она жила еще недавно и где ее сейчас не было, потому что ее угнали, арестовали недели две назад, а за что — не было известно.

Но ничего, утешала я себя, накидывая платок. Во-первых, эти же танки Тоня где-нибудь тоже встретит. А во-вторых, я все как следует запомню и расскажу, как все эти два года мы рассказывали друг другу самые важные новости.

Я действительно запомнила. Картина эта врезалась мне в память на всю жизнь: небо стояло куполом, а под ним по зеленой, очень плоской и очень далекой видной степи один за другим шли танки... Мы кидались каждому навстречу, почти под гусеницы, мы хотели, чтобы хоть один танк остановился, но танкисты, поднявшись в своих

башнях, показывали нам руками, что надо разомкнуться, они спешат. Однако немцы бежали так, что непонятно было: зачем спешить? О тех, кто еще ждет, мы не думали. Вряд ли мы вообще о чем-нибудь думали: пришли наши — и все.

...Наконец, один танк остановился. Надо было дотронуться до его брони, а если можно — до руки или гимнастерки кого-нибудь из ребят, которые сидели на броне так, как будто им гармошки только не хватало. Женщины сообразили мигом и вот уже поднимали ведра с молоком, прихваченные в надежде, что ведь остановится какой-нибудь. И я, помогая женщинам, черпала кружкой из ведер, носила, пробиваясь локтями, к самому танку.

Потом, когда танки прошли, к вечеру уже в село въехали на бронетранспортерах, на грузовиках наши войска, то есть молодые, улыбающиеся люди в гимнастерках. Помню, все были красивые, и золотой светлый блеск погон как-то сливался с блеском молодых, длинных волос, с наивно-нарядной желтизной цветов одуванчиков, вообще с тем золотым свечением, которым был наполнен мир.

Я жила в эти дни детской просторной, как вздох, уверенностью, что уже ничего не может случиться плохого, и ждала Тоню. Нетерпение мое все усиливалось; потом стало расти чувство тревоги. Но мне еще удавалось некоторое время отгонять его: может быть, ничего плохого все же не случилось? Просто Тоня пошла в армию, это было по ней — пойти в армию. Пока то-сё, потом напишет.

Все новые и новые части двигались через село, пахли молодые длинные листья травы, в зеленом небе далеко и нежно зажигалась первая звезда...

Через неделю или дней десять пришла чужая женщина из-под Симферополя, сказала нам, что немцы уничтожили всех на территории совхоза «Красный», в том самом лагере, где, как доносили до нас разговоры, сидела Тоня. И если кто из нашего села был там, надеяться не надо. Так мы узнали о Тониной смерти. Почему ее схватили, я не знаю до сих пор. Может быть, она была партизанской связной, а может быть, какому-нибудь немцу, тому же Фрицу, не понравился ее ненавидящий взгляд, ее короткая губка над молодыми, белыми зубами...

Бросили ли Тоню в колодец или закопали живую в противотанковом рву, я не знаю. Для меня она как будто не умерла, а ушла, оглядываясь на нас, по летней дороге, вдоль которой на голых стеблях голубеют звездочки цикория. Такие же звездочки у Тони на сарафане, по подолу. Но на молодой, высокой груди сарафан совсем выцвел, натянулся...

Стоит человеческой жизни

Мы приехали в Феодосию по служебным делам и, не сговариваясь, решили, прежде всего, "пойти в гости к Айвазовскому", как выразился наш шофер Борис Петрович. У него было к Феодосии свое, особое отношение: он приходил сюда с десантом в 1941 году. И, может быть, именно поэтому в галерее Борис Петрович, прежде всего, бросился не к картинам, а в тот зал, где экспонируются фотографии и документы.

— Вот смотрите, какие щепки оставили немцы от этого здания.

Палец его уперся в стекло. На фотографии за стеклом щепок не видно, но видны груды камня, провалы стен.

Потом идем к картинам.

"Как хорошо быть победителем, как великолепно прославлять оружие родной страны, как величава победа, которую ты одержал", — наверное, так должен думать всякий, глядящий на картины Айвазовского. Очевидно, что-то в этом роде приходило в голову и Борису Петровичу, когда он стоял посреди зала и долго, пристально смотрел на розово-лиловые клубы дыма, на воду, отразившую пламя пожара, на острые шпильки мачт...

— Вот кого не хватало наш десант отобразить! Натура — лучше не надо: каждый вал — девятый, — сказал Борис Петрович и добавил другим, будничным голосом: — В восьмибалльный шторм шли на морских охотниках.

При этом он оглянулся, перебирая картины, наверное, искал ту, которая шла бы в сравнение с пережитым... В сравнение ни одна не шла, хотя на некоторых тоже палили пушки и кончались чьи-то дальние жизни. И сколько потом мы ни ходили по залам, среди самой неподходящей, золотисто-голубой красоты, он все вспоминал, как прыгали в ледяную воду с катеров, как отбивали причалы, чтобы в порт могли зайти крейсера "Красный Крым" и "Красный Кавказ".

— На восемь минут было дела, а ребят полегло, на все эти картины хватит...

...Вот так поговорили мы, сравнивая войны, и потом отошли от этих разговоров, просто смотрели на море, которое каждый из них любил и рисовал по-разному: Айвазовский, Богаевский, Латри, Волошин... Моря было много, и к концу оно как бы наполнило и нас рыжим кругом расплавленного золота, упавшим в середину вселенной, розовой волной на закате, чистым ночным холодом у стен старых крепостей. И вот, когда под шум этого моря мы вышли из картинной галереи, у дверей ее услышали шум совсем другого рода. Девушка-экскурсовод отбивалась от посетителей.

Рабочий день кончился, и на девушку не действовало умоляющее: "В виде исключения". С одной стороны, приезжие из Ялты спешили в Феодосию специально ради галереи, но, с другой, — только начали делать исключения... Еще несколько минут, терпение и доводы иссякнут, стороны разойдутся, взаимно недовольные. И вдруг какое-то движение, чей-то негромкий голос раздался, и люди один за другим, один за другим вошли в галерею.

"Вам повезло, — сообщила доверительным шепотом та, молодая, что была так непреклонна. — Вас сама Барсамова поведет". Дальше так и напрашивалось: "В виде исключения".

Возможно, иной раз так и говорили. Но я бывала в картинной галерее Феодосии и летом, и зимой, и в будни, и в ее выходные дни, и всегда именно при мне происходили эти давно уже ставшие закономерностью исключения. Иногда экскурсия в неурочный час стучалась уже не в двери галереи, а прямо в двери квартиры Барсамовых, благо она тут же была во дворе. И эти двери открывались. Выходил старик, из тех, кого в

дни молодости называли, наверное, ныне уже редким словом «импозантный», и усталая худенькая пожилая женщина.

Это были Софья Александровна и Николай Степанович Барсамовы.

Спросить бы у любого жителя Феодосии, давно ли при галерее работают Барсамовы, вам ответили бы: всегда. В самом деле: сорок лет для человеческой памяти такой срок, о котором уже говорят «всегда». Всегда Николай Степанович Барсамов был директором галереи. Всегда Софья Александровна была научным сотрудником, хранительницей фондов. Всегда она и он водили экскурсии сверх всякой нормы и всяких положенных сроков.

Мы часто говорим: "Трудовая вахта". А ну, произнесите и сейчас мысленно эти слова. Что за ними встанет? Во всяком случае, не работа сотрудников картинной галереи. А почему — нет? Прежде чем сказать это «нет», узнайте: сорок лет назад, когда Барсамов начинал свою работу, в галерее было всего 49 полотен Айвазовского. Сейчас их более четырехсот.

Даже чисто физический труд, какой взвалили себе на плечи Барсамовы, не так уж мал. А сколько сердца требует он!

В одном из залов галереи иногда выставляется узкое длинное полотно — картина Николая Степановича Барсамова: "Феодосия зимой 1945 года". Снег, пустыри, тускло-желтый песок и груды камня. Больше ничего нет. И галереи тоже нет, одни развалины.

Представьте, как стоял где-то на холме Барсамов и рисовал свою Феодосию зимой 1945 года. Именно свою

Феодосию, свой город, свою галерею, дело всей жизни, которое хотели загубить фашисты. Или как он вместе с женой ходил вокруг, когда от галереи действительно осталось то, что называется "одни щепки".

Или как он, уже глубокий старик, ездил по городам страны, вел бесконечную и не всегда спокойную переписку, потому что где-то заблудились полотна Айвазовского (например, в вестибюле столичного ресторана), где-то хранились небрежно и могли погибнуть этюды Латри, картины Богаевского.

Служение искусству или, вернее, народу, которому принадлежит это искусство.

Свои мысли я высказываю вслух, но один из нас, самый молодой, отмахивается:

— Это что! Вот в Севастополе тоже старик один, так он на военном катере в последние дни картины вывозил под бомбежкой...

— Крошицкий?

— Да. Он тоже директор галереи был. Не знаю, сейчас работает, нет...

Историю Крошицкого в Крыму знают многие. Крошицкий вывез сотни полотен из Севастопольской картинной галереи уже во время боев на Мекензиевых горах.

Корабль под погрузку подошел как раз тогда, когда Крошицкий оказался на пристани один. Сотрудники музея, дежурившие с Крошицким, отлучились в бомбоубежище, посмотреть, что с близкими. Семьи Крошицкого тоже не было рядом.

...Моряки работали быстро, молча. Стонала готовая расколоться до самых недр земля. Было просто по-человечески страшно, не только оттого, что снаряд в любую минуту мог долететь сюда, что в открытом море ждали немецкие самолеты. Надо было решать, кого выбирать: сына, жену, мать или их, эти ящики с улыбкама мадонн, с фламандскими натюрмортами, русскими полями и перелесками...

Человек не может выбрать такое, не колеблясь. Это, наверное, только в представлении очень юных Крошицкий мог бодрым шагом взойти на борт корабля и потом спокойно наблюдать фонтаны взрывов. И спокойно слушать зловещий гул бомбардировщиков...

Заканчиваю свое повествование, и тут Борис Петрович говорит тихо:

— Барсамов тоже увозил полотна на военном корабле и тоже в последнюю минуту. И ящики они с Софьей Александровной сбивали из заборов, из всяких досок от развалок, точь-в-точь, как в Севастополе.

— Барсамов? Вот этот?.. — Самый-Молодой-Из-Нас недоверчиво смотрит на Бориса, кивая к себе за плечо.

Что делать, для иных подвиг мыслим только в тельняшке. Они и Крошицкого, наверное, представляют не пожилым и болезненным человеком, а морским волком. Однако, пока идем по набережной, Самый-Молодой-Из-Нас несколько раз оглядывается на галерею, будто собираясь вернуться.

Чего ему хочется?

Еще раз взглянуть на картины, ради которых люди рисковали жизнью?

Или лучше рассмотреть Барсамова?

Или решить для себя: а я бы смог?

Своя земля

Зимой 1941 года, во время Керченского десанта, странный человек шел по льду пролива. К армии он не имел никакого отношения. Это каждый понял бы сразу, не только потому, что человек был в штатском. Он сильно припадал на одну ногу, да и скрип раздавался от этой «ноги» порядочный: человек шел на протезе.

Вокруг рвались снаряды, косо сбивали ледяную крошку осколки, лед то и дело разверзался темной бездной, а он все продвигался вперед, трудно, упорно, непреклонно. В одном месте он примостился было на санях, везущих бочки с горючим, но сани попали в полынью, он еле успел откатиться. Потом его пожалели саперы, чуть не волоком потащили за собой. Так и въехал он на крымский берег на саперной лопате, уцепившись за нее коченеющими руками.

Видно, очень надо было человеку в Крым. Звали человека Николай Иванович Парельский.

Перед войной Николай Иванович Парельский работал председателем Приморского райисполкома, а во время войны дважды вместе с десантом приходил на свою землю. По существу, приходил на самую передовую, потому что не что иное, как фронт, представляла тогда огненная земля Керченского полуострова. Да еще надо было переправиться на нее.

Тогда, на льду Керченского пролива, Парельский поверил в свое бессмертие, вернее, в то, что ничего с ним не случится. Он просто неуязвим для пуль, осколков,

мин, если уже прошел крошечный ад переправы. И это была такая озорная мальчишеская уверенность: хотелось сорвать с головы шапку, подбросить ее в небо, заорать не своим, срывающимся пацаньим голосом.

Что ничего не случится, знал он все время, пока ждал в Керчи наступления. Это была его земля еще и в административном смысле слова, и для нее он припас совсем особое. Говорят, когда Парельский второй раз, уже в сорок третьем, шел в Крым, в рюкзаке за спиной нес не продукты, не сменное белье — семена помидоров, свеклы, петрушки. На огненной керченской земле, под обстрелом, танками вспахал он огород. Бойцы приходили взглянуть на этот мирный клочок, как на чудо, и были такие, у кого на глаза наворачивались слезы, а у других еще жестче сжимались челюсти, а третьи торопились. Торопились, потому что, сколько еще полей ждало мирных всходов.

После войны Парельский очень хотел работать в районе, где с гор текут хлопотливые и щедрые речки, где яблони по утрам стучат в окно тонкими розовыми ветками. Таких районов в Крыму сколько хочешь.

Ему предложили Семь Колодезей...

Семь Колодезей — пустая степь вокруг, пыль столбом и вечное, привычное чувство жажды. Несколько саманных домишек вдоль немощеных улочек, искореженных войной. Вот и весь поселок.

Ветер гнал по голому поселку колючие вихри пыли. Питьевую воду возили с железнодорожной станции Ойсул в цистернах, а потом каждый себе во двор на чем придется. Деревьев на все Семь Колодезей было штук пять акаций, а на весь район — сотни две...

Ночью он уговаривал жену: "Если бы приехали сразу на готовое, много ли чести было бы нам! А так, вот ты не веришь, а ведь я правду говорю: лет через пять..."

Он смотрел на ее мягкий профиль, на ее молодой выпуклый лоб, ясные глаза. И расписывал дальше: "Ставки по всей степи, виноградники, сады, новые дома". Иногда ему казалось смешным, что он старается с таким ожесточением. Может быть, больше для себя, не для нее?

Всю жизнь он брался за самое трудное, всю жизнь боялся жалости к себе и однажды в Симферополе, на толкучке, налетел на такого же, как сам, безногого инвалида с кулаками и криком. Он бы побил его, если бы не удержали, он бы поднял его за шиворот с грязной, заплеванной семечками земли, пинком в зад прогнал с этой толкучки так, чтобы тот и дорогу сюда забыл, сильный, молодой, мордатый. Работать таким! Работать!

...Первые балочки загородили плотинами в колхозе "Путь Ильича" у Ковалю... Сам председатель колхоза Коваль, молодой, сухой, с бурой, в трещинах, как земля на солнце, шей, ходил вокруг своего богатства, глазам не верил.

Количество ставок росло с каждым годом. Уже пять их бирюзовым ожерельем раскинулись вокруг и блестели под солнцем.

Коваль был человеком простым, и никогда ему в голову не приходило, что секретарь райкома написал об этих ставках стихи и что были в стихах те же слова: "Бирюзовое ожерелье..."

...А потом стали насыпать плотины во многих колхозах и приступили к строительству районного

водохранилища. Скважины тоже бурили, и особенно запомнилась радость от первой.

Парельский тогда стал как мальчишка; чокался этой водой с друзьями, а их набежало на такую новость целый двор, обливался первой настоящей прохладной, не очень, правда, прозрачной, и кричал:

— Будет! У нас все будет: и сады, и виноградники, и ставки; все, как захотим, так и будет!

И как раз в этот момент кто-то залепил ему полную кружку прямо в смеющееся, кричащее лицо. Он еще отплевывался, отфыркивался, а глаза уже стали хитрыми, прицеливающимися... Ничего, и он парень не промах, вот только зачерпнет.

Ставки-то ставками, а все-таки они были не настоящими озерцами, необжитыми. Заключалось в них что-то спешное. Даже зелень вокруг не росла. Парельскому это как-то саднило душу. Уж и постарались как будто, а все хуже, чем у людей.

Парельскому пришло в голову заселить свои ставки.

Вдвоем с шофером Сашей Гайдашом он уезжал в другой район, где никто его не знал как секретаря райкома. Находили в этом районе ставок, возле ставка, как правило, находили пацанов, и обращались к ним с просьбой, которая, на первый взгляд, могла показаться странной:

— Наловили бы нам раков, ребята? А то у нас ставки пустые стоят.

Ребята смотрели, как тот, что постарше, погрузней, суетится, дает советы, сам готов лезть в воду, хоть одна нога у него неживая...

Потом шли рассказы о том, что каждый должен отвечать за землю и украшать ее большую, неоглядную, ну, вроде как свой школьный двор прибирают и украшают к празднику. А главное украшение — леса...

Да, вот так они и выглядят, эти знаменитые леса...

Вы говорите — в них нельзя заблудиться?

В них еще не скоро можно будет заблудиться. Но эти акации, по-моему, уже метров на шесть вымахали, и тополя не ниже... А сосны, те растут медленно, но зато — на века... Представляете, как это будет, когда здесь над золотым песком зашумит настоящий бор?.. И море рядом — синее, как косынка... Леса сейчас над Казантипом, а раньше... Да что было раньше, представить легко, ничего не было раньше... Курай.

Между прочим, когда Парельский был в эвакуации, в Грузии, он и стихи слагал в честь своей курайной, бесприютной степи над Азовом. Эти стихи, конечно, — не литературное произведение. Сами по себе они не наполнят ваши сердца удивлением, ваши глаза — слезами. Но я хочу обратить ваше внимание на эту черточку характера: сидит в эвакуации, в тесноте, а порой и в обиде, бывший председатель Приморского райисполкома и пишет по ночам признания в любви...

А потом, вернувшись, доказывает, на что его любовь способна.

Может быть, это и есть лучшее качество человеческой души — быть и поэтом, и работником одновременно?

В то время, когда Парельский начинал, далеко не каждый человек в районе был просто-напросто сыт. И Парельский не забывал этого. Но, кроме сытости, он

желал людям еще и красоты. Вот тогда-то начались ставки, сады, Дом культуры и многое другое...

Вы спросите в Ленинском районе о Парельском. О чем, прежде всего, расскажут? О лесах. Нет, не потому, что они самое значительное из того, что сделал Парельский. Но как бы это сказать... Они точно символ исполнившейся человеческой мечты. И потому людской памяти свойственно хранить на поверхности обычно самое броское. А в местах, где не так давно простое упоминание о деревьях отдавало тоской о несбыточной роскоши, что уж может быть ярче, чем сам факт существования 7000 гектаров леса? Именно 7000. При жизни его было 4000, а теперь 7000.

Семь тысяч, пронизанных щебетом птиц, с запахом прошлогодних листьев, с ожиданием грибов и ягод...

Да, оставил человек после себя память...

И не лесами одними. Виноградники по всей степи сейчас стоят так обыкновенно, как где-нибудь возле Судака.

Следы на земле Тарханкута

А живем мы с геологами в поселке Черноморском в трех маленьких комнатках высушенного до звона белого глинобитного домика... Хозяйки нашей дома нет, гостит у матери. Только везде ее молодое горбоносое лицо в белокурых, жестко-волнистых волосах. Неулыбчиво смотрит со стен, со стола, комода. Хозяина мы видим каждый день. С фронта он привез медали, ордена Красной Звезды и Славы, а также дырку в легких.

Он ходит по двору, высокий, плоский, чуть согнутый. Пиджак у него габардиновый, в талию, с

широкими лацканами. На лацканах ордена. Они ему необходимы сейчас, чтобы каждый день вставать, бриться, варить себе немудреную похлебку...

На площади возле церкви, возле той самой Ак-Мечети, именем которой когда-то назывался поселок, стоит памятник. Нет, он не имеет никакого отношения к нашему хозяину. Памятник изображает два поколения, освобождавших Крым. Тех, кто ходил в буденовках, и тех, кто в пилотках.

У старшего свое лицо: со своей красотой и своей некрасивостью, со своей мыслью, со своими глазами, далеко разведенными, широкими монгольскими скулами. Младший же похож на парня с плаката, любого, которому двадцать лет и у кого брови взлет.

Как жаль, что памятник не имеет никакого отношения к нашему хозяину. Он ведь тоже брал Крым, рану получил недалеко отсюда, на Сивашах, и было ему тогда столько же лет, сколько молодому...

По вечерам, вернее ночью, когда возвращаемся из маршрута, хозяин ждет нас далеко за воротами, потом идет в летнюю кухню, зажигает лампу, и все время, пока мы ужинаем, сидит тихо, сложив на коленях большие руки...

Мы угощаем его борщом, только ему не хочется.

Ему просто хочется еще раз прикоснуться к большому, настоящему делу...

Он ходит к нефтеразведчикам, и я сама видела, какая боль стоит у него в глазах, когда он ощупывает бока их мощных "газонов"...

Иногда мы уезжаем из дому все и с ночевкой.

Едем в сторону Оленевки, потом идем пешком, каждый по своему маршруту, со своими мыслями.

Передо мной крутой каменистый склон балки. Надо на него взобраться, тогда с холма откроется главная красота Джангуля.

Взбираюсь. Нет, это не маленький овражек, промытый талыми водами. Балка, по которой иду, величественна, в той же мере, в какой может быть величественной гора или, скажем, большая река... Округлые и жесткие от выбившихся камней склоны ее — как бы только что застывшие волны Вселенной...

И даже если бы я тогда не увидела Джангуля, я все равно была бы довольна своим путешествием. С меня вполне достаточно оказалось бы дикого запаха полыни и ярких вспышек кустов скумпии, только подчеркивающих эпическую однотонность пейзажа. И главное, какого-то странного взгляда на себя и на все вокруг себя, как бы со стороны.

Действительно, пока я шла по степным балкам, я видела эти балки не только своими глазами — вторым зрением я окидывала их с высоты птичьего полета. Медленного птичьего полета. И замечала крохотную фигурку, муравьем ползущую вверх, потом вниз, потом снова вверх. Фокус моего второго зрения был в том, что оно открывало глазу одновременно гораздо больше, чем видела я же, идущая по земле. И это настраивало на размышления о том, что было здесь десять тысяч лет назад, а не десять, что будет через десять тысяч лет, а не через десять.

Когда я, наконец, увидела сам Джангуль, настроение не изменилось...

Каменные бабы стояли неподвижно, накиннув на плечи пестрые шали. Каменные лбы их были низки, лица повернуты к морю и к вечности. Сначала они показались мне равнодушными. Но потом я подумала: просто они слишком много видели, чтоб удивляться или вообще как-то реагировать.

Они видели и разноцветные паруса вражеских кораблей, подплывающих к Калос-Лимену, и трехосные грузовики нефтеразведчиков, въезжавшие все в тот же Калос-Лимен, только теперь он назывался Черноморское...

Они были свидетелями тех сражений, когда мечи звенели и тупились о кольца гибких кольчуг, и тех, когда стреляли из автоматов...

Прямо у меня под ногами — почти совсем заросший, с округлыми краями окопчик. И пока я шла, по гребню берега попадались такие окопы. И дальше до самой Оленевки будут попадаться. Берег ощетинивался обороной...

...Стоит бабье лето. Не в том ли его очарование, что оно вспыхивает и греет, когда уже ничего не ждешь? Были зелень весны, было плодородие августа, и вот уже все серо, грязно под провисшим небом. Но нет! Объявляется с первым погожим днем эта тонкая, неожиданная и непрочная красота, и мы относимся к ней с какой-то даже трепетной тоской. Как к последним дням своей, хотя бы относительной, молодости...

Рыжие обнажения обвалов и зарево осенней скумпии придают особую праздничность Джангулю. Природа умеет устраивать такие праздники. Они удаются лучше, если их не ждешь...

В самом деле, кто мог предполагать, что однообразная, веками выжженная степь может обрываться таким великолепием? Кто ждал, что в октябре вдруг вспыхнут эти сказочные факелы кустов?

Бабье лето! Чему-то подводятся итоги, что-то не повторится... Это только каменным истуканам некуда спешить. Только у них в запасе вечность. Не было в запасе вечности у капитана Шевцова...

...Если идти и идти по берегу Оленевки, где-то по пути, уже у самой деревни, встретишь дот, а в нем на стене надпись: "Здесь погиб капитан Шевцов".

Война. Вот она опять догнала меня, как догоняла все эти дни тусклым блеском орденов на лацкане габардинового пиджака нашего хозяина.

"Здесь погиб капитан Шевцов". Какой он был — молодой, старый? Почему-то думаю — молодой. И, может быть, у него еще ничего не было, чтобы оставить после себя. Ни сына, ни написанной книжки, ни молодого посаженного его руками леса, ни любви на всю жизнь.

Страшно умирать при любых обстоятельствах. А когда вдруг вспомнишь и сообразишь вот это... Ничего не останется, даже могилы... И он последним усилием выцарапал надпись на стене: "Здесь погиб капитан Шевцов".

Надпись стоит памятника.

Умирая, он видел то, что вижу сейчас я. Круглую бухту с черточкой маяка на краю, серебряную подкову песка и рыжую кромку глины над нею. И так же тиха была тогда вода в бухте, и сквозь нее просвечивало дно, и рыба ходила там, текучим телом огибая камни... И даже

те же продолговатые иссиня-черные раковины лежали на том же песке.

Я иду по песку и вдруг наступаю на что-то острое, пробивающееся через подошву. Наклоняюсь: виток колючей проволоки. Все понятно: фашисты огораживались от моря, боясь десанта.

Я иду вдоль берега, думая не о войне, а о том, что даже мысль о ней страшна среди этой тишины и покоя очертаний. Солнце обрушивается на мир, наполняет его запахом тамариска и пыли, запахом моря и полыни. Ароматы эти так густы, что кажется: именно он составляют то море, струи которого дрожат и переливаются над степью и заливом. Лихо точат свои нескончаемые косы кузнечики: "Вжик! Вжик!" — полыхает над сухой травой их ожесточенный цокот. И больше вокруг — ни звука.

Далеко на горизонте обозначается черточкой силуэт корабля. Конечно, это всего-навсего рыбачий сейнер, но мне он кажется сторожевым кораблем. И, точно отгадав мои мысли, ко мне подходит один из спутников.

Он подносит к самому моему лицу раскрытую ладонь. На ней все те же острые и ржавые шипы проволоки. Почему он держит ладонь так близко от моих глаз? Может быть, думает, иначе я не рассмотрю их? Но я отлично рассмотрела.

— Скажи, войны не будет? — спрашиваю с такой надеждой, как будто лично от него зависит — будет или не будет.

— Войны не будет, — говорит человек, прошедший через войну.

И я ему верю.

Как рождаются легенды

Они не рождаются, как плод чистой фантазии, из ничего, на голом месте. Они возникают, когда уже есть какой-то толчок. Аналогичный, но более бледный случай, незаконченный эпизод, которому легенда придает только нужную, жгучую форму...

Чем больше я думаю над тем, как рождаются легенды, тем больше вспоминаю, сколько же их пришлось услышать! Легенда о том, что тополь у Кутузовского фонтана посажен самим полководцем. Вернулся на место своего ранения, где был молодым и беззаботным. Вернулся и посадил тополь. Легенда о том, как винодел Околелов, нынешний Герой Социалистического Труда, сам выпускал из массандровских подвалов красную, как кровь, речку вина и стоял над нею, сглатывая слезы. А потом одним из первых, военным человеком, вошел в Ялту и бросился опять сюда же к Массандровской балке, по которой в сорок первом с гор в море тек красный поток... Легенда о том, что Виктор Иванович Соловьев, впоследствии известный хирург, летом 1942 года будто бы пристукнул лопатой немца, собравшегося его расстрелять.

Из всех случаев, когда я шла по следам легенды, прежде всего мне хочется рассказать вот о чем. Легенде о Кузнеце и Марии не одна сотня лет. Однако я встретила с истоком ее.

Легенда рассказывает, как у подножия горы Демерджи, которая называлась тогда еще не Демерджи (кузнец), а Фуна (дымная), жил чернобородый человек, нрава мрачного, но хороший мастер. Однако свое

мастерство он продал захватчикам: стал ковать для них оружие. А когда усовершенствовать его из родного села пришла добрая и красивая девушка Мария, кузнец убил ее. Сам же гневом богов или природы был превращен в камень, камнями стали все его злодеи-подручные...

Такова канва. Побывав в Долине Привидений, в ущелье, с которого начинается первый подъем на Демерджи, вы согласитесь: действительно, тут самое место родиться легенде. Кого-кого вы не отгадаете или не домыслите в причудливых каменных фигурах. Вон спина женщины, несущей кувшин, а это злой карлик. Глаза разбегаются, но ни одна фигура пока не объясняет, почему родилась именно эта легенда о кузнеце. Не о каждом предателе ведь она возникает? И почему легенда заговорила не только о нем, но и о прекрасной девушке?

Сойдя с автобуса, который довез вас до Лучистого, подойдите к подножию горы в том месте, где окончил свой путь давний обвал, видный и с троллейбусной трассы. Вокруг цветет шиповник, и трава еще высока и нежна по-весеннему. Поют птицы, первобытно, прямо пахнет утро, в черенках листьев травы блестит роса, ползет с моря туман... Посмотрите туда, в сторону моря. Видите?

Девушка полулежит, прислоняясь к скале. Ее голова прелестна и легка, и никакие мысли о камне в первую минуту не приходят на ум. Вы видите косу, легкую кисею накидки, выпуклый, чистый лоб... Вы чувствуете безмятежную отрешенность ее позы, спокойствие, которое осознает, что перед ним вечность...

А рядом — человек в бурке пытается уйти прочь от места преступления. И хорошо видно: совесть его нечиста, дух мрачен и смущен. Все так четко, так

определенно в этих фигурах, что становится ясно: увидевший такое просто не мог не дать волю фантазии, не объяснить еще раз самому себе и последующим: предательство никогда не остается безнаказанным — помните это!

Что касается легенд нашего времени, я расскажу об одной.

Как-то мы ехали в поселок Счастливое на строительство водохранилища. Шофер, весело и лихо крутивший баранку, вдруг повернул ко мне лицо, кивнул на белые лбы скал, выбрал самую высокую и сказал:

— Вот отсюда во время войны наш партизанский разведчик прыгнул, от расстрела уходил. И, представьте, жив остался, добрался до отряда: так и так, мол, немцы деревню окружили, жителей хотят уничтожить...

— Спасли жителей?

— Македонский спас, партизанский командир. Успел.

В то лето в поездках я еще не раз слышала о человеке, прыгнувшем со скалы. Только скалу каждый раз показывали другую.

Потом, когда я прочла книгу Македонского "Пламя над Крымом", я поняла: речь шла о мальчишке, пареньке 14 лет Толике Сандулове и о поселке Чаир.

Трагедия Чаира была одной из первых и одной из самых страшных лесных трагедий в Крыму. В маленьком селе возле Бешуйских копей жили люди, помогавшие партизанам и дававшие им кров в тяжелую первую партизанскую зиму.

Варили для партизан узвар из сухих фруктов, пекли ячменные, клеклые лепешки, отрывая последнее от себя, от детей. В такие ночи почти над каждой мазанкой Чаира стоял осторожный столбик дыма... Но нашелся предатель, и однажды двести пятьдесят эсэсовцев ворвались в Чаир на танкетках. Они погнали жителей к обрыву расстреливать. Анатолий Сандулов и Сеня Заяц спрыгнули с обрыва, а когда в них стали стрелять, притворились мертвыми. Под трупами они пролежали до вечера, вечером пришли в отряд Македонского...

Легенда подхватила рассказ об их спасении и придумала утешительную концовку. И вот бродит эта легенда, а вместе с тем существует не то чтобы позднейший точный пересказ, но акт, составленный и подписанный очевидцами тех событий, командиром 4-го партизанского отряда Калашниковым, комиссаром Фартушным, жителями поселка П. П. Олейниковым, А. П. Кузнецовым, Г. К. Лелекой, А. Е. Сандуловым, А. Е. Сандуловой и так далее.

Казалось бы, что за странность — составлять подобный акт, когда фронт на востоке и час возмездия далек? Не маячит впереди? Я горжусь, что принадлежу к тому народу, который и в самое гиблое время точно знал: возмездие придет, надо учесть, засвидетельствовать все зверства, чтоб потом кому бы то ни было не удалось сбросить их со счетов, сделать вид, будто не так уж страшен фашизм, как его малюют.

Однако вернемся к легенде. О ней и о том, что легло в ее основу, я говорила с Михаилом Федоровичем Самойленко, бывшим комиссаром, а потом, в мирной жизни, парторгом у Македонского в совхозе «Коктебель». Самойленко рассказывал, как лежали убитые,

разбросавшись вширь, как будто перед смертью они хотели взяться за руки или обнять землю, на которую упадут. От домов почти ничего не осталось: деревянное сгорело, а глиняные стены осели на фундаменты. По улице вели грубые, сорвавшие снег и дерн следы танкеток. Выли собаки пустынно, жутко. Было темно, по небу одна за другой гнались узкие, как рыбыны, хищные тучи. Из них сыпалась крупка.

— Андреич, гляди, — комиссар тронул командира за плечо, показал в сторону. Там, в колее, припав к ней сухим белым лицом, лежал старик, а рядом трехлетний мальчик. Старик был бос, мальчик держал в руках большой шерстяной носок.

— Обуться деду нес. Выгнали, видно, кто, в чем стоял.

Вот так было в жизни, что и засвидетельствовано актом от 2 февраля 1942 года. А сердце ищет утешения. Сердце признает, конечно, утешение в самой главной справедливости — в общей нашей победе над фашизмом. Но ему, сердцу, надо еще, чтоб в виду этих отвесных скал над кудрявым лесом можно было сказать:

— Отчаянной души был тот разведчик. И Македонский — отчаянной души человек — пришел, вы поверите, всех отбил у карателей...

Рассказ о счастливом человеке

Сколько споров было вокруг памятника. Брат, захлебываясь слезами, говорил: "Пусть смотрит счастливым, каким был в жизни". Другие тоже считали: "Он был как бы знаменем строящегося Севастополя,

Героем Социалистического Труда, так что нельзя ли придать более монументальности?.."

К счастью, не придали...

И я не хочу придавать. Хотя и мне брат его говорит: "Я вам расскажу, но, может быть, для Героя оно не характерно?"

Прежде чем стать Героем, Николай Музыка был деревенским сиротой начала тридцатых годов. Мать болела туберкулезом, гнила у нее рука. Семилетний Колька (старший) помогал во всем, и к колодцу выходил с матерью, она подтягивала веревку здоровой рукой и перехватывала зубами. Колька тоже тянул, плакал от того, с какой силой обледенелый канат вырывался, сдирая кожу.

А в Севастополь Николай приехал в сорок восьмом. Провожали его в армию торжественно — лучший конюх колхоза, золотой парень, исполнительный, жадный к работе и притом добрый. Два раза на побывку в родную деревню Николай являлся в флотской форме, стеснялся: брали в армию, попал в ФЗУ. Ходил вместе с братьями к родне в гости, мел клешами и отмалчивался. О чем было говорить? От него ждали подробностей насчет службы, а он мог рассказать насчет рецептуры раствора, насчет того, как строили себе бараки, как бегали в подвал, пахнувший сырой штукатуркой, смотрели в подвале фильмы. Подвал назывался: кинотеатр "Луч".

Родня, земляки интересовались: какой Севастополь? Кивали жалостливо, когда он объяснял: весь каменный и весь разбитый.

— Много небось ихнего брата, строителя, нужно?

— Много.

— Со всей страны небось понаехали? И с Сибири есть?

— А как же! Партия все одно, что в армию призвала...

— Ну, армию ты все-таки не равняй. Особенно флот, вам все-таки почет другой...

Музыка шевелил широкой, короткой шеей, смотрел исподлобья черными смоляными глазами.

Потом он сам стал не фэзэушником — строителем. Это было уже совсем другое дело: тут стесняться не приходилось. В это время он сформировался, заматерел, было видно — пошел в отца. Покатые плечи, пудовые кулаки, волосы тугие, черные.

От отца его, правда, очень отличала улыбчивость. Улыбался Николай часто и часто ощущал себя счастливым. Прежде всего, для счастья ему нужна была работа. До удивления он был готов ко всякой работе, но больше других к такой, при которой кого-нибудь вытягиваешь, ставишь на ноги. И к городу Николай почувствовал настоящую привязанность, когда понял его как живого, раньше красивого, а теперь раненого...

На работу он ходил мимо здания Панорамы с развороченным во время войны куполом, который теперь крыли заново оцинкованным железом. Останавливался, смотрел на белесые откосы Корабельной, на новые дома, которые казались розовыми от упавшего на них света. Представлял себе первую оборону, вторую, и иногда ему вдруг начинало казаться, что Нахимов и Истомин помогали нашим. Но особенно любил он проходить мимо памятника Тотлебену на Историческом. О Тотлебене

говорил Музыка: "Тоже строитель". Теперь для него в этом слове была и жизнь, и гордость, и любовь.

В самом начале пятидесятых годов о бригадире Николае Музыке заговорили как о новаторе, очень часто повторяя слово добросовестный. Возможно, это слово и определяло как-то суть, но было бескрылым, а Николай Музыка жил себе и жил счастливым человеком. Любовь его распределилась примерно так: городу, бригаде, жене Гале, совсем молоденькой и обидчивой.

Легче было оттого, что Галя тоже штукатурила в бригаде, тоже любила город, тоже дружила с братом Мишей, Музыкой младшим, демобилизовавшимся и осевшим в Севастополе, в одной с ними комнате по улице Четвертой Бастионной, в доме № 7. Из этой комнаты Николай уходил по утрам, рано, на заре. Жена спрашивала:

— Опять?

— Так надо же прикинуть до смены, куда кому стать, талант проявить...

— Такие, как Сашка, проявят, жди!

— Я ему не помогу, кто поможет?

— Коля, это у старых времени много чужую жизнь исправлять. А мне так хочется для себя пожить. Не торопился бы ты, ладно?

Он был основательный, не суетливый в движениях, но действительно торопился, как будто предчувствовал: старости не будет. Ему не стукнуло еще тридцати, а заботы его приобретали уже другой, не бригадный характер: "Почему с перебоями идет раствор на объекты? Почему блоки идут с отступлениями от стандарта? Зачем

заведомо сужать улицы? Время нас догонит, с нас спросит. Перестраивать труднее, чем строить".

С этими своими вопросами он выступал на совещаниях, активах, городских пленумах. Из человека просто добросовестного Музыка вырастал в человека государственного. Однажды с государственным человеком произошел такой случай: он упал в обморок прямо на заседании. Подкатила "скорая помощь", уколы, вопросы, а он поднялся:

— Извините за хлопоты. У меня, как бы это сказать, со вчерашнего вечера крошки во рту не было...

— Девушки, Рая, Валя, у вас бутерброды были, чай вскипятим.

После чая Музыка улыбнулся.

— Ну, теперь хоть еще одно заседание. А то, понимаете: надо было на объект пораньше, в перерыв ездил выбивать инкерманскую крошку, после работы пионеры пришли, выступал в школе, потом — пленум, так что извините, если затруднил...

Он опять улыбался, и все улыбались в ответ. И советовали ему беречь себя, хотя понимали: с чем, с чем, а с этим у Музыки получается плохо. И, может быть, бессознательно, но им всем было приятно, что получается плохо: человеку нужно видеть перед собой образец для подражания. К тому же Музыка был как бы не частным образцом для подражания, а знаменем города, его гордостью. И тем, кто провожал его с крыльца, улыбаясь, важно было убедиться: гордость города, вот она какая, если смотреть на нее не из зала на сцену...

...А он, давно ставший и знаменем и гордостью, все еще жил в комнате на Четвертой Бастионной. Золотая от ярких занавесок и дешевой, яркой, как желток, мебели, комната эта была явно тесна для четверых, но требовать и просить для себя Музыка не умел. Впрочем, став тесной, комната продолжала быть счастливой. По вечерам в этой комнате или уйдя на кухню, чтоб не мешать жене укладывать дочку, Николай говорил с братом, например, о том, как он научился затирать швы между стеной и потолком. Брат, светленький, мягколицый, смотрел ему в рот, и Николай радовался: вон, как наше строительное дело за душу берет!

...Музыка оставалось прожить еще половину своей счастливой жизни, но вышло иначе. И вот теперь он смотрит с белого высокого постамента, как будто недоумевая: "Как быстро, как мгновенно все кончилось, как странно оборвалось".

На постаменте, сложенном из того камня, из которого столько лет он возводил дома для своего города, надпись: "Николаю Музыке от строителей Севастополя". И легкими штрихами — волны, волны, а рядом — кельма, символ профессии штукатура.

Николай Музыка погиб на своем строительном участке от несчастного случая...

Несчастный случай... Случайность... То, что могло бы и не произойти, то, чего можно было избежать... Так, налетело, вроде стихийного бедствия, смяло, сгубило...

Но приглядитесь: с одними случаются такие несчастные случаи, с другими — совсем противоположные. С теми при таких обстоятельствах, с другими — при иных... Тут есть какая-то закономерность.

В обстоятельствах, сопутствующих несчастному случаю, сгубившему Музыку, тоже отражен его характер, его человеческая сущность.

...Шел обычный субботний день. Но бригада особенно спешила в этот день, потому что после работы надо было идти с одного строительства на другое. Помогать товарищу закончить дом, чтобы переехал он в него скорее.

Подошло время убирать леса. Есть закон техники безопасности: леса не сбрасывают, а выносят через лестничные пролеты, как обычный домашний скарб. Но пролеты куцые, доски длинные, так и чешутся руки скорее закончить начатое.

И вот бригадир всех отсылает далеко в сторону, сам становится поближе: он будет командовать теми, кто наверху. Упала первая доска. И надо же было подскочить поправить ее, чтоб легла аккуратнее.

Весь город знал Музыку, весь город провожал Музыку.

Он похоронен на кладбище Коммунаров. И вот я стою на этом кладбище, где, кроме лейтенанта Шмидта, еще похоронены Нина Онилова, подпольщик Ревякин и многие другие почетные граждане города. Я иду по Четвертой Бастионной, по улице Николая Музыки, я стою у памятника Тотлебену, так же как, бывало, бригадир, ощупывая гладкость гранитного цоколя, я думаю о своем современнике, о своем сверстнике, который тоже стал одним из памятников города.

"Пусть смотрел бы счастливым, каким был при жизни..."

Да нет, памятники имеют право не только на монументальность, но и на грусть, даже если человек не успел пожалеть о своей отлетающей жизни... Он не успел, а мы — не родня, не близкие — еще долго будем...

Командир Южного соединения

Зима пятьдесят четвертого года была для Крыма необычной. Ударили морозы, и начал валить снег. Валил день, валил два. В винсовхозе «Коктебель» отнеслись к нему несерьезно: перестанет же когда-нибудь, в Крыму живем, не в Сибири. Однако к концу недели кончились запасы муки в пекарне, а дороги от Щебетовки до Феодосии, до Судака так забило — никакая машина не пройдет.

Директор совхоза Михаил Андреевич Македонский снарядил за мукой в Феодосию тракторы. Ушел целый отряд, злой воющей поземкой замело рубчатые следы...

Тракторы не вернулись ни ночью, ни на следующий день, хоть пути до города всего каких-нибудь двадцать пять километров. Хуже того, не было известно, добрались ли они вообще до Феодосии, не застряли ли где-нибудь.

Вслед за тракторами решили послать управляющего первым отделением Шарова. Собственно, Македонский еще с утра знал, что поедет Шаров. Натягивая сапоги, буркнул утверждающе не то себе самому, не то жене:

— Лейтенанта отправлю. Кого же еще? Пробьется, молодой, сильный.

Жена посмотрела с недоумением: десять лет вокруг ни войны, ни военных, о ком же речь?

— О Шарове, говорю, — он притопнул, проверяя, ловко ли обуты ноги в те, еще лесные, еще партизанские сапоги. И куртку надел давнюю, командирскую. Сашка вертелся тут же, с деревянным ружьем через плечо, сзади на веревочке жестяной пулемет дребезжит по полу.

— Папа, ты на войну? — в глазах Сашкиных восхищение и зависть к взрослым, которых запросто отпускают в такую погоду на улицу, и, может быть, даже в сражение. — Папа, ты на войну?

— Пока нет, сынок. Пока — в контору.

Вот Шарова он действительно отправлял, как на войну. Сам выбрал лошадь, высокую, с длинной злой шеей. Гидру, сам проверил подпругу, седло. Сам навесил Шарову на плечи вещевой мешок с хлебом, салом и спиртом, похлопав Гидру по крупу, махнул рукой: не подведите, мол, оба. И долго еще смотрел вслед управляющему, нежданно-негаданно снова превратившемуся в лейтенанта. Гидра величественно возвышалась над метущей по низу снежной мглой, качалась широкая спина Шарова...

Шаров вернулся с известиями к вечеру. С трактористами, оказывается, все было в порядке. Муку они в Феодосии получили и добрались с нею до Планерского. Сейчас сидят там в домах, в тепле, значит, и ждут подмоги. Дорогу за сутки так перемело сугробами, — никаким тракторам ее не одолеть. И лошади тоже не одолеть, он, Шаров, полпути прошел, ведя дико всхрапывающую Гидру в поводу, протаптывая ей тропинку. А заветренные склоны стояли совсем голые, кое-где видна зеленая, отросшая с осени травка...

Наутро весь совхоз вышел рыть траншеи в снегу, забившем дорогу. Рыли, а снег сыпался сверху, как из прохудившегося мешка. И не сверху он даже сыпался, а подсекал как-то сбоку, безудержный — настоящее стихийное бедствие.

Македонский орудовал лопатой ловко, сноровисто, у других уже давно лоб под шапкой мокрый, а ему хоть бы что. Остановился не потому, что устал, а чтоб оглядеть дорогу — черную от людей, узкую траншею между сугробами, из которых каждый величиной в дом.

Стоял на широко, крепко упертых в землю ногах, шапка была сбита на затылок.

— Будем на отряды разбиваться, чтоб не тесниться, чтобы фронт работ обеспечить.

— Михаил Андреевич, разведка вернулась: метров шестьсот до чистого осталось рыть.

Но тут небо свинцово потемнело, стремительно упало, и началось такое, что даже он решил: надо вести людей в укрытие.

Греться, пережидать заваруху пришли на механический двор. Пока сидели вокруг пылающей красными боками печи, курили, директор рассказывал:

— В сорок втором, когда наладилась связь с Севастополем, нам в лес муку с самолетов сбрасывали, так мешки от удара об землю по швам, и вся мука — на ветер... А ждешь ее не так, как сейчас, самого от голода из стороны в сторону шатает, а сам и на диверсию идешь, и в лесу от прочесов отбиваешься, да... Так что летчики придумали? Мешок в мешок стали вкладывать. Верхний не тугой, просторный.

Под руками гудит пламенем уютная домашняя печь, а за стенами скребет, швыряет сухим снегом, зло шелестит, пробиваясь из-под двери длинным белым языком.

И кажется Македонскому, что там во дворе оживает, просится на люди зима сорок второго. Вот уже двенадцать лет прошло, а ничего не забылось, не стерлось, и такое чувство, будто кто-то его обязал рассказывать, на что способен человек, когда защищает Родину.

— А еще с мукой была операция, когда нагрянули на Качинскую мельницу. Не халам-балам, умно нагрянули, с соображением. Шли в румынской форме, впереди румыны настоящие. Патруль с мельницы: "Кто идет?". А румын Тома, — хороший был, между прочим, парень, боевой: "Из Высокого за мукой!" Сняли охрану мельницы за минуту. Ушли без потерь, а потом погоня за нами следом. По пояс в воде идем, у берега лед, а обогреться, обсушиться — негде. — Македонский кивает на печь утробно гудящую, возле которой они все сидят, протянув руки к ее раскаленным бокам.

— А кто всю операцию продумал? Спаи — простой грузчик из Бахчисарая, а голова золотая. А-ла-ла-ла, скольких от смерти спасла, сколько вреда врагу причинила золотая его голова.

А во дворе воет, скрежещет, бьет о крышу. Сидят мужчины, уронив руки в колени, думают не каждый о своем, все об одном и том же: нет предела человеческим силам, если придет край. А сегодняшняя заварушка, разве ж это край?

— Пробьемся к трактористам, чего ж не пробиться, Михаил Андреевич? Разве мы не понимаем, раз надо, так

надо, — отвечает за всех один на вопрос, которого Македонский не задавал.

...Муки, привезенной тракторами, могло хватить не надолго. А долина «Коктебеля» по-прежнему была отрезана от всего света. Еле-еле удалось связаться с Судакским райкомом партии. Там обещали муку доставить на байдах в Крымское Приморье. Если, конечно, за это возьмутся рыбаки.

В ночь до прихода байд Македонский приказал соорудить несколько саней, чтоб на них везти муку от берега в Щебетовку. Утром сани двинулись по долине к морю, к устью реки Отузки. На санях привезли бревна для причала, а как его соорудить? Вода ледяная и беспокойная, ждать нельзя: байды мотаются по заливу такими скорлупками, что и смотреть на них нехорошо.

— Шаров, Шаров, заноси с того боку, кому говорю? — Они с Шаровым тащили одно бревно, оступаясь на скользких морских камнях, валили его в воду так, что конец выступал мостком. Рядом хрипло от натуги дышали другие мужчины.

Когда бревна шатко и ненадежно были навалены, к ним подтянули Байду, и первым на борт ее вскочил Македонский. Он кинулся к мешку, но высокий рыбак, высвободив свое красное под жестким капюшоном лицо, крикнул зло:

— Уйди, оборвешься, моложе тебя не нашлось?! — крикнул так и осекся, наткнувшись на его взгляд. А следом лез Шаров, потом другие. С мешком на плечах Македонский прыгнул на пляшущие вывертывающиеся из-под ног бревна, скинул груз на сани, вернулся за вторым мешком, за третьим.

Рыбаки торопились, поглядывая на темную тучу, злой щучкой выплывающую из-за Кара-Дага, и у Македонского вдруг сжало горло от благодарности к этим людям. И к своим, совхозным. Что-то билось в груди, растекалось теплом до пальцев, слабело сердце, и, чтоб преодолеть эту слабость, Македонский шагнул к мосткам.

Последний мешок ему на спину грузил опять тот высокий, краснолицый, в капюшоне, только теперь капюшон был откинут, на щеке рвано проступил шрам.

— А ничего, справляешься, товарищ Македонский, командир, — рыбак прихлопнул по мешку, голос его звучал из-за плеча, некогда было обернуться, спросить, откуда знакомство, не из лесу ли? Или никакого знакомства не было, просто кто-то успел объяснить рыбаку, кого он только что чуть не шуганул с борта.

Вечером жена растирала ему руки гусиным жиром, а он сокрушался: не поблагодарили рыбаков как следует, не угостили, даже на будущее не успели в гости позвать.

— Это ж надо, таких людей, считай, без спасибо отпустили. Там один был — знакомое лицо, знакомое! А где встречал, не вспомню — вот здесь шрам. Может, наш, партизан?

— Папа, ты на войне был? В лесу? — Сашка смотрел круглыми темными глазами, переступая от нетерпения ножками.

— С чего ты взял, сынок? Я в грузчиках подрабатывал...

На войну директор вернулся ночью, во сне. Давно ему уже не снилось, что он поднимает над головой автомат, дает знать: в атаку! Давно не снилось, а тут постучалось, как наяву: бежит он, стреляя, по склону

возле Бия-Салы, только ноги скользят не по длинной под мокрым снегом зимней траве, а по заледенелым бревнам причала. Тело чувствует тугую, запальную дрожь автомата. Вот падает, сломившись надвое, фашист, вот другой ловит руками воздух: за что бы зацепиться.

Но тут начинает тоненько свистеть в ушах, как свистел вчерашний ветер, в лицо брызжет кора, сбитая чужими пулями, и вперед вырывается грузчик из Бахчисарая, дядя Коля Спаи, чтоб прикрыть командира своей грудью. А рядом со Спаи бежит тот рыбак, прямо в своей рыбацкой робе бежит, и нет в том ничего странного, потому что у них с дядей Колей Спаи одинаковые немолодые крестьянские лица с темной задубевшей кожей и одинаковые руки.

Мать виноградарей

Она встала за высокую полированную трибуну и вдруг сообразила: ни ей зала не видно, ни ее не разглядеть, разве что макушка торчит из-за трибуны. Сделала шаг в сторону, распустила на голове белый платок, от которого вдруг стало душно, сказала:

— Нынче с каждого гектара мы в звене собрали по триста центнеров винограда, — дальше еще что-то надо было говорить, но она не могла, переводила дыхание.

А из зала кричали, не выдержав тишины:

— Сколько? Сколько? Повторите, Мария Александровна.

— Триста центнеров.

— Ого! Больше, чем весь наш колхоз! — Кто-то крикнул так с галерки и пристукнул о колени с досады. Или, может, от удивления?

— Каждый член звена вырастил по две тысячи пудов. Интен... Интенси...

Она долго заучивала трудное слово и сейчас все равно сказала его неправильно, но все поняли, начали ей хлопать, и в президиуме тоже.

Аплодировали сначала так, потом стоя. Участники областного партийного актива стояли и аплодировали минуту, другую, пять. Зал симферопольского театра был велик, она не видела всех, но чувствовала, как будто они дышали прямо на нее, придвинувшись к самой сцене.

— На выращивание каждого центнера в этом году мы потратили всего два человеко-дня, благодаря нашим механизаторам коктебельским, — она сделала такое движение, как будто и в самом деле собиралась поклониться. Потом выпрямилась, пережидая новую волну аплодисментов и выкриков.

Может быть, этой цифре удивлялись и завидовали еще больше, чем первой.

— Мария Александровна, а в сорок седьмом году, в сорок седьмом — сколько на один центнер вы тратили? Не помните? — кинул ей кто-то из президиума.

— Не помню, — сначала она потопталась виновато, потом опять махнула рукой, как будто кидая в зал слова. — Кто тогда считался? Себя тратила, детей тратила от темна до темна! Сейчас найди такого, чтоб согласился столько-то работать? Сейчас каждый изволит

знать насчет механизации, и я нашими механизаторами горжусь, вон они сидят, им тоже похлопайте!

Когда она вернулась на место, села в президиуме рядом с директором совхоза Македонским, пальцы у нее подрагивали, как после целого дня обрезки.

— Устала, Мария Александровна, или волнуешься? — директор прикрыл ее руки своей короткопалой, широкой. — Хорошо выступила, не волнуйся.

— Я не волнуюсь: Маньку вспоминаю.

Он слегка поднял бровь, хотел спросить, видно, какую Маньку, почему вспоминает, но тут опять захлопали, повернувшись в ее сторону, Македонский — тоже, высоко поднимая руки — громче, мол, чествуйте, громче.

А она сидела неподвижно, не в силах высвободиться из-под налетевших воспоминаний.

В этих воспоминаниях шуршало море, накатываясь на гальку вечерней слабой волной, и она сама шла по берегу в мокрой после купанья рубашке, в юбке, которая прилипала к ногам. Волосы у нее тогда тоже намокли, она не подбирала их, и молодой мужчина с аккуратными, щекотными усами смотрел на эти волосы, не отрываясь.

Молодой мужчина с аккуратными усами был ее муж, они возвращались от рыбаков, и в руке он нес огромную, как колесо, камбалу с розовыми, живыми еще жабрами.

И так близко подошло все это к тому длинному столу президиума, за которым она сидела, что вдруг показалось: прямо из-за кулис наносит на нее вечерним

сладким запахом земли глинистого обрыва, по которому они тогда поднимались с мужем.

И ей захотелось окликнуть Маньку Брынцеву, предупредить о том, что должно было случиться через минуту, она даже слабо пошевелила рукой на красной богатой скатерти, но осталась сидеть, как сидела.

...Манька шла молодая, железно налитая силой, и колкие камешки осыпались у нее под ногой, а за поворотом не то чтобы ждали Маньку, но встретились ей в тот день как раз те, чьи земли перешли артели, а значит, и ей, вечной батрачке и дочери батрака...

Первый крикнул:

"Хозяйка с нее, как с собачьего хвоста — сито".

"Ничего, она красной косынкой повяжется, портфель в руки возьмет — сгодится на нашем базаре".

А потом был мгновенный запах злого пота, перекошенные, как кирпичом натертые лица, и она тоже кинулась в драку, закричала, хотя ходила тяжелая, уже живот под юбкой виден был.

Ночью они с мужем лежали у себя в мазанке без сна. Не то опасались, что кто-нибудь явится поджечь, не то просто не спалось от голубого лунного света на полу, от молодости. Луна текла тогда прямо к ногам шелковым светом, кажется, можно было нагнуться и потрогать его, как дорогую косынку. Нагибаться она не стала, сказала с внезапной решимостью:

"Этой осенью в ликбез пойду. Раз власть теперь наша, надо добиваться. Весело жить".

Чего добиваться и какое веселье в ликбезе, она сама понимала смутно, но ей вдруг захотелось, чтоб у

нее стало такое же лицо с жесткими морщинками, как у тех женщин, которые приезжали из Феодосии, ходили с портфелями, в красных косынках.

Целая жизнь прошла между той летней теплой ночью, когда она говорила о ликбезе, о том, что надо добиваться, и нынешними аплодисментами... Жизнь, в которой родились шестеро сыновей и немцы расстреляли мужа, жизнь, в которой на собственной спине перетаскала она тонны лесной, сытной земли на участок звена, и сыновья тоже носили, все шестеро, разве что в мешках поменьше. Жизнь, в которой приходила радость от летних, шепчущих по листве дождей, и страх перед голыми крымскими морозами: не погибли бы лозы. А больше всего было в этой жизни труда, безжалостности к себе и требовательности к тем, кто работал рядом с нею и тоже, как она, должен был не только стараться руками, но и думать, что еще можно сделать, чтоб увеличить урожай, уменьшить затраты...

Бывало, и шарахались от нее из-за этой требовательности:

"Ты, Мария, двужильная, а я такая, чтоб и себя пожалеть: не могу кусок на ходу жевать, детей гонять на казенную работу".

"Для меня она не казенная..."

"Правильно, тебе оно надо: ты у нас Герой..."

Но и до того, как получить звание Героя, она не знала отдыха, надеялась, прежде всего, не на свой приусадебный участок — на успехи «Коктебеля», на его будущие богатства. И они пришли: богатство, слава, та самая веселая жизнь, о какой говорила когда-то мужу, глядя на шелковый лунный свет, расстеленный на полу, и

не очень-то отчетливо понимая, что вкладывает в свои слова.

Сейчас не молодым, а спокойным, обстоятельным весельем души было для нее не только то, что она добилась рекордного урожая, но в большей степени — что опыт ее перенимали по всей области, верили ее советам, уточкой бегали вокруг, ловили каждое слово...

...Она сидела за красным столом президиума, вглядываясь в свою жизнь, такую длинную и такую разную, как будто ее прожила не одна женщина, а, по крайней мере, три. И придумавшая обрезку на длинные дуги, ездившая по хозяйствам строго и с почетом, только понаслышке знала о Маньке-батрачке...

...Вторая звезда Героя Социалистического Труда засверкала на груди Марии Александровны Брынцевой в следующем, 1959 году. И тогда же, как полагается, поставили в совхозе бронзовый бюст. Бронзовая Мария была, конечно, похожа на нее, но смотрела суровее и дальше, что-то проглядывало в ее лице от тех женщин, повязанных красными косынками, которые когда-то, еще в самом начале Советской власти, приезжали, рассказывали, какая будет жизнь и как за нее надо бороться.

Три поездки в Джанкой

— ...Лучший мастер участка Рак Иван Кузьмич обеспечил в бригаде Сиротюка... — Дальше шли цифры, говорящие об объеме работ, перевыполнении плана и экономии, но я уже не вслушивалась. Рассматривала лица людей, сидящих на собрании рядом со мной,

стараясь найти то мальчишеское, худое, всегда готовое к иронической улыбке...

Я почему-то не подумала, что он мог измениться за эти шесть лет, Ваня Рак, мой первый знакомый на канале. И он действительно не изменился.

Когда я подошла к нему в перерыве, он поднял глаза, и в них, кроме узнавания, мелькнуло ребячье лукавство, будто он тоже решил: "Вот это здорово! Через шесть лет и на том же самом месте!"

Шесть лет назад, то есть тоже ранней весной 1961 года, ехала я в Джанкой, на Северо-Крымский, в одну из своих первых журналистских командировок. В кабине, кроме шофера и меня, сидел еще плотный, хорошо сколоченный и ладно одетый дядька-механизатор. Всю дорогу рассказывал он, как удачливо "рвал куски" где-то в Средней Азии. "Есть-пить там — не спрашивай, но зато на остальное жаловаться не приходилось". А здесь, в Джанкое, говорят, не хватает техники, так как мы, случайные попутчики, считаем:

— Устроюсь? Может выгореть? Стаж у меня подходящий, разряд...

— Чего ж не выгореть? — успокаивал шофер. — Тут на машинах кто работает? Пацаны, мальчишки. Они, может, тот скрепер первый раз месяц назад увидели, с курсов только. А ты своему делу мастер, хозяин.

Я была рада избавиться от такого «хозяина» и шла по Джанкою одна под голыми ветками, под не родившимися еще звездами; они только проблескивали иногда случайным лучиком на зеленом вечернем небе. Теплый ветер, свободно залетавший в степной, одноэтажный городок, толкал меня в грудь и был как бы

не просто ветром начала весны, но ветром самого Начала. И дорога, разъезженная, засыпанная щебенкой, но без асфальта пока, тоже каким-то образом намекала на то, что начинается...

В общежитии хлопали плохо пригнанные двери, из комнаты в комнату ходили ребята. Кто еще в спецовках, кто уже в тельняшках с засученными рукавами, с полотенцами, перекинутыми через плечо... На лестнице сразу несколько человек, одинаково согнувшись и одинаково орудуя суконками, чистили ботинки. В кухне молоденький и очень кудрявый мальчик варил что-то в большой кастрюле... И в его тонкой шейке с ложбинкой заключалось нечто, тоже свидетельствующее о самом Начале.

Постучав в первую попавшуюся дверь, я оказалась, как по волшебству, в комнате, где жил только что, буквально час назад, выбранный секретарь комсомольской организации СМУ-3. Звали его Ваня, Ваня Рак.

У него было милое и насмешливое лицо того классического славянского типа, какое полагается иметь третьему сыну в сказке. В конце концов, самому умному, самому смелому и удачливому.

Биография Ванина была несложна: кончил школу, работал в Доме культуры.

— Что там делал? Портфель таскал, заведовал.

— А в строители как?

— Очень просто: положил портфель, взял лопату.

Он сидел, зажав между коленей большие, обветренные руки, голова чуть дурашливо втянута в

плечи. Наверное, ему очень хотелось сказать: "Ах, отстаньте вы все от меня, нашли общественного деятеля".

Этого по вежливости и новому своему рангу он не сделал, а просто вскочил, решив внезапно:

— Эдика позову. Меня сегодня благословили. А Соколовский комсомольским штабом уже сколько времени командует.

Эдик оказался еще моложе Вани. У него были детские безмятежные щеки, детские надменные губы. И биография соответственная. Однако рассуждать и отвечать на вопросы, Эдику было явно легче, чем Ване. Стройка замечательная, и если уж говорить о людях ее, то выбирать надо не таких, как они, тут нужен человек, уже сделавший что-то такое... Эдик пошевелил плечами, примеривая слова «необыкновенное», «героическое»? Правда, героического на стройке, пожалуй, пока еще нет. Вот на Каланчаке, у Губаренко — другое дело.

— А что — на Каланчаке? — признаюсь, тогда фамилию Губаренко я пропустила мимо ушей.

— У Губаренко стихия, романтика, а у нас! — Эдик засмеялся, махнул рукой. — Завтра пойдете на стройку, увидите, что есть, что будет.

...Строительство Джанкойской промышленной базы еще не было строительством канала, но и оно достаточно впечатляло. Несколько гектаров распланированной, разрытой, кое-где одетой в бетон земли. Подпирающие небо колонны — на них смонтируют свод завода железобетонных конструкций. Поднимая волны жидкой грязи, у растворного узла сновали грузовики. Ветка железной дороги вбегала прямо в центр строительной

площадки. И тот же ветер трепал беленький листочек «молнии» на неоштукатуренной стене...

"Чем, собственно, занят товарищ Червинский? Почти все бригады по полтора-два часа простаивают без раствора. Требуем наладить работу растворного узла".

"Не позволим оставлять замес на второй день, это снижает качество бетона. Помните, что мы строим, товарищи, из растворного узла. Комсомольский штаб требует..."

— Кто писал? — спросила я.

— Ваня Рак.

Я застала Ваню Рака на рытье траншеи под фундамент трансформаторной будки. Он кивнул на холмик, все растущий под его лопатой.

— Посмотрите, что копаем.

Нагнувшись, подхватила в горсть черной, какой-то странной земли. Она вся была пересыпана почти совсем уже истлевшими, но хранящими еще форму гильзами.

— А это свинец — поднимите-ка. Запекся в земле.

Смотрю на Ваню и не узнаю его. Рядом смеются девчонки из бригады, подбрасывая мертвые, уже никому не страшные гильзы. Очень далека от них истинная сущность выкопанного сегодня «клада»: девчонки еще не распрощались окончательно с детством. А у Вани лицо солдата.

...Тихая ночь стояла над Джанкоем. Голые, темные ветки деревьев расчертили небо, и, странно, от этого краски его стали нежнее, прозрачнее. Я вспоминала...

В сорок четвертом мы возвращались с месячных курсов трактористов. Несколько девушек и парней из степных совхозов. В Джанкое нам надо было ловить поезд-товарняк, другие тогда еще не ходили. Тоже была ночь и крупные южные звезды. А те патроны, что нашел сегодня в земле Ваня Рак, еще хранили тусклый блеск своих медных рубашек... Минеры ходили по Джанкою, ощупывая, выслушивая землю. Каким умудренным жизнью и, наверное, пожилым казался нам тогда тридцатилетний солдат, объясняющий на курсах все, что требуется, о коробке скоростей, о поршнях и цилиндрах. Только магнето было для него самого полно загадок. Солдата списали из армии из-за контузии. Он умер через месяц после того, как подписал нам справки об окончании курсов...

Тихая ночь стояла над Джанкоем, но в ней чувствовалось приближение утра. Пустынно было на перроне, и я обрадовалась, когда в конце его показалась быстро шагающая фигура.

Впрочем, радость моя поубавилась, как только я узнала этого человека. И все-таки окликнула:

— Ну, как? Устроились, договорились?

— С ними договоришься, — он тяжело махнул рукой. — Понаехали тут со всего света сосунки, а туда же — не сдвинь его, не потревожь.

— Хозяева стройки, — сказала я. — Хозяева, а будут и мастера.

— Мастеров не будет. Соскучатся за мамкиной титькой — разбегутся.

Пустынность перрона и собственная неудача нагоняли на него тоску, и он говорил, говорил...

Только я не вслушивалась. Я вспоминала листочки «молний» и Ваню, каким он был, когда держал на ладони тяжелую, пополам со свинцом землю...

В следующий раз я приехала в Джанкой через полтора года. Поинтересовалась, где работает Ваня Рак.

— В институт уехал. Ищи ветра в поле!

— Обещал вернуться, когда окончит?

— Все обещают.

Товарищ из отдела кадров добавил усмехаясь:

— А Эдик вещички складывает...

Эдик действительно складывал вещички, собираясь догонять Ваню, — ехали они в один институт...

И вот прошло еще шесть лет, идет апрель 1967 года, и я слышу:

— Мастер Иван Кузьмич Рак обеспечил бригаде Сиротюка выработку сто сорок процентов при отличном качестве работы...

Весь следующий день я провела в бригаде Адама Сиротюка, на участке, где мастером был Ваня.

И сам Сиротюк и монтажники его были молоды. Не так, положим, как были молоды мальчишки, встретившиеся в общежитии в мой первый приезд.

Но все-таки они были молоды, и на многих из них выгорали гимнастерки, которые не успели сноситься в армии.

...Рядом со мной стоял начальник участка и рассказывал о том, как умеет организовать работу Иван Кузьмич, как мало бывает хлопот с бригадами, где мастером Иван Кузьмич...

Иван Кузьмич, которого мне упорно хотелось назвать Ваней, мотался поодаль: ставили на седло опоры, весящие несколько центнеров лотки. Точность при этом нужна была миллиметровая...

Впрочем, очевидно, самым точным должен был быть крановщик, поднимавший своей стальной «рукой» это корыто.

— Хороший у вас крановщик? — спросила я.

— Крановщик? Гречкин? Лучше не бывает.

— А экскаваторщик?

— Лучший экскаваторщик, — сказал начальник участка убежденно.

Лучший экскаваторщик СМУ-3 Михаил Петрович Немерчук подошел к нам как раз в тот момент, когда мы, перебивая друг друга, каждую фразу начинали со слов: "А помните?"

— А помните патроны? — спрашивала я, и все кивали. Немерчук тоже кивнул, и перед ним тоже, наверное, как и передо мной, встала эта тяжелая, начиненная свинцом земля первых траншей на промбазе. Кстати, он тоже рыл эти первые траншеи.

— А «молнии» — помните?

— "Чем, собственно, занят товарищ Червинский? Почти все бригады простаивают по два-три часа без раствора", — подхватил начальник участка, и мы все засмеялись. Фамилия незадачливого Червинского

оказалась чем-то вроде пароля. Она отбросила нас на шесть лет назад, объединила...

— И стихи там тоже в «молниях» были, — сказал Немерчук. — Он писал, Ваня. Иван Кузьмич...

Червинский минуты у нас крадет,
Червинский себе их в карман не кладет,
А просто пускает на ветер...

А степь вокруг — зеленая, шелковисто лоснящаяся — была куда красивее, чем та, где я впервые увидела ни с чем не сравнимый пунктир Канала. И жаворонок висел в эмалевом небе как бы для окончательного украшения ее, и канал, как могучая река жизни и времени, тек рядом, а все чего-то не хватало этой новой степи. Но, может быть, не ей — мне не хватало?

Лучший мастер участка с треногой теодолита в руках подошел почти вплотную, спросил, будто догадываясь, что я нуждаюсь в утешении:

— Соколовского помните? В Красногвардейском он, мастером.

Эдиком он его уже не решился назвать.

Привычное

Вокруг лежали земли, уже привыкшие к каналу. Земли, на которых работали малые скреперы, выравнивая чеки под рис. Главные же силы ушли в Раздольненский, Первомайский и Нижнегорский районы.

Вот мне и посоветовали поехать на участок к Аверьянову: "Встретите там людей, которые прошли весь путь, считая от Каланчака".

Это был лучший участок СМУ-5, которое вело тяжелые земляные работы по всей длине канала.

Встреча должна была произойти в Калиновке, но я попросила шофера:

— Давайте сначала в Первомайское...

В Первомайском я работала сразу после института и не видела его с пятьдесят седьмого, ровно десять лет.

— Вон винзавод у них, — сказал шофер. — Не знаю, в ваши времена был ли...

— В мои времена и куста винограда не росло...

Мы проехали уже виноградники, и теперь машина шла мимо цветущего сада. Деревья были высокие, развесистые. Шоферу, очевидно, казалось: вот так вот и стояли они с самого сотворения мира. Деревьям было лет 12–13. Шоферу — лет 20...

— На малой воде, — сказал он одобрительно. — Не ждали нас, били артезианы...

Ровное зеленое свечение струилось над поселком. И становилось ясно: не только сейчас, в апреле, но и в августе пыльные вихри смиряют свою злую прыть, натываясь на деревья. А деревья росли не только в сквериках и дворах. Они выбегали к тротуарам и перебегали через тротуары. Клумбы раскинулись всюду, будто люди спешили наверстать упущенное, торопились друг перед другом быть щедрее, отзывчивее. И земля тоже торопилась.

...А потом мы свернули к Калиновке.

Передо мной была широкая, очень широкая полоса рыжей, обнаженной глины, и по полосе этой мощно ползли автоскреперы с ковшами, готовыми взять в свою

пасть по 8–9, а то и по 11 кубов земли и перенести ее туда, где насыпалась дамба.

Первое, что бросилось в глаза, был старый, стоявший у дороги скрепер. Силуэт его был такой же мощный, как у других. И так же, как другие, он напоминал не то бизона, не то древнего ящера. Во всяком случае, что-то живое и могучее. Но в тусклой краске, в обилии вмятин сквозила усталость.

— Старик, — сказал как о живом бригадир. — Шесть с половиной лет вкалывает.

Глаза бригадира взглядывали пронзительно, и во всем его облике сохранялось что-то от романтики тех первоначальных дней шестьдесят первого. От тех дней, когда люди словно сами себе удивлялись: а ведь нам поручено, не кому-нибудь, именно нам.

— Это он сейчас десятый, — кивнул бригадир на номер старого скрепера. — А был сто десятым. Мы, когда механизмов еще мало было, счет вели не с первого, а с сотого.

— Зачем? — хотела спросить я, но бригадир сделал руками обхватывающий жест, который очень хорошо объяснял, зачем: ради внушительности, ради грандиозности.

Один за одним строим шли скреперы. Так же, как десятый сфотографированный для музея, они похожи были на живые существа, в данном случае любопытствующие, из-за чего толпится народ... Они все подползали к бригадирскому скреперу, останавливались чуть поодаль, кабины их пустели, но это ничего не значило: скреперы, казалось, обладали способностью

самостоятельно прислушиваться к тому, что говорит бригадир об их прошлом.

Бригадира зовут Петр Бойко.

— Каланчак! — в третий раз за десятиминутный разговор произносит он это слово. — Воды машинам — по кабину. Сами прыгаем не хуже лягушек. Только одно выручало: характер у начальника участка подходящий был.

— А что, сейчас изменился?

— Да нет. Только теперь Губаренко не у нас, а начальник СМУ в Красногвардейском... Может, встречали?

— Не встречала. Так какой же все-таки характер? — спросила я без особого любопытства и нажима, просто уточняя.

— Губаренко скажет: "Зробить, хлопцы", и хлопцы не подведут. Нас-то он никогда не подводил. И простой он, а знания, что в теории, что в практике, — бригадир опять взмахнул руками, будто пытался и не мог обхватить необъятные знания Губаренко... Или это относилось на только к знаниям?..

И потом весь тот день меня сопровождали рассказы о Губаренко.

— Один понимает себя как главнокомандующего, а Губаренко как главного отвечающего.

— Чтоб Губаренко когда-нибудь сверху вниз с рабочими — так не бывало. Он и сам на любого из нас походит: кепочка такая, сапоги, только не молодой...

— Губаренко первый вместо тарифных ставок ввел сдельщину. Хлопцы сразу в карты играть бросили. От

рулей не оторвешь... А какую надо выдержку, чтобы день с нами возиться, а ночь задачки по учебнику решать, в институте заочно учиться.

Это уже говорил тот скреперист, в кабину которого меня посадил бригадир: почувствуй, мол, сама, что такое смена, ее напряжение, но заодно и ее возможности. Слова, которыми скреперист рисовал портрет Губаренко, слетали с губ его толчками и были плохо слышны в лязге металла, в натужных стараниях двигателя. Скрепер плыл, как по волнам, по неровностям рыжей, раздетой земли, тяжело вползал на насыпь. Девять кубов, взятых им в пасть, высыпались, разом ухая, входили, как малая крупица, в тело дамбы.

Я смотрела на руки скрепериста. Меня всегда волновала эта мощь человека, передвигающего рычаги. А может быть, волновали воспоминания? Сорок пятый год, тяжелые, кое-как залатанные на гусеничном ходу «НАТИ», курсы трактористов, курай, разор, земля, заросшая сурепкой, медуницей, осокой, и этот запах разогретого мотора, металла, масла...

— ...А на Каланчаке ночью прорвало, вода уже до мотора дохлестывает. Губаренко всем голосом крикнул, сразу хлопцы сообразили, что к чему!

— А вы?

— Что я? Технику все уводили, поднимали в степь, а Губаренко...

Губаренко, Губаренко, Губаренко...

Я не запомнила фамилии скрепериста, а эту запомнила.

...Один за одним строем шли скреперы, высыпали землю, взятую из карьера, снова входили в свою прежнюю колею. Колеи же были огромны, на них швыряло, как на океанской, не морской волне. И это усиливало ощущение того, что присутствуешь не при обычной, пусть даже значительной работе, а при созидании. Чем-то вроде египетских пирамид, вечным и непостижимым представился вдруг мне этот разрез масленно и радужно блестящий на отвалах земли.

Я покосилась на скрепериста. Под мое настроение я должна была сидеть рядом с полубогом. Сидела рядом с обыкновенным парнишкой со светлым, открытым лицом. Широкие, но совсем еще мальчишеские руки с яркими лунками ногтей на смуглой коже лежали на рычагах очень чутко, улавливая сантиметры. Из кабины скрепера, идущего впереди, выглядывал такой же паренек, и в соседнем сидел не старше.

Взад, вперед, тяжело переваливаясь, идут скреперы, наращивая тело дамбы, и это не первая, даже не вторая дамба на счету у бригады Бойко и многих других. Каждый из них, каждый, кто стал мастером, знает не только свои «кубы», он знает и то, что по-настоящему делает его хозяином. Знает, как вода изменяет крымскую степь.

Еще совсем недавно, кажется, ничего не было, кроме основной, грубо рвущей землю магистрали канала и всего другого, имеющего отношение скорее к технике, чем, скажем, к нежно уязвимому стеблю пшеницы или риса... И вот уже, перекрикивая гул мотора, самый молодой скреперист из бригады Петра Бойко отвечает на мой вопрос:

— А как же! Как же не знать? Сколько раз было: ты вот тут работаешь, а рядом поля: мы ж в Зеленой Ниве стояли, пока дамбу насыпали.

"Зеленая Нива"... Задумывался ли этот паренек с простодушным лицом над значением этих слов? Наверное, не задумывался. Во всяком случае, сейчас ему не до этого. Нож скрепера трудно срезал пласт земли, лицо скрепериста напряженно, и видно: всеми мускулами он как бы сросся с машиной и чувствует ее так же, как землекоп чувствует лопату, а молотобоец молот в своих руках.

Скрепер, осторожно выбирая дорогу среди навалов земли, вползает на дамбу. Дамба сама по себе отнюдь не такая возвышенность, чтоб с нее открывались какие-нибудь особые горизонты... Но мне кажется, с нее я вижу такие же скреперы возле Нижнегорского и Воинки, в Раздольном и Красногвардейском.

Время приближается к обеду. Все, кто работает на участке, собираются в проходной столовой, сидят на врытых в землю скамьях, курят.

— И под Каланчаком дамба и эта — считайте, Губаренко навечно себе памятник обеспечил.

— Все мы себе обеспечили. А если правду сказать — так еще ж не вечер, хлопцы.

Вечер стоял от них еще действительно далеко, даже для самых старших. Большинство же было в той поре, когда человек уже должен оставить след на земле, но когда ему еще рано на этот след оглядываться...

И если они в данный момент оглядывались — так я их к этому подталкивала, мне все хотелось восстановить

связь времен, я заговорила о том, что под Керчью опять пойдет земля, начиненная свинцом и порохом.

— Очень даже знакомая мне земля, — сказал дед Ляшко. — Я на нее десантом высаживался, еще в сорок первом...

Странно представить, что дед Ляшко со своей седой щетиной, со своим грузным, непослушным телом бежал когда-то, рассекая ледяную волну, стрелял, падал под пулями. Впрочем, тогда у деда Ляшко не было ни седины, ни тяжелых негнущихся ног... Дед Ляшко был тогда моложе самого Бойко и многих из его бригады. А теперь он сидел и вспоминал подробности десанта, разгораясь все больше и больше.

— Да, скоро опять будем на той земле, — дед Ляшко задумчиво поскреб затылок. — Сухая земля. Я ничего не помню, а помню — сухая. И поселочки незавидные — саман. А деревьев нет...

— Забудьте, — засмеялась я, — про саман забудьте и про "деревьев нет". Никто не сидит сложа руки, пока вы воду ведете... Видели, что делается в Первомайском?

Ляшко согласно закивал головой, потому что он, как и я, мог сравнить Первомайское нынешнее и прошлое: восемнадцать лет проработал трактористом в районе. А мне хотелось рассказать поподробнее о тех лесах, которые насажал Парельский, или о виноградниках. Но только я раскрыла рот, как меня перебили:

— Слышишь, Коля, — окликнул кого-то бригадир. — Слышишь, вчера мы как раз про те леса кино с тобою видели. Ну, как там была ему фамилия?

— Парельский? — спросила я, еще не веря в эту встречу.

— Правильно, Парельский. Он секретарем у них был...

Кто строил канал

Все казалось: времени много впереди, я поеду еще на Канал, еще и еще. И где-нибудь, наконец, встречу с этим человеком, старшим прорабом, насыпавшим дамбы у Каланчака и Воинки, как тогда говорил, обеспечившим себе этими дамбами памятник на веки вечные.

Однако нельзя же, поехав на Канал, снова попасть к его началу. В ту майскую степь шестьдесят первого, по которой шли мальчишки: военные в черных наушниках и с гибкими щупами в руках — саперы. Они шли развернутым фронтом, без зазора, один к одному, и с Перекопского вала казались странно маленькими. По сравнению не только с самой землей, но и с тем глинистым срезом на ее теле, с которого начинался Канал.

Солдаты, никогда не видевшие войну, слушали ее металлическими щупами, похожими издали на детские хлыстики. Такими хлыстиками подгоняют из хлыстиков же смастеренных коней. Только хлыстики и были наивны, все же остальное напоминало войну. Не только землянкой Толбухина, сохраненной для истории, не только цифрой — четыре тысячи снарядов и мин вынули на кусочке от Перекопа до Армянска, но и всей картиной движения техники, которое потом назовут третьим штурмом Перекопа.

Пока же ему не было никакого названия, пока перед нами лежала степь в своей лучшей поре. Шелково переливались незрелыми колосьями дикие травы, по травам скользили тени облаков, в облаках ликовали жаворонки. Пристроившись плечом к плечу, по огромной траншее ползли скреперы, столбом к небу стояла пыль и гул моторов.

С этого дня прошло шестнадцать лет. Между тем встретиться со старшим прорабом мне все не удавалось. А когда в январе этого года встреча все-таки состоялась, случилось это не на Перекопе, не возле Воинки, не на Раздольненской ветке, наконец, а в обыкновенно квартире блочного дома. И заключалось в том нечто неестественное, как если бы в двери ко мне въехал монумент. Хотя в наружности Губаренко ничего монументального, величественного или хотя бы романтического не было.

Он сидел — высокий лоб с залысинами, руки смиренно лежат возле папки на моем письменном столе. Сидел, тихим голосом рассказывал, какая верховодка была под Воинкой, и как трудно было осенью и зимой брать глину из карьера. Пришлось обнести карьер дренажным рвом, осушить хоть немного... Семь миллионов кубов надо было откуда-то набрать и уложить в тело плотины. А за работы по осушению карьера, не предусмотренные проектом, процентовки им, между прочим, никто не закрывал...

А потом по плотине пускала свои катки бригада Ивана Берли, и было у этой бригады из пятидесяти человек одно свойство: если у кого сломался тягач, чинить, как комашня, налетали все, не занятые в смене. Раскидают трактор по винтику и соберут здоровым... И ночь-полночь на дворе — тоже. Светят фарами и

работают. Берля плотный, спокойный, голоса никогда не поднимает. Только посмотрит, как будто чуть сбоку, ребята поймут, другого выхода нет, надо и через силу иногда.

... Не берусь сказать, что воинскую или каланчакскую дамбу воспринимаю как пьедестал к личности того Губаренко, о котором столько слышала на канале. Это было бы слишком. Для такой метафоры нужно быть в том возрасте и настроении, когда десятый скрепер величают сто десятым, а больше всего ценят возможность размахивать руками, говоря о любимой работе.

Однако, пока рассматриваю средних лет человека в галстук, пестротканом рабочем пиджаке и брюках навыпуск, пока слушаю, что он говорит об организации труда, — все это все равно со мной: огромные колеи, валкое, враскачку движение скреперов, особый степной, весенний ветер, бесконечный и набегающий кругами, и огромная плоскость земли.

— Скреперов тогда у нас было по 15 в каждой бригаде, а бригад 13. Со временем ребята не считались. Говорили: штурм, ну и каждый понимал, что значит — штурм. Зимой трудно было: грунт мокрый, работаешь круглосуточно, не даешь ему замерзнуть, переувлажниться. У меня трудности весной: пока все войдет в график, хлопцы привыкнут, со всеми сменами приходится начинать рабочий день...

График, цикл, ритм — какие еще столь же прозаические слова он произносил? Послушать бы, как об этом же рассказывает, к примеру, Эдик Соколовский. Ведь вот она, необъятная грандиозность: семь миллионов кубов "и дождь, и ветер, и звезд ночной полет...".

Конечно, нелепо на вопрос: "Кто строил Канал?", даже на вопрос: "Кто, по твоему представлению, строил Канал?" — ответить одной фамилией. Канал строил народ. Это была ударная, комсомольская, да еще и всенародная стройка. И все-таки, и все-таки...

И все-таки я бы сказала: хочешь увидеть человека, который строил Канал, познакомься с Губаренко. Эта мысль не в моей голове родилась, ее туда подбрасывали все разговоры шестьдесят первого, шестьдесят четвертого, шестьдесят седьмого, да и нынешние — тоже.

Под началом у Губаренко, когда насыпали затажную, одиннадцатикилометровую у Воинки, было 1000 человек: инженеров, скреперистов, шоферов, электриков, лаборантов, и многие — совсем мальчишки. Из тех, что в Джанкое, в комнате Вани Рака, отмеряли время так: "Нет, с этим поручением ему не справиться, тут с огоньком надо. А он пожилой". Потом выяснилось: пожилому двадцать седьмой пошел...

А сколько же лет было Губаренко, когда в пятьдесят девятом в Джанкое он рыл первые траншеи под фундаменты тех самых домов, где потом жили двадцатилетние Эдик, Ваня, кудрявый мальчик, варивший макароны в очень большой, на всю компанию, кастрюле? А было Губаренко тридцать один.

Пожалуй, это меня в нем поразило больше всего — и сейчас еще не стар. Мне ровесник. А тогда разве что по джанкойским меркам его можно было отнести к тем, кто прожил уже в жизни самую горячую и, по их понятиям, лучшую половину. Интересно, как они, сорокалетние, рассуждают сейчас?

Сорокалетний Губаренко работал под Воинкой, а рядом с ним работали люди, чьи имена запомнились прорабу на всю жизнь. Бригадир скреперистов: Кобылко Владимир, Дорожко Борис, Карась Иван, Бруштелер Владимир — фамилии прямо как в Запорожской Сечи и смех такой же, и осанка, когда станут, привалясь широкими спинами к крупам своих «коней», обсуждают, что есть справедливость...

В пять часов встать, а в шесть уже работать не трудно, если по справедливости. В чем же она? В хорошей оплате? В том, что запчастей полно?

Стоят, сбивают фуражки с затылков на брови и обратно, гоняют желваки по молодым щекам. Вот, кажется, вот-вот поймут, как зайца в степи, главный ответ на вопрос, который друг другу и сами себе философы не устают задавать, какую уже тысячу лет: что же есть справедливость?

— Скреперов сто сорок, бульдозеров полсотни — это сила? Я тебе скажу, на эту силу большую силу характера тоже надо иметь. Чтоб фронт работ обеспечить, использовать технику, — погибает один темный от солярки палец.

— Чтоб работяг не обидеть, — второй палец ложится в заготовку внушительного кулака.

— Так направить колесо, чтоб за рублем идею не забыли.

— А зарплата у него в два раза меньше, чем ты, Толик, например, выработал в апреле.

— И, между прочим, нашу он сам из банка возит, и это на себя взвалил, как ты смотришь?

— Вот и объясни, за что мужик старается?

— Слава ему нужна или в дело впрягся, отстать не может?

И вправду: впрягся ли в дело или не хотелось быть хуже людей? Свое честолюбие побуждало или сознание того, какую ответственность, так уж получилось, взвалил себе на плечи?

А что значит: "Так уж получилось?" А значит это: потянул на должности бригадира, дали прораба, потом старшего прораба. Потом: старшего прораба на одном из самых ответственных участков. За славой же он не гнался, выдвинуться, выделиться из рядов не стремился. За Верхний Ингулец получил "Знак Почета", за затяжную — Красного Знамени.

Мягка весенняя земля в степном Крыму, и соловьи скоро прилетят, запоют в зарослях тех лесополос, что укрыли дамбу. Незнающий человек проедет мимо и не заметит уникальную, не услышит разговоров, словно и сейчас еще шелестящих меж веток. Разговоров о справедливости, которая у нас у всех, как ни крути, одна: "Жила бы страна родная", — как поется в одной из самых романтических песен века.

...Губаренко между тем сидит, рассказывает, как лаборанты каждый час брали пробы грунта, как обеспечивалось качество работ, из-за которого он вроде бы и не рвал нервы никогда. Другое дело — сроки. Сроки жесткие, выручало соревнование. Вот, например, передовая бригада Владимира Кобылко вызвала на соревнование отстающую. Организовали все по справедливости: механики разделили скреперы одинакового достоинства поровну. Участки работы тоже были у каждого не лучше и не хуже, чем у другого, а

остальное: задор, романтика, честолюбие, и то пульсирующее, вечно напоминающее о себе чувство ответственности, которое он им прививал не на собраниях только, не на планерках, а каждый день, и сам не замечая...

Течет Канал, рукотворная река, длиной своего главного ствола в 400 километров, качают воду 100 насосных станций, разбираются, расчесываются ее пряди ни много ни мало на 6000 токов, раскинули свои могучие крылья 3500 дождевальных машин, большинство новейшего образца.

Кто строил Канал?

Канал строил народ.

Но есть у народа одно свойство — точно выбрать человека, в котором, как представляется, сошлись все лучшие качества, присущие времени, нации, строю, то есть в конечном результате самому же народу. Выберет и сопровождает легендой, любовью, благодарностью за справедливость.

Портрет знакомого

Со стены вагончика, приколотый кнопками, смотрел на меня портрет. Я сразу узнала большеносое худое лицо под казацким рассыпчатым чубом и подумала: подходящее место для этой встречи — вагончик строителей канала. Ибо когда делаешь работу, даже такую огромную и потому отчасти как бы безликую, надо знать, для кого она, кому достанутся ее результаты.

Семнадцать лет назад, когда Канал был еще строительством, я познакомилась с Владимиром Семеновичем Саранчой в местах, которые в просторечьи

кликали очень выразительно — Чертов угол. И, действительно, чертов был угол, опаленный сухими ветрами, заросший таким сытым чертополохом, какой рождается только на нелюбимой земле. И вот среди всей этой привычной скудности и даже заброшенности, на краю степи, у самого моря стояла иссиня-зеленая стена кукурузы, а при ней совершенно непонятная здесь голубая беседка. Голубая от нежных, как само утро, граммофончиков повилики.

Но ведь не ради же этой беседки я приехала на Тарханкут в шестьдесят первом? Конечно, нет. Беседка — что? Всего лишь красота. А в наш век ценится польза, да и как ее не ценить, если во многих хозяйствах на Тарханкуте кукуруза в лучшие годы давала 50–60 центнеров зеленой массы на богаре. В худшие же — ее просто активировали: Чертов угол! Одно остается: ждать — вот придет Канал, вздохнем.

Владимир Семенович Саранча не согласен был ждать.

"Чудак!" — кричали Владимиру Семеновичу, когда он полез в грязь и вонь старого, давно заброшенного колодца. Кричали и смотрели, как он с товарищами вычерпывает оттуда ведро за ведром осклизлую жижу. И спрашивали: "Далеко еще? Смотри, до Америки не доройся". Потом, когда пошла чистая, хоть и очень малая вода, когда пустили движок и стали поливать два первых гектара, те же люди кричали: "Ну, Володька бегаёт по полю наперегонки с водой, пятый угол ищет!"

Иногда они стояли, эпически сложив могучие руки повыше молодых, поджарых животов, иногда присаживались на корточки, мяли темными от солярки пальцами землю, спорили, насколько хватит воды,

насколько Володькиного терпения. Многие из них потом стали его последователями. Но именно — *потом*, когда дело было признано, когда стало ясно: "А он не такой чудак, Володька, он свое понимал!"

Кукурузы Владимир Семенович в первые же годы стал получать 600–800 центнеров по-настоящему зеленой массы с гектара.

И вот тогда все — сверху донизу — вдруг отчетливо поняли: нет терпения, сердце заходится ждать, пока придет Канал. Чем наш Чертов угол перед Богом так уж провинился? И затрусил бригадирские валки бедарки, запылили мотоциклы по степным, одинаковым дорогам — ехали посмотреть, что там такое в «Дальнем»? Правда, нет ли, что тамошний один чудак обещал с двадцати поливных гектаров обеспечить силосом весь совхоз?

... А потом Владимир Семенович Саранча, неожиданно для себя и ради пользы дела, оказался довольно далеко от «Дальнего», в степи, еще более обглоданной, чем тарханкутская. Это была степь присивашская, под самым разбитым войной и несколько застроенным во времени Канала Армянском. Туда шла большая вода, и, чтоб принять ее, нужен был опыт. Цифры тут были другие: не 20, а 900 гектаров, не движок, не две скважины, а огромная, живая дорога воды подходит к самой делянке — только возьми ее!

Рыли Канал — это было понятно. А что дальше? Как отзовутся солончаковые степи на воду? Как окупятся расходы? Как изменится экономика? Наивно было бы представлять, что на все это должен ответить один человек. И все-таки он ближе других был к ответу на вопрос: что сможет присивашская степь?

Возможно, действительно заступником присивашской земли видел себя в те годы Саранча и до холодного пота ворочался в бессонные ночи, когда даже «Дальний» начинал казаться ему райским местом, когда спрашивал он сам себя: за что братья в первую очередь? Как уговорить людей не разбегаться, не опускать руки? Больше всего людей уговорила его слава человека обстоятельного, который никогда не пытался обмануть землю. Перекопскую и тарханкутскую степь легко пересекали не только шары курая, но и слухи — ведь в гости друг к другу люди нынче ездят просто: сел на мотоцикл, жену — в коляску, и запыхал!

Может быть, приезжая в «Дальний», выкладывая гостиницы и поклоны, справлялись родичи и о голубой беседке? С хитрым прищуром, как о некоей тайне интересовались: была ли такая и к чему? И еще: правда ли, их бригадир поссорился в давние времена со своим напарником из-за книжек? Хотел, мол, премиальные известить на научные книжки, а напарник настоял — на музыку! То есть на приемник для полевого стана? Правда, — отвечали родичи из «Дальнего», — поссорился. Только на своем настоял как раз Семенович: отправился в Узбекистан за опытом, а музыку уже на другую премию купили. Переживал, правда, ссору Семенович...

В ответ на это гость из «Таврического» мог рассказать, как пришлось Семеновичу переживать уже у них, например, когда пожгли всходы суперфосфатом.

И тут собеседники, наклонив друг к другу и к столу поседевшие головы, замечали, как легким сквознячком зависти прохватывает их: "Нет, он не такой чудак, наш Семенович, знал карту, на какую ставить".

А может быть, голубую беседку никто, кроме меня, так уж не обсуждал, но я спрашивала в каждый приезд:

— Владимир Семенович, беседку помните?

— А как же!

— Здесь не планируете что-нибудь вроде?

— А как же...

Время, однако, шло, и — никаких слухов ни о каких беседках... Все двигалось у Саранчи, как у людей: солиднел, сидел в президиумах, получая ордена, звания. Напросился, чтоб подбавили ему земли, а, следовательно, и хлопот, ездил по собственному почину на Херсонщину за семенами, переписывался с разными НИИ. Успех и благополучие выглядывали из-за его плеча на каждом газетном снимке, а я все думала о той мелочи, которую и не стоило бы уже вспоминать вместе с ее голубым, тающим к полудню сиянием. Бог с ней, в самом деле!

Но вот в последний приезд два года назад повел меня Владимир Семенович, прежде всего, не на поля, а в неожиданную рощу молодых дубов. Тень от дубов лежала вокруг уже плотная, настоящая, и пахло разогретой корой, жесткой кожей листьев.

— Вот, — сказал Семенович. — Вот придут сюда внуки... Интересно только, какие разговоры они здесь вести будут. Не хотелось бы, чтоб о ценах на картошку...

— На какую картошку?

— Которую в Армянске на базаре продают. А они ведь грамотнее нас будут. У них возможность шире смотреть на землю.

— Да, — подтвердила я и спросила о том, что мне с первого взгляда показалось странным: — Владимир Семенович, а почему фруктовых деревьев вы не сажаете?

Он даже отвернулся от меня, буркнув:

— Сажал, а больше не буду. Армянск рядом голый стоит — все мои посадки за одну неделю туда перекочевали.

— А вы?

— Сначала злился, потом решил: он их в ту же землю воткнет, через колено не ломает, ели ночью с таким риском шел.

Струились тополя над Каналом, синий цветок цикория цвел вторым, осенним слабым цветом...

— Хотите посмотреть Армянск? — спросил меня вдруг Семенович, и в этом вопросе не было логики. Но было в нем восхищение той стремительностью, с которой из ничего вырос в голой степи город химиков.

Он лежал совсем рядом. Был четырехэтажен и пока безлик, как всякий только что возникший город. Тысяча яблоневых саженцев, исчезнувших с участка Владимира Семеновича, растворилась в нем неприметно.

— Владимир Семенович, а не посадить ли вам специально школку для Армянска? И объявить хотя через газету — подождите, сам в руки отдам, даром?

Бригадир на мой вопрос не отвечал, и я вдруг подумала: интересно, что будут говорить о Семеновиче, если он действительно посадит для Армянска даровую школку? Или ничего такого говорить не станут? В самом деле, — какие чудачества, давно уже Герой

Социалистического Труда, в семьдесят четвертом Государственную премию получил, знал, определенно знал, на какую карту ставить.

Дорога

Корреспондент стоял перед ним с блокнотиком в руке, длинный, худой мальчишка, записывал тонны, километры, метры квадратные, погонные, кубы бетона. Цифры были благоприятны для старшего прораба Лукидиса В. С. Участок все лето и всю осень 1969 года выполнял норму на 130 процентов, но не в цифрах заключалось главное, что можно было сказать о дороге.

Наконец Василий Спиридонович решился, кивнул почти ворчливо в сторону синего мотоцикла с коляской:

— Дорогу посмотреть хотите?

Корреспондент спросил так, как, конечно, и должен был спросить:

— А весь день что мы делали?

— Весь день асфальт щупали. Поедем?

Старое шоссе петляло круто, было узким и все как бы олицетворяло усилие. Но Лукидис вез корреспондента вверх не для того, чтобы продемонстрировать одышку старой дороги. Лукидис уважал дороги. Всякие. Лишь бы они, как он любил говорить, бежали в ногу с первоначальным временем. То есть с тем временем, когда были построены. Кроме того, Лукидис был достаточно пожилым — под шестьдесят, чтоб так уж безоговорочно признавать: все, что старо, — плохо; все, что ново, — хорошо. Остановив мотоцикл на обочине,

подходя к обрыву, сплошь заросшему дубами в два обхвата, он кивнул коротко:

— Вот. Летит.

Трасса внизу действительно летела. Она была так же сильна, великолепна и свободна в своем порыве, как дикий хребет Сарыча, как серые, ровно вздыбленные скалы, как море, наконец. И Лукидису стало приятно, что мальчик, замерший рядом, понимает это.

Лучи солнца били сквозь облака ровными тугими пучками, выхватывали круглое ослепительное пятно, в котором плясали волны. И на дорогу внизу падало солнце, она голубела нежно, тонко. Отсюда непривычному взгляду нельзя было понять, какая она широкая. Но какая она сильная, какая современная — это было видно.

И строили дорогу по-современному: не скребли гору лопатой, отирая тяжкий пот. Взрывали ее, вгрызались десятками механизмов, воздух дрожал от натужного рева машин, от тяжелых катков, трамбующих насыпи, от буров, туго уходящих в скалу. Каждый километр обходился государству в миллион. И то, что было откуда взять этот миллион, тоже примета времени.

Тридцать два года из своих пятидесяти шести Лукидис строил дороги. Шоссе Симферополь — Алушта и потом Алушта — Ялта тоже он строил и точно может сказать, чем отличались те дороги от этой. Первую вели, основательно исправляя то, что было сделано раньше крепостными и солдатами со времен Воронцова. Вторую прокладывали, отодвинув в сторону прошлое, удивляя свободным росчерком плавных поворотов, длиной

опорной стены, полетом мостов через овраги. Но разве ж то был полет?

Василию Спиридоновичу показалось, что и предыдущие слова он произнес вслух или, во всяком случае, что его мысли и мысли корреспондента текли одним руслом.

— И разве ж то были стены? Знаете, какой длины сваи мы вбиваем на этом участке против оползней? 15 метров! Вот! А к тем сваям еще стеночку, а перед самым полотном еще сеточку, — Василий Спиридонович потер руки с видом человека, отлично насолившего своему главному врагу — оползню.

— Верхолазы у нас будут работать, — еще сказал Лукидис корреспонденту. — Целая бригада верхолазов-альпинистов, скалы зацементируют, чтоб стояли с гарантией. Где вы еще такое видели?

Но и сам Лукидис такого не видел еще, от этого предстоящее нравилось ему особенно. Много именно на этой дороге Ялта — Севастополь случалось в первый раз. Например, тоннель в теле горы-дракона, который прорыли, чтоб не взрывать, не портить красоту. Рыли метростроевцы, и это тоже придавало работам в глазах Василия Спиридоновича особую значимость.

Я попала на дорогу впервые зимой семьдесят третьего, и мне тоже все время хотелось сравнивать, тем более, что я выросла у самого шоссе, ползущего с натугой мимо Алушты и Ялты, и жизнь его была как бы частицей моего детства. Я помнила его еще столь пустынным, что мальчишки спускали по гудрону платформочки, отчаянно тарахтящие на своих маленьких колесах — шариковых подшипниках — и груженные дровами. Я помню, как гнали по пустому шоссе к вечеру

стадо: коровы притормаживали под горку, упираясь в мягкий гудрон раздвоенными копытами. Я помню, как нас катали в праздник по старому крутому шоссе, и это было подарком большого значения: нам как бы дали посмотреть пространство, охваченное дорогой и машиной.

...В этот раз по дороге я ехала не от Ялты, откуда вел свои работы прораб Лукидис, а от Севастополя, и дорога скоро натолкнула меня еще на одно воспоминание. Возле Ласпинского перевала на доске, прикрепленной к светло-серой, в рыжих подпалинах скале, я увидела бронзовый профиль автора с детства любимой книги о Тёме и Жучке.

Надпись объясняла, почему именно эта дорога увековечивала память писателя и инженера-путьца Гарина-Михайловского. Оказывается, строители, закончившие трассу Ялта — Севастополь в 1972 году, при работах пользовались изысканиями, проведенными под его руководством в самом начале века.

Итак, я ехала в автобусе и, как часто это бывает в автобусах, услышала обрывок чужого разговора.

— Воронцовский дворец — это я понимаю. Есть на что посмотреть! А что мы после себя оставим, а? — говорил молодой напористый голос с таким выражением, как будто это было доблестью — ничего не оставить. Или он считал доблестью отметить — так-таки ничего не оставляем, кроме *этих коробок?*

Дороги же он не замечал вовсе. А для меня она была архитектурным символом нашего времени, и я как раз думала о том, насколько шире пространство, предоставляемое ее мощным полетом, чем то, которое открывало старое шоссе. Хотя оно шло выше и, если

говорить о каждой смотровой площадке отдельно, было не хуже... Кроме того, как прочно в дороге сочетались понятия — полезность и красота. И еще одна немаловажная черта заключена в наших дорогах, думала я. Общедоступность. Как, впрочем, и *в коробках*.

А Воронцовский дворец — что же, он красив бесспорно, несмотря на всю эклектику; не следует, однако, забывать, что он строился для одного, а не для каждого. *Каждый* бил вручную камни для его облицовки, рыл дренажные канавы и окапывал виноградники, жил в лачуге с земляным полом и земляной крышей, болел чахоткой и умирал посреди всего южнобережного великолепия, оставляя нищих детей.

Вот такие вызвала во мне мысли та фраза, и я обиделась за время. А за Василия Спиридоновича Лукидуса обидно было вдвойне. Дорога вобрала в себя добросовестность многих людей, в том числе и прораба Лукидуса. Но дорога вобрала в себя еще и творчество многих людей, начиная от Гарина-Михайловского. И Лукидис был тоже творцом, недаром он не только, как ему было положено, щупал асфальт и проверял прочность опорных стен, но еще возил желающих высоко в горы, чтоб оттуда показать дорогу и сказать одно только слово о ней:

— Летит!

Киммерийцы

Степан Мамчич был последним, кто видел известного русского художника Константина Богаевского живым. Тот подошел и спросил, нет ли у коллеги сиены, ленинградской, из деревянных коробок. Сиены не оказалось, и Богаевский закивал длинной своей

старческой головой с белоснежным лоскутком бородки: "Ну, что ж, ну, что ж, Степан Гаврилович, придется поискать на барахолке". По дороге на феодосийскую барахолку Богаевский и погиб, случайно, нелепо.

Для Мамчича Богаевский был богом. Не только богом мастерства, но и богом-вседержителем, создавшим свою собственную страну, для холмов которой, сыпучих, выжженных солнцем, и требовалась сиена. Страна называлась Киммерией. Сейчас это имя стало расхожим, часто упоминается всуе, но Степан Мамчич, которому во время войны, во время разговора с Богаевским было 19, относился к Киммерии всерьез. Киммерия была прекрасна и требовательна к тем, кто собирался вступить на ее территорию.

Не знаю, думал ли Степа о прописке в этой стране, или просто его, как и многих, как в детстве и меня, к примеру, томило тревожное чувство, будто однажды и не во сне он почти нашел тот поворот, за которым начинались ее башни, ее овраги, ее круглые скалы и дороги в неясных пыльных колеях...

Поскольку жил Мамчич в Феодосии, бывал в Судаче и даже в горном селе со странным названием Ворон, момент почти полного узнавания скал, заливов, дорог был для него особенно настойчив. Но в этом «почти» заключалось главное. В Киммерии Богаевского не могло быть жалкой барахолки, не могло быть немецких патрульных и русских полицаев. Мог ли там жить он, Степан Мамчич? Вот в чем вопрос. И могли ли там жить партизаны, народные мстители? Его младший брат, так и не вернувшийся с войны, его отец, не шибко грамотный шофер, любивший петь украинские протяжные песни и еще любивший Советскую власть и справедливость?

Могли ли? Этот вопрос оставался открытым и много лет спустя. Киммерийцы Максимилиан Волошин, Богаевский не просто рисовали Восточный Крым — они были философами, а семья Мамчичей далеко отстояла от этого слова. И далеко от него отстоял Степан, когда до синих пупырышек нырял за мидиями в Феодосийской бухте, когда просил рыбаков взять его с собой в море. Конечно — далеко. Он говорил «риба», окончил всего-навсего Симферопольское художественное училище.

— Степа — нет, — говорил кое-кто из его товарищей, — Степе, конечно, очень бы хотелось доказать преемственность, но Степа — весь от этих берегов. А до Киммерии плыть и плыть...

Эти берега, между тем, лежали перед нами: над ними возвышалась башня маяка, обыкновенная, круглая, старая, даже чуть обшарпанная, и обыкновенные коровы паслись у ее подножия на рыжей, уже почти дотла сгоревшей траве. К башне вели тропинки... Сама картина называлась "Тропинки детства", и легко можно было бы представить обыкновенного парнишку с удочками в руке, поднимавшегося к башне... Зачем, однако, поднимается он к маяку, если собрался ловить рыбу? Ах, дело в том, что ему хочется сначала посмотреть на мир сверху, с этой точки, которая позволяет измерить, как велико море и мал ты. А еще, глядя с той точки, можно понять, как велико мужество людей, расстилающих сети на берегу, покрытом после бури морской травой, и подумать: если очень стараться, станешь такими, как они.

Вот тут-то, по моим представлениям, мальчик на тропинке у маяка оглядывает свои покрытые красноватым загаром, не сильные руки, свои

поддернутые спереди брюки на ременном учкуре и вздыхает: те внизу чем-то неуловимым, не только силой и ловкостью, лучше его...

— Как знаменательно, — говорю я своему собеседнику. — У Мамчича так и не оказалось ни одного автопортрета.

— У Степы было трудное для живописи лицо.

— Обычное? На Казантипе он сходил за своего?

Мой собеседник не слышит вызова. Он считает, что художник и наружностью должен быть отличен. Вот, например, тот же Богаевский, когда он шел по Феодосии...

Я не случайно упомянула Казантип. Это было место, где Степана Мамчича знали все, то есть все рыбаки, а также те, кто занимался хлебом и виноградом. И первая картина, от которой еще неясно повеяло Киммерией, на мой взгляд, тоже была написана здесь — "Стрижи и крыши". Стрижи летали над розовой черепицей, все выглядело обычно, и все же... И все же у тех, кто останавливался перед этой картиной, а также перед красноватыми на закате заливчиками "Изрезанного берега", или перед въездом в "Город у моря", могло дрогнуть сердце... Картины не просто отображали или изображали, они вели куда-то. Очевидно, туда, куда ты хотел устремиться в самых смелых своих мечтах, в Гель-Гью, например, или в Балаклавскую бухту, что, правда, не одно и то же...

В Киммерии Мамчича росли "Большие деревья", которые были похожи на больших, не согласных на компромисс людей. Ветер, тоже большой, пытался диктовать им свое... И если вы стояли рядом, он гудел и у

вас в ушах, и вы невольно расправляли плечи, сопротивляясь ему. И еще были в Киммерии "Старые поселения" и даже "Мыс Ильич", имеющий на картах совершенно точный адрес, как впрочем, и "Белые скалы", — в долине Бельбека.

...Так вот, когда Богаевский шел по Феодосии, тощенький, в своей полотняной блузе, легонькой, как перышко, корректный, сдержанно пылающий интеллигентными, умными глазами, каждый видел — идет Мастер и Мыслитель. Но Богаевский мог идти узанным не только по Феодосии. На любой из тропинок, на любой улице городов Степана Мамчича он был бы своим, необходимым человеком. Я даже угадала в "Городе у моря" дом под черепичной крышей, где он живет и откуда спускается к воде в смугло-розовый предвечерний час, когда особенно хорошо думается после работы.

В этот час маленький ослик прядает ушами под корявым деревом у виадука, в этот час воздух пахнет «юшкой» из барабульки, тушеными помидорами и «синенькими». И рыбаки в этот час моют руки, сбрасывают пропахшие рыбой рубахи и садятся вечерять. Потом они тоже выйдут к городским причалам и некоторые из них перебросятся парой слов с художником, как с понятным человеком, хотя он Мастер и Мыслитель... Так бывало с Богаевским в Феодосии, очевидно, так случается в Киммерии. Той, которую увидел Мамчич.

Даже больше того, изобретая ее, складывая из примет, я думаю, Мамчич все время примеривал страну к своему предшественнику. Соответствует ли она его требованиям к высоте человеческого духа? Во всяком

случае, мне кажется, что его рыбакам, несущим красные тяжелые сети по песку или молча глядящим на беду, принесенную трамонтаной, северным ветром, нужен не один только хороший улов. Не одна пища земная, не один хлеб насущный.

В их устойчивости, в их монументальности я вижу готовность отстаивать не сытость, а духовность, во всяком случае, ту справедливость, ради которой на войне погиб младший Мамчич, а старший, вечно болеющий белобрысый мальчишка с бледным, не сразу загорающим лицом, пошел в художники...

Кстати о лице. Лицо у Степана Мамчича было просто прекрасным, хотя не ярким, без бросающихся в глаза примет и красок, и тем самым трудным для живописца. Впрочем, сам бы он с этой задачей справился — вот только вопрос, считал ли он себя Мастером и Мыслителем, который должен был был глянуть на нас с полотна? Или все еще числил себя в учениках?

Но заметили ли вы, что многого достигают чаще всего как раз долго числящие себя в учениках? Пелена самоуверенности не застилает им глаза, и, даже создав целую страну, они продолжают смотреть на нас так, будто главный ответ им неизвестен. Будто они надеются, что мы им подскажем. Но если приглядеться внимательнее, увидишь: они только хотят что-то прибавить к главному ответу, что-то необходимое для тебя, для меня. И еще увидишь: у них можно отнять богатство, здоровье, жизнь, но их нельзя заставить изменить главному ответу.

Незадолго до смерти Степан Мамчич написал страшную картину. Первоначально она называлась простенько: "Тополя и омелы". Позднее — «Война»,

«Судьба». Таких мертвых обглоданных деревьев я не видела ни на одной из киммерийских дорог. И такого пожара, какой стоит стеной за их вздыбленными руками. И, тем не менее, все случилось здесь же, на тех же широтах, где сопротивлялись большие деревья, цвели каштаны и ловились огромные, как колеса, камбалы. На тех же широтах, где, предупреждая об опасности, бил киммерийский колокол и должен был зажечься маяк...

Картина эта — крик: "Люди, будьте бдительны!" И дальше: "Вот что остается, когда побеждает зло". От чего — остается? От деревьев? От страны? Но ведь и от внутреннего мира тоже? Недаром же он назван миром, и его можно вытоптать, выжечь, если ты изменишь главному ответу.

Но зло не должно победить. И в противовес «Тополям» уже очень больной художник нарисовал "Деревню на острове". Вся терпкая радость крымского лета, вся надежда, которой живет человек, сосредоточилась в ней солнечными денежками, до дна наполнившими маленькую бухту у Казантипа.

Да, именно у Казантипа. Его легко узнать по кудрявым выступам мшанкового известняка, по очертаниям бухт, по степному простору над морем, а также по домам и беленому каменному забору. Только Казантип всего-навсего мыс, не остров. Но ведь художник рисовал не портрет места, а нечто совсем другое...

Если я долго смотрю на "Деревню на острове", так же, как когда-то на тропинках детства, я начинаю видеть на ее дорогах людей, чьи судьбы мне хорошо известны и не безразличны. Я даже слышу их голоса и стук моторов тех сейнеров, что только на миг застыли у подножия

скалы... О чем говорят люди: о хамсе, о близких дождях, о лесах, которые так удачно посадил когда-то на Казантипе хромой Парельский, и о том, что есть справедливость. Все, как в натуре, и совсем не так. Ибо художник, Мастер и Мыслитель, нарисовал не только пейзаж, но и высоту духа человеческого, если только ее можно нарисовать.

Сухой пылью, разомлевшими листьями лоха и предвечерней тишиной пахнет лето в "Деревне на острове". И еще — дымком низких летних печек. А во дворе, выложив на стол натруженные руки, сидят те, кому обеспечено бессмертие: художник с мировым именем — Константин Богаевский, солдат Петр Мамчич, сложивший веселую двадцатилетнюю голову в боях за Советскую Родину, секретарь райкома, отстегнувший протез и вольно облокотившийся на широкую столешницу, а также Степан Мамчич и еще кто-то из рыбаков. Отсюда я не могу разглядеть лица.

Сегодня и оглядываясь

Показатели

Если бы приехал человек, которого вы в молодости, кажется, любили, а потом двадцать с лишним лет не видели, если бы он приехал и сказал: "У меня командировка. Давай вместе съездим в Раздольненский район", что бы вы ответили ему?

Я ответила: «Давай», и мы поехали. Не вдвоем, а несколько человек нас было пишущих и довольных, что на какое-то время удалось оторваться от бумаги.

Ровно двадцать пять лет назад я стала учительницей Первомайской средней школы, а он, Виталий, приехал в соседний, такой же глухой Раздольненский район. Хотя нет, в Раздольном оказалось еще беднее, неприятнее: солончаковые земли, разор. Даже такого Дома культуры, как в Первомайском, не было, только саманные присевшие мазанки. И вот деталь — один квартирный телефон на весь район стоял тогда в Раздольном: у первого секретаря райкома.

Этот телефон почему-то вспомнился, когда наш «рафик» остановился против гостиницы с несколько игривым названием: "Брызги моря". Рядом красовался ресторан "Белый лебедь". Но нам и то и другое было ни к чему: нас пригласили в гости в Портовое.

Тут же перед "Белым лебедем", пока Леня, наш шофер, заливал радиатор, полюбопытствовали мы, а, сколько телефонов в Раздольном сейчас.

— За тысячу номеров перевалило, да еще у каждого хозяйства своя АТС, — ответил нам кудрявый и любезный

представитель местного начальства слегка обиженно. Не этим, мол, надо мерять рост.

А чем?

А тем, что до войны, например, рекордным считался урожай в 13 центнеров зерновых с гектара, даже медалью за такое награждали. Сейчас получают по 25 и 36.

— Тридцать шесть — на поливных землях?

Нет, представьте себе, на богаре. А риса по 56. Район дает одну четвертую риса области, одну восьмую — Украины... Риса без канала, само собой, здесь не видели бы, а все остальное было бы как у людей. Культура земледелия далеко шагнула. Была когда-то мелкая вспашка, к примеру, на 19 сантиметров, а кто ее сегодня помнит?

Это говорилось уже, когда мы колесили по виноградникам совхоза «Чернышевский», куда нас повезли, чтоб показать эту самую культуру земледелия. Кроме того, директор совхоза хотел познакомить нас с бригадиром, давшим самые высокие показатели. Резкий левый поворот, еще левый поворот, еще, еще, и мы опять выскакиваем к шлагбауму возле проходной:

— Федченко не проезжал?

— Не проезжал, нет! — кричит в ответ сторожика, привставая.

— А на чем он?

— На «жигуленке» своем.

— Резину, не знаешь, не менял?

Получив отрицательный ответ насчет резины, директор смотрит на дорогу, на пыль, низко свесившись из дверцы «рафика» и, наконец, решает:

— Будем по следу искать!

Мы ищем Федченко по следу стертых шин, потешаясь над тем, что в степи, ровной, как стол, потеряли человека на машине.

Она-то ровна-ровна, эта степь, но вся в зарослях виноградника, выше человеческого роста... Черные гроздья тербаша вкусны, а для меня в них еще особая сладость.

Двадцать пять лет назад мы шли по этой степи, и она была гола, в бурой траве, в кустах курая, который срывались под осенним ветром и убегали, как живые кто знает куда, к морю, наверное. К тому самому Портовому, где мы еще будем в гостях. Степь была гола, а мы молоды, и так хотелось счастья...

Двадцать пять лет назад меня не было в этой степи, была худая, голенастая девчонка, твердо знавшая, что если она чего-нибудь не скажет своим ученикам, то никто им уже этого не скажет ни о Пушкине, ни о Фадееве, ни о ком-нибудь другом.

— Ах, черт! — кричит наш Леня, тормозя. — Проскочил!

— Вон люди работают, спросим.

— Не видели Федченко?

— Тут был, насчет Остапенко говорил: у нее с гектара по 320 вышло.

— Опять наш рекорд! — крутит головой местное начальство. — Третий год подряд такие цифры. Может

быть, на этот раз сразу в области поверят. А то толкаешься по кабинетам с бумажками на награждения, видишь, людям неудобно прямо тебе в глаза сказать, что липу привез...

— А план по району, между прочим, 70 центнеров с гектара, — скромненько добавляет директор, просто справку дает, упаси бог, не торопится, не подталкивает нас к величию момента.

Федченко Иван Алексеевич оказался длинным, носатым парнем. Очень подходило к нему это определение — *парень*, хотя был он совсем не молод, взрослые дети, солидное положение, награды, то-се...

История его складывалась обычно: приехал мальчишкой с Кубани в тот самый момент, когда дядья его, приехавшие раньше, окончательно выяснили: Крым — не тот, в этом Крыму ничего расти не может: соль, ветры.

Дядья уехали, он, сирота, остался.

— Вы пастухом не работали? — слышу я вдруг осевший голос Виталия.

— А как же? Было.

— В самодеятельности участвовали? Теркина ставили...

— Было. И сейчас участвую.

— Я вас сразу узнал... Я в пятидесятые тоже тут начинал. И она вас видела, он ведет рукою в мою сторону, — вот на этом месте вы скот пасли.

— А я не помню.

— Как же не помнишь? Лебедей мы тогда вспугнули в заливе... И как они кричали, не помнишь?

Ничего я не помню. Да и кому интересно: помнишь, не помнишь? Это уже не в той, в другой жизни: наши журналистские блокнотики на коленях и сдержанно-торопливый, проглатывающий улыбку голос директора: в 1970 году серебряная медаль выставки за виноград! В 1971 году — золотая! В 1972 году — орден Трудового Красного Знамени получил, да и не один он, так говорю, Иван Алексеевич?

...А вечером мы сидим за столом в Портовом, и Виталий перебирает: Печенкины никуда не уехали, здесь живут? А Домбровские? Коваль? Он тянется через стол к улыбочивому человеку в рубашке защитного цвета:

— Так мне ваше лицо знакомо...

Лица плывут, слегка подернутые голубым туманом воспоминаний, кажутся почти родными. Сухое вино из того самого тербаша готовно качается в стаканах, отражая свет разлапистой люстры...

— Так знакомо... А ты не помнишь?

Я не помню такого лица, я смотрю на запястье, там, ниже ремешка часов, другой ремешок — голубая вытатуированная полоска и к ней циферблат даже со стрелками.

— Скажите, не Чечин ваша фамилия? У меня ученик был...

Но его фамилия не Чечин.

— И рядовые рисоводы есть у нас с высшим образованием, — говорит между тем мой сосед. — Короленко Александр, например.

Голоса толкутся над богато заставленным столом. Единственные, ни с чем не сравнимые в моей жизни голоса людей, которые сделали свое дело и которым хочется похвастаться и трудностями и успехами... А хвастаться они умеют в основном *показателями*.

— Да что ты — тонны, тонны! Ты вспомни: пятнадцать лет назад один автобус до райцентра добирался, и то по погоде. А сейчас Раздольное принимает 6 самолетных рейсов в день, 25 автобусных. Разница?

— Разница. Так и кругом нас жизнь не стоит, может, годи хвастаться?

— Чего там — годи? Люди из наших мест, людям интересно.

Конечно, бывают другие застолья. Там все те же вечные хлопцы поят все тех же вечных коней, опустивших удила к ночной темной воде. Там говорят больше о премиях, о домашнем. И я те застолья тоже люблю, но нынешнее — в нем особая цена. Не для меня одной особая, — для тех, кто называет цифры, тоже. Эти цифры хоть изредка надо называть вслух не с трибуны, а вот так, над рюмкой, чужому человеку, запишет он их или нет, напечатает на весь мир или оставит себе...

— Специализация — на нее курс! Крупные фермы, сплошь механизированные! Вот вы завтра в «Славном» будете — увидите: наше хозяйство скромное, а у них чистая прибыль два миллиона!

— А лебедей меньше стало: вода пресная сбросовая в залив пошла, им не подходит...

Как трубили тогда лебеди, улетаая! Душа рвалась за ними от плоской земли, от саманных хат, но куда ей было

даться? Кто за меня объяснил бы Чечину, что это значит: "Татьяна, русская душой" и многое другое? Чечину, у которого нарисованные тушью на запястье часы вечно показывали без четверти двенадцать?

...Звезды в своем раннем осеннем блеске казались неестественно яркими. Ковш Большой Медведицы стоял прямо над Каркинитским заливом, и темная блистающая мгла словно бы шевелилась, перемещалась слоями там, в высоте, возле Млечного пути, но внизу было тихо и неподвижно. Внизу было бы совсем тихо, если бы не тревожные вскрики больших птиц, шорох жестких крыльев. Я долго прислушивалась, потом поняла: это всего-навсего гуси на сплошь механизированной ферме.

А утром я попросила подвезти меня к тому самому заливу с низкими, багряными от солероса берегами, где когда-то мы вспугнули лебедей. Через столько лет залив я не сумела отличить среди других: все они были похожи друг на друга, таинственны в своем повторении. И таинственна была такая простая земля Бакальской косы над плоским морем...

Впрочем, я не долго рассматривала ее, раздался Лешин вопиющий глас:

— Вон там, смотрите, не лебедь? По косе проскочим, а?

Проскочить, выяснить, не лебедь ли, нам не удалось: «рафик» забуксовал, выбрасывая из-под колес песок пополам с водой.

— Сели. Все. Сейчас по брюхо будет.

Сначала мы носили камни вдвоем, потом вышли на берег дядьки, ловившие бычков в лимане прямо так — руками в ямах, спросили:

— За трактором сбегать?

Леша решил подождать, дядьки тоже принялись искать плоские голыши под колеса. Но никто особенно не старался. Леша сообщил нам свой расчет: хватятся, пришлют хотя бы «козлика» узнать, куда мы провалились.

"Козлик" явился через полчаса, стали привязывать трос, определять, куда надежнее нас вытянуть, шофер «козлика» вдруг вспомнил:

— Подождите, по радиации сообщу диспетчеру.

Радиа была у «козлика», как в городском такси или "скорой помощи". По радиации он передал, что мы явимся через полчаса. Через полчаса мы только вылезли из прорвы, не спеша двинулись, петляя между озерами, представляя, как нас ждут.

Меня промедление не огорчало, я думала о том, как меняет жизнь показатели и как удобна радиосвязь в нынешнем большом хозяйстве.

Сад Ярославского

Да, это место называется садом Ярославского. Хотя сада давно уже нет, есть кладбище, а сам Ярославский лежит посреди кладбища под бетонной плитой, на которую слетели бетонные же шершавые голубки. Голубки эти совершенно не гармонируют со стелами и надгробиями большого воинского кладбища, которое

организовал старик Ярославский весной 1944 года, когда наши освободили Керчь.

"Организовать кладбище" — как-то дико звучит эта фраза. Что угодно можно организовать: клуб, детскую площадку, кружок планеристов... А тут под редкой сенью одичавших абрикосовых деревьев одинаковые, как бы чисто застеленные плиты с изголовьями, все бело и светло от известки, от цветущих деревьев, от молодой травы. Спят дети.

Громко над ними сейчас уже не рыдают, деловито убирают могилы, раскладывают снедь: у кого жареный барашек, у кого длинные, как свечи, палочки чего-то сладкого, привезенного из Грузии. А на одной могиле, кроме сладостей и вина, чтоб было чем, уйдя с земли, скрасить долгий путь, — голубенькая наивная расческа, стопка полотенец, платки. Женщина, вся в черном, причитает на своем языке над могилой, сыплет ее зерном. Чего б, чего б она еще не привезла в Керчь из родного села, если бы это хоть на минуту помогло тому, кто в земле.

— Сын?

— Брат, — и протягивает мне фотографию вместе с тугой свечечкой грузинского поминального лакомства. — Один брат. Больше никого нет.

Слезы льются из светлых глаз, женщина вытирает их черным, длинным и прозрачным покрывалом и тем же покрывалом касается лица широкобрового мальчика на фотографии, как будто мальчик жив и только что умылся.

Выложив все припасы на могилу, женщина снова сыплет зерно под клюв бетонных голубков.

В сорок четвертом село называлось Баксы, и через него проходила линия фронта. Немцы всех выгнали из села; вместе со всеми, прихватив кое-что из пожитков, ушла обыкновенная, многодетная семья Ярославских. Одна из тех семей, что в трудную минуту подбадривает себя поговоркой "что людям, то и нам". Трудно? Страшно? Но ведь и всем так. Всенародное горе это называется — война. Так что не плачь, мать, не жалуйся, нам все же легче, чем другим: ни одной похоронки пока на сынов не получили.

Когда Ярославские вернулись в родное село, дома не было, разбило его артиллерийским снарядом, и не одним. И огорода тоже, в сущности, не было: здесь в осыпавшемся окопе схоронили всех, подобранных поблизости. Похоронили наспех: высывались плечи, ноги, согнутые в колене, будто мертвые старались выбраться из-под желтой, сухой глины.

Сначала вся семья: старик, старуха, две дочки — после работы подсыпали могильные холмики просто потому, что иначе невозможно было жить рядом. Тогда, наверное, главным чувством было: и так трудно, а стало еще трудней. Без огорода, с жутью, от какой нельзя отгородиться лишним ведром или мешком земли.

Ведра, ведра, мешки, тачки... А девчонкам хотелось на танцы. Девчонки, дочери, были молоды, набоялись, наголодались, намерзлись — хватит. То под обстрелом, то дрожи, что тебя схватят, раскачают за ноги, за руки, вкинут в кузов грузовика, как неживую вещь: увезут в Германию батрачкой. Девчонкам хотелось на танцы: пришли наши, светило солнце, в деревне стояла какая-то часть. Танцевали под гармошку в юбках из пятнистых,

шуршащих плащпалаток, шаркали скроенными из скатов подошвами. Танцевали — живым хотелось жить.

К тому времени на развалинах дома Ярославские построили себе что-то вроде временки. Им, между прочим, советовали: найдите себе другое место: колхоз земли нарежет. Но Мефодий Павлович сказал: "Куда двигаться? Привыкли. И своих ребят не бросим". К тем, которых похоронили в апреле сорок четвертого, прибавились другие. Начнет кто-нибудь глину брать в окопе — раз, другой копнет, бежит к Ярославскому:

— Дядя Мефодий, идите, там еще один ваш. Будете брать?

— А как же. Только ты подмогни.

Потом он ездил в Москву "хлопотать насчет кладбища". Это его односельчане надоумили, а то покупать известь за свои, проволоку для ограды — за свои. А денег, чтоб обиходить все как положено: нарядно, достойно — не хватало.

В конце пятидесятых приехал человек из Москвы, ходил, смотрел: "Мы вот что решили: объединить братские могилы. Перенесем прах ваших ребят к тем, которые возле школы". — "Не дам. Пусть все будут у меня. Я за ними лучше присмотрю. А без них я никуда..."

Меняли деревянные пирамидки, железные таблички на солидные, достойные надгробья: "Рядовой Скапенко Н. Г. погиб 11/I-44 г.", "Рядовой Голенко А. Н. погиб 11/I-44 года", "Рядовой Дытынко М. Н. погиб 12/I-44 года".

У входа на кладбище встал солдат с поднятым в небо автоматом. На постаменте перечисление: "Рядовой Сазонов Иван, погиб 3/III-44 года", "Капитан Степанян

Грант Тигранович", "Рядовой Артюх Михаил Данилович", "Герой Советского Союза Мусаев Саадул Исаевич, рождения 1921 года"... Всех мне не перечесать, и в списке на мраморной доске не все перечислены, всех здесь захоронено около пяти тысяч, а посреди кладбища отдельно старик, который как бы усыновил их, мертвых, не дошедших до большой Победы, одержавших только свою, местного значения, освободивших город Керчь.

Старик был награжден медалью "За доблестный труд". Я не знаю больше ни одного человека, награжденного за подобный труд. Но, наверное, они еще есть, такие люди. Движет ими то ли долг, то ли жалость, то ли ответственность за чужих детей, оказавшихся в беде на твоих глазах, а вернее, все вместе свойственно народному характеру.

...Мы уезжали, оглядываясь на высокие деревья, на дом, калитка которого открывается прямо на кладбище, как в огород. У калитки стояла женщина, дочь Ярославского Прасковья Мефодиевна, разговаривала с приезжими. В новой школе звенели высокие и неумелые детские голоса: шел концерт для гостей. И та женщина, рассыпавшая зерно перед бетонными голубками, тоже сидела, слушала: "Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги да степной бурьян..." И она представляла, как идет вот здесь по каменистой, заросшей кураем долинке мальчик с широкими бровями, которому можно было жить еще тридцать лет и еще столько...

А вечером через весь город потянулась как бы огненная река, и люди стояли на тротуарах тесно один к одному, глядя на тех, кто с факелами в руках поднимался на керченскую гору Митридат. Они были молоды, им предстояло жить те тридцать лет и еще столько, которые

не дожил рядовой Дытынко и Герой Советского Союза Мусаев.

Молодые поднимались на гору, а рядом со мною становились на цыпочки отцы и матери, стараясь что-то рассмотреть, и я искала кого-то готовыми уронить близкую слезу глазами. И вдруг мне пришло в голову: а ведь те, кто сегодня несет огонь на Митридат, — не в дети уже, а во внуки годятся тем, кто лежит в саду Ярославского...

Огненная река, между тем, текла вверх, по знаменитой лестнице, по которой каждый год в ночь на девятое мая поднимаются керченские школьники. Внизу начали рваться ракеты, и под их безопасным и торжествующим светом город лежал какое-то время как под пологом. Ночь была прекрасна со своим сырым запахом только что отросшей травы, с тем еле уловимым позвякиванием, будто кузнечик, которого у нас зовут еще коник, уронил свои удила и плетется между стеблями, не разбирая дороги...

Ночь была просторна и слишком хороша для меня: мне не к чему было применить всю ее красоту, не с кем ее разделить. Не на этом странном кладбище, так грустно названном садом, так на другом спал неизвестный мальчик рождения 1920 года, которого я никогда не встретила...

Но тем, кто спускался сейчас с Митридата, кто целовался и клялся в любви и верности под шевелящейся тенью акаций, ничто в этой ночи, наверное, не казалось лишним.

Были мальчиками

...Они были именно не мальчишками, а мальчиками, только накануне ради выпускных вечером своих тщательно подстриженными в городских парикмахерских под «бокс», под «полубокс», под «польку», с чубчиком, после чего у них нежно белела кожа за ушами, и сами уши казались несколько оттопыренными.

А на следующий день после выпуска грянула война. Все лето и ранней осенью 1941 года они собирались группками и поодиночке осаждали военкомат: возьмите на фронт! А их не брали, и на завод какой-нибудь они тоже не могли устроиться: заводы свертывались, враг стоял под Перекопом.

Самыми привычными словами при встрече были:

— У тебя уже есть?.. У меня еще нет.

Имелась в виду повестка из военкомата. Отцам повестки присылались, им — нет. А что дальше? В конце концов военком их собрал — 350 мальчиков Симферополя, Евпатории, Керчи, сказал что-то насчет задачи, дал не то в провожатые, не то в наставники, не то в командиры лейтенанта, и они пошли... Они шли на Майкоп, имея направление в Майкопское военно-воздушное училище, шли, рассуждая о себе, как о будущих курсантах, а потом — летчиках.

Но Майкоп уже эвакуировался, фашисты наступали на пятки, предстоял длинный путь до Нальчика. Теперь они шли пешком и только ночами. А лейтенант, имени которого сегодня никто не помнит, ехал на белой лошади. Впрочем, фамилию помнят — Богач. Низкорослый, обыкновенный, приданный им на все время

пути, лейтенант поднимал падающих от усталости, сажал на свою тоже изнемогающую конячку, уговаривал хоть ползком, а продвигаться вперед.

Сейчас, когда они сидят и вспоминают лейтенанта, на расстоянии тридцати с лишним лет, он кажется им очень добрым. Тогда в основном бросалась в глаза строгость. Хотя они сами были строги к себе: ни один не отстал, не остался в станице или на хуторе переждать войну.

...Сидят, вспоминают, пускают по кругу фотографии тех лет. Как ни странно, фотографий сохранилось не так уж мало; вот и у меня в руках пожелтевший листок величиной с ладошку: буденовки, ватники, семь лиц, семь судеб. Демин Виктор — убит, Козерман Миша — убит, Фогель Борись — убит, Свеновский Николай — отставник, Самасарьян Генрих — живет в Перми, Лозьян Цолах — живет в Сочи... А седьмой — это и есть тот, кто, став профессиональным фотографом, кроме всего прочего, еще размножает эти снимки и посылает оставшимся в живых и родителям тех, кто погиб. Дмитрий Яковлевич живет в Симферополе и, оказалось, так же, как многих других из них, я его помню по городу еще с моей студенческой поры.

Когда состоялась встреча с ними в клубе писателей, самым странным для меня показалось как раз в первый момент то, что многих из них я знаю уже очень давно. Например, с учителем русского языка и литературы Борисом Писаревским я училась в институте на одном курсе. Он был бывший фронтовик, но тогда так и полагалась всем быть бывшими фронтовиками. Может быть, я и тогда от него или от кого-нибудь другого слышала, что он был десантником на Малой земле. Но

тогда это как-то прошло мимо души: все в недавнем прошлом были десантниками или умирали как-то иначе. Сегодня я слушаю очень неторопливый рассказ о Малой земле и о батарее, стрелявшей с Тамани по Эльтигену, гораздо внимательнее, чем слушала бы тридцать лет назад. Сегодня я очень просто связываю немолодого учителя с нелегкой судьбой и мальчика, бредущего из Майкопа в Нальчик, где его, наконец, научат воевать. Мальчик не знает еще, что в Симферополе уничтожена вся его семья. Он знает только, что не имеет права отстать от своих, и из последних сил тридцатую ночь идет, не поставленный на довольствие, по мерзлым колеям в негнущихся английских ботинках, в подбитой ветром шинели. Сегодня мне жаль мальчика, который отправляется в десант на одном из восьми прорвавшихся к Малой земле катеров, а двенадцать других в тот раз затонули, и он легко мог оказаться на каждом из них. Потом на Малой земле на все месяцы десанта он также легко мог оказаться в любой сотне убитых сразу же или через неделю. Но не оказался, и сейчас как бы даже с недоумением спрашивает: "Что такое Малая земля? Как вам рассказать? Ну, вот такая подробность: я сам видел, как человек седеет. Понимаете, буквально на глазах седеет". И еще одна подробность о Малой земле: от всех прочих *земель* она отличалась тем, что фашисты израсходовали на каждого зацепившегося за нее 1240 килограммов металла.

Так рассказывает учитель Писаревский, а Виктор Иванович Соловьев — совсем по-другому. То ли просто веселей у него получается, то ли дело в том, что с иронией вспоминает он себя, семнадцатилетнего, кудрявого, худого, обучавшегося в Нальчике нехитрой

мудрости военно-пехотного училища. А дальше в жизни Соловьев пошло такое — на пять книг хватит.

Под Воронежем попал в окружение и выходил из него четыре месяца. А до окружения воевать ему пришлось недолго, и все бы закончилось на том, что выкопал бы себе Витя могилу в глинистой земле под дулом немецкого автомата, да характер не позволил — удрал из-под расстрела. Вот тогда, очевидно, узнал он цену жизни, и все последующие тридцать лет, пока усовершенствовался в своей специальности, цена эта в его глазах повышалась, безразлично, шла ли речь о жизни своей или чужой...

Дело в том, что после войны Соловьев стал хирургом, профессором, заведующим кафедрой Крымского медицинского института. В хирурги его толкнуло довольно неожиданное переплетение в характере доброты и решимости, что заставляло оперировать людей, по отношению к которым медицина, как принято говорить, считает себя бессильной. Первым, например, в Крыму Соловьев взялся за операцию на сердце.

Виктор Соловьев выбрался из окружения, воевал, ходил в разведку, в конце концов, дошел со своей пушкой до Праги... Остывающий от войны мир просто обязан был повернуться к нему своей самой интересной, самой нарядной стороной. Курсант пехотного училища еще не знал, что за это надо платить потом, обливающим спину во время операции так, будто он грузчик, а не сшивающий тонкие, едва различимые сосуды; страхом за чужую жизнь, собственными морщинами, одышкой...

...Может быть, потому что заговорили об операциях, кто-то спросил:

— Генку Пушкарева помните?

Пушкарев умер на руках у Вовки Хаселева, он был ранен в легкие, и последними его словами были:

— Вовка, нагнись, заденет! — летел снаряд, и под его визг, умирая, Генка успел подумать о друге. Хаселев жив, начальник строительного участка. Коля Свеновский — демобилизовался, подполковник. Дорохов Андрей служит, в больших чинах. А Вова Леонов недавно умер, был сердечником. Работал Леонов домоуправом в Симферополе. Леонова все любили, доброе, хорошее его лицо смотрит с фотографии на товарищей, все устремленное навстречу жизни, навстречу ветру, сбивающему последний цвет с круглых лип, которые он сажал на Пушкинской...

Дмитрий Яковлевич протягивает нам еще фотографии и еще.

Вот Лихциев Вова, он тоже участвовал в десанте на Малую землю, потом попал в плен. Немцы расстреляли его в Симферополе. А это Жора Котляревский, он знал наизусть всего Маяковского, мог читать стихи днем и ночью, за что получил кличку «Патефон». А это Киселев — Киселев Борис Иванович, можно узнать?

Узнать, наверное, нельзя. Хотя Киселев сидел тут же и знаком мне был много лет. Тихий, невысокого роста, с простодушным и озабоченным выражением лица, он меньше всего походил на человека, с которым связывается понятие — война.

А все-таки связывается.

Еще до войны, участь в той школе, которая теперь носит имя Веры Белик, он занимался в авиаклубе, приезжал несколько раз в Симферополь, узнавал в

военкомате, как поступить в летное училище. На него смотрели снисходительно: ботинки Киселев носил 36-й размер, и все остальное соответственно.

Воевать он начал под Луганском комвзвода, потом комроты, подчиненные были у него четырнадцатого года рождения и обращались к нему иногда так: "Сынок!" Кончил войну он тоже в Праге, а в Крыму так и не побывал, хотя самой большой мечтой каждого из них было участвовать в боях за Крым. В Крыму в Керченских каменоломнях сражался его отец, Киселев-старший.

Странная категория — время. Минуту, секунду, год нельзя ощутить, поднять на руке, как грамм или килограмм. Время нельзя пройти, как километр, и снова вернуться. Оно просачивается между пальцев, оно уходит, его нет... Во всяком случае того времени, что было отмеряно жестяным стуком дешевых будильников, бесшумным ходом «полетов», боем на Спасской башне. Но прежде чем раствориться, уйти *туда*, время отметило нас нашими морщинами, нашей уверенностью, нашей грустью и умением справляться с обстоятельствами.

И вот мы стараемся задержать время вопросом: а помнишь? И еще тем, что перебираем фотографии, размноженные Димой Гершковичем, который давно уже не Дима, а Дмитрий Яковлевич... А время все равно идет, и детям нашим и внукам так и не придется понять до конца то, которое отсчитывалось кирпичиком «победы» на узких запястьях лейтенантов, мальчиков рождения двадцать второго, двадцать третьего, двадцать четвертого...

Встречи с разведчицей

Первая встреча случилась зимой пятьдесят третьего в лесном селе Перевальном. Шла по селу юная женщина в пуховом платке, на котором таяли снежинки. Вся она была в блеске этих снежинок, в блеске глаз, в блеске достатка, ухоженности, даже беззаботности, а рядом быстренько переваливались с мамой две маленькие девочки.

— Валя Козина, известная партизанская разведчица. Воевала в отряде своего мужа. Ну, о нем ты знаешь, — сказали мне.

А я думала, он выбрал ее уже потом за милую, кудрявую красоту, за тишину, которая окутывала ее, как облачком, вроде того пухового платка... Оказывается, свою нынешнюю уютную жизнь с долгим теплом хорошо протопленной печки, с поездками в недалекий город на председательской «Победе», с утренней радостью от детских голосов она сама себе завоевала.

Сама себе завоевала, но жила ею недолго. Однажды муж сказал:

— В Краснопещерном заведующего фермой опять менять будем.

— Пьет?

— И тянет. А начальство с меня стружку снимать приспособилось: на каждом собрании — почему свиньи в колхозе, как те борзые, спины острее ножа?

Она его слушала внимательно, готовясь посочувствовать, дать совет. Но он спросил:

— Валя, ты бы не помогла мне? Не пошла бы ты на ту ферму?

И она с внезапной ясностью поняла, как невозможно ему дальше краснеть, он был партизан, командир, человек, побеждавший даже смерть...

— Пойду, — сказала Валя. — Только ты теперь от меня чистой рубашки каждый день не жди.

— Договорились.

Договор подразумевался краткосрочный. Председатель колхоза знал, какую тяжесть взваливает на жену. Победить на ферме в Краснопещерном можно было только самоотверженностью. Да еще сталью характера. Он эту сталь в своей нежной, немногословной, кудрявой жене видел, чувствовал.

Или помнил?..

... Шли партизаны ночью на операцию. В условленном месте к ним присоединился еще отряд. Перейдя шоссе, тянулись над ним по вершинам холмов, по узенькой скользкой кромке, за которой в иных местах — пропасти.

"Артиллерию угробим" — так постепенно стали думать многие. Что-то давно не нравилось в этом походе тем, кто присоединился к первоначальному отряду. И тут по цепочке стали передавать приказ: "Проводника к командиру!"

Весь фокус заключается в том, чтоб описать, как испугался командир и остальные, увидев вместо надежного бородатого дядьки в постолах, девочку с круглым лицом и косичками. Которая, однако, в срок и как нужно вывела их в тот раз к Заречному.

...Наладив работу в Краснопещерном, с фермы Валя не ушла. Больше того, потом председатель подбросил ей и телят, и весь крупный рогатый скот. И животноводство в колхозе явно пошло в гору.

...А еще эпизод, о котором всегда помнил Козин, был вот какой. На этот раз Валя замешкалась в хвосте отряда, встретила с сестрой, разговаривали о семейном: как и где скрываются от полицаев старики, хорошо ли Вале живется в замужестве. Вдруг впереди перестрелка, и из-за деревьев крик: "Командира убили!"

Тут случилась мгновенная заминка, наверное, и паника: слишком быстро все произошло. Был человек, который направлял, и не стало его. Решили выбрать тут же, в ту же минуту, нового. И вот тогда Валя, выйдя из оцепенения, стала кричать, что не верит в смерть Козина, потому что он не может умереть!

И действительно: под весь этот шум появился на поляне Козин. Раненый, он тащил на себе раненного тяжелее и еще два автомата, кроме своего. А детская, наивная вера Вали в бессмертие мужа очень ей пригодилась в дальнейшей мирной жизни. Потому что сама жизнь тут сделала резкий поворот: стал болеть и умирать Октябрь Козин. Тридцатилетний, горячий, удачливый, красивый, он сразу как будто шагнул за порог, где все сосредотачивалось на кислородных подушках, шприцах, бесконечных кардиограммах. Три месяца в больнице, шесть, снова два, снова три. Она отгоняла от него смерть своими руками, тоже по месяцам не выходя из больницы. Дежурила, заслоняла его, как когда-то, девчонкой, заслоняла от пули в жестоких боях под Бешуем. Он не мог спать, потому что знал: конец

придет именно во сне. А когда задремывал, забывался, просил: "Посторожи, Валя".

Сидела — голова мужа на коленях, — вспоминала... Боже, как это давно было: румынская, блохастая, но и теплая же шуба на снегу, и они вдвоем, завернувшись в нее, спят под розовым, не опавшим дубком...

Однажды, открыв глаза, Козин сказал: "Все, кажется, буду выздоравливать!"

К своей председательской работе, однако, вернуться он не мог, должности пошли под горку, потому что силы были только в мыслях и желаниях. И тут Козины переехали в город, а Валя пошла в совхоз «Южный», который занимался разведением птицы, то есть делом понятным, своим, сельским, и к тому же находился, можно сказать, на окраине Симферополя, близко к дому.

Директор, товарищ Хачирашвили, сказал с извинением в голосе:

— Мы вас всегда рады к себе взять, но сейчас как раз нет подходящей должности.

— Но я не должности ищу — работы.

— Какая у нас работа? Рядовой птичницей ведь не пойдете?

— Пойду...

Лет через восемь после встречи в Перевальном услышала я о ней в совхозе случайно и переспросила:

— Какая Козина? Разведчица Валя?

— Валентина Викентьевна, — поправили меня.

К тому времени она еще не получила ни одной из своих наград и не вошла в года, когда отчество

прибавляют к имени непременно, но сквозь всю прежнюю ее миловидность отчетливо проступало то жестковатое выражение, которое приобретают лица женщин, взваливающих себе на плечи постоянную ответственность...

Она и всегда была неразговорчивой, а сейчас за все время, пока мы с нею шли по огромному птичнику, я услышала от нее одну фразу:

— Почему-то о птичниках все пишут, а о тех, кто наш успех обеспечил, два слова скажут и — довольно.

— Конечные-то показатели все-таки зависят от вас...

— Смотря, что считать: количество яиц на курицу-несушку? Или количество кур-несушек, которых я могу обслуживать? На сотню, даже на тысячу кур, получи я хоть по 300 яиц, чести мало.

...На птицефабрике в шестидесятых была славная пора, когда свое, доморощенное оборудование служило образцом для всех хозяйств по Союзу.

И, кроме пристрастия к зоотехнической науке и ее книжкам, у Валентины Викентьевны в это время открылись несколько неожиданно для нее самой инженерные свойства ума: преимущество транспортера она поняла сразу. А чего там было не понять? — думаешь сейчас. И еще думаешь: что может быть проще этой огромной махины автоматического устройства, которая сама себя включает, сама себя выключает, согласно заданной программе рассыпает корм, собирает яйца, убирает помет.

— Но ведь путь какой — от ведра, от мешка шли, от лопаты, — ответила на мной не заданный вопрос Валентина Викентьевна. — Спина до сих пор все тонны

помнит, которые перетаскала, чуть что транспортер разлаживался. И все рычаги, которые до кнопок были, и все прыжки туда-сюда вдоль линии, пока наладили, отработали и свою, и потом заводскую.

И стало видно: ей страстно хочется, чтоб я получше поняла этот путь от первых вех до сегодняшнего дня. Этот путь, составивший главную дорогу ее жизни, этот путь, за каким даже партизанское стало как бы отодвигаться, уходить в сторону.

О Валентине Викентьевне тогда говорили привычно. "Железная, упорная, самоотверженная, настоящий партизанский характер, рук никогда при любой неурядице, неудаче не опускает". Это была удобная формула, и какое-то время человек вмещался в предложенный ею объем. Во всяком случае, для меня.

А может быть, даже и для Октября Козина? Для Октября Козина, который через всю жизнь тянул прямую линию от той девочки с заиндевелыми кудряшками, ушедшей на задание хмурым утром после партизанской своей свадьбы. Он тогда тоже ушел на задание, но в другую сторону, и всегда для него было гордостью, что вот так умели они ставить общественное над личным.

Самоотверженная... Когда за этим словом мы прозевали, что работа у нее творческая, умственная? Когда она стала творческой? Когда из молчаливого, добросовестного исполнителя Козина превратилась в страстного пропагандиста? В государственного человека, которому важно движение мысли?

А он из жизни выпал. Совсем, не на время, не на три месяца, не на шесть. Не окликнет, не принесет горячей воды, не посмотрит с жалостью, как ставит она в

таз тяжелые свои ноги, не проведет рукой по редким теперь поседевшим колечкам, не скажет:

"Валя, я же тебя знаю, ты не остановишься, еще будешь минуты копить".

"Буду. Сказать тебе? Нынче на производство каждой тысячи яиц из восьми ежегодных моих миллионов тратится ноль целых шестьдесят пять сотых рабочего дня".

Самая дорогая эта цифра для нее, личная, выстраданная, обдуманная, скопленная из тех минут. Есть и другие: по 160 яиц на курицу-несушку получили в 1964 году, и тогда это считалось рекордом. 270 получает она нынче...

...В 1975 году Герою Социалистического Труда Валентине Викентьевне Козиной "за выдающиеся достижения в труде на основе применения прогрессивной технологии" была присуждена Государственная премия СССР.

"Валя, а чего ты теперь хочешь?"

...Она сидит за столом, прикрыв глаза натруженной рукой. Чего она хочет? Чтоб работа год от года требовала больше ума и меньше тех усилий, от которых болит спина, и руки становятся раздавленными, грубыми. Не так для нее это важно, как для молодых.

Чего она еще хочет? Боже, как давно это было: румынская, блохастая, но теплая же шуба на снегу, и они вдвоем, завернувшись в нее, спят под розовым не опавшим дубком...

Рассказ о "красном камне"

На одном из давних банкетов рядом с виноделом Александром Александровичем Егоровым сидел поэт. Начинаящий поэт, мальчишка. Впрочем, рядом с Александром Александровичем все выглядели и чувствовали себя мальчишками. Он был патриарх, глава, мэтр. А поэт, взбудораженный честью соседства, да и самим банкетом, опрокидывал рюмки лихо и вдруг услышал:

— Молодой человек, вы хоть знаете, что пьете?

Смущенный поэт взял в руки бутылку:

— Мускат белый какого-то Красного камня...

Александр Александрович Егоров пожевал губами под седой щеточкой усов, не сдержался:

— В вине этом не меньше поэзии, чем в лучших строчках, от Гомера до наших дней, а вы, не вслушиваясь: "какого-то Красного камня!" Недавно в Крыму? Издалека?

— Сибиряк. Тюменская область. По состоянию здоровья, после фронта, — ответы звучали, будто заполнялась анкета. И было в той анкете что-то, скорее всего слова о фронте, что смягчило винодела.

— Видите ли, молодой человек, суть дела в том, что вино должно напоминать землю, на которой росла лоза, зрела его ягода. Пейте медленно и представляйте те рыжие склоны, на которых только и растет этот мускат. Рыжие склоны с белой известковой галькой — видите? А цикад — слышите? И волна, и лунная дорожка, скажу я вам, тут присутствуют — ощущаете?

Тогда поэт ничего еще в этом роде не умел ни услышать, ни ощутить. Понимал: сладко, ароматно — и все. Головой же кивал потому, что ему приятен был старик в черной академической шапочке. Старик, каких он еще не встречал в свой не замысловатой ребячьей, солдатской, а потом журналистской жизни.

Старик же смотрел на рюмку, поднятую к свету, дразнил:

— Возможно, сирены очаровали Одиссея именно этим вином "какого-то Красного камня", а не песнями. Возможно, сирены были сродни Инге Аркадьевне...

Инга Аркадьевна, на которую кивнул старый винодел, сидела тут же за столом и была большая, молодая, красивая.

Сирены, выплывающие над гладью морской белоснежными плечами, могли быть похожи именно на нее.

Медленным взглядом светлых глаз смотрела она на поэта, пока старик рассказывал смешное: когда на винзаводе останавливается совсем уже отживший свое электромоторчик, девушки во главе с Ингой выбегают на дорогу ловить в свои сети едущего мимо шофера, чтоб исправил поломку...

— И я б не отказался, — усмехнулся поэт, представив себе крутую, в старом асфальте дорогу и Ингу, как она машет белой, молодой рукой. — Только в моторах не разбираюсь.

— Ничего, приезжайте, вручную покрутите. Под «Разлуку» хорошо идет! Или тарпы разгружать — тоже работа. И в тарпах не разбираетесь? А как насчет ослов?

Да, такая библейская, но отнюдь не идиллическая тогда была картина. Семенили по виноградникам ослики, везли на взмокших боках плоские деревянные емкости — тарпы. Полупудовыми «ряжками» подавали мезгу в пресс, таскали по лестницам к бочкам, сложенным в три яруса, «каповки» на восемьдесят литров, спиртовали вино. Полы в подвалах были земляные, а все освещение шло от "летучих мышей".

Сказочным показалось бы тогда нынешнее обилие техники, нынешние подвалы, нынешний, по индустриальному разработанный процесс. Однако и без техники вино, приготовленное в 1946-м, а выпитое на том банкете, было прекрасно. Еще долго о его лимонном, таинственном послевкусии говорил за столом главный винодел «Массандры» Александр Александрович Егоров, а потом, как давно и хорошо известное, бросил:

— Повезло автору. Сколько умов до Инги Аркадьевны вплотную подходило, а взяла в свои руки проблему именно она.

Я думаю, поэт был удивлен, услышав, что автором вина, о котором столько говорил Егоров, была его ровесница, а не какой-нибудь древний грек во времена заповедельные. Но тут надо нам с вами уйти с банкета, чтоб я имела возможность объяснить: старый винодел в своей застольной реплике был не точен, когда безоговорочно назвал автором вина одну Ингу Аркадьевну. Над проблемой ароматов "Красного камня" виноделы задумывались давно, а в конце сороковых сам Егоров вместе с химиком виноделом О. А. Селивестровой раскрыл секрет этого муската.

Что же касается Инги Аркадьевны, она разрешила проблему перехода от модели вина к его производству.

Хотя в основном технология производства "Красного камня" не отличается от технологии производства других мускатов. Однако тот лунный, а точнее сказать лимонный, привкус в иные годы исчезал, хотя сусло давили строго из кустов винограда, которые росли только на южных склонах холмов возле Артековского завода, не смешивая с другим. Иногда привкус пропадал в устоявшемся вине и потом появлялся снова, иногда его вообще не было.

Инге Аркадьевне удалось установить закономерность его летучих свойств, удалось точно очертить территорию, где росли ягоды, от которых стоило его ждать. Инга Аркадьевна сумела закрепить случайно подмеченное, ввести его в ранг неперемного. Шли годы, и вот совсем недавно на одном из конгрессов вин во Франции председатель дегустационной комиссии торжественно обратился к присутствующим:

— Господа, я не знаю, какой стране принадлежит это вино, но его надо пить стоя.

Выпили, вернее, продегустировали стоя, присудили «Гран-при», а потом оказалось: уже второй раз Мускат белый "Красного камня" получает кубок, отличающий лучшие вина. Скажу более: ни одно вино в мире, кроме "Красного камня", не удостоилось этой награды дважды.

Человек, которому больше, чем другим, принадлежит честь создания, Инга Аркадьевна Голокоз, работает старшим виноделом на маленьком, так называемом Артековском заводе, входящем в состав могучего винкомбината «Массандра», уже около тридцати лет. Зовут ее теперь солидно и прозаично: Аркадьевна. Хотя, на мой взгляд, она все еще хороша, и все еще можно представить если не то, как

обвораживала она волшебным напитком Одиссея, то, во всяком случае, как длинноногой девчонкой выбегала на шоссе остановить доброго человека, чтоб помог пустить мотор...

Ни добрый человек, ни она сама не знали тогда, что стоят так близко к чуду. Только Егоров и в те времена любил говорить о большом будущем вина, о большом будущем своей ученицы. Правда, о двух кубках, наверное, и он не помышлял.

Итак, теперь ее зовут Аркадьевной и говорят так: "Аркадьевна сказала", "Аркадьевна велела", "Аркадьевна ночей не спит". Ночей Аркадьевна не спит, когда созревает мускат и надо не упустить момент, поймать тот миг для уборки, когда и сахару в ягодах накопилось больше всего, и не исчез неведомо куда аромат, делающий "Красный камень" именно "Красным камнем", а не обыкновенным, хотя и очень хорошим Мускатом белым десертным.

Кстати, случаются годы, когда "Красного камня" так и не получишь, хоть вся изведись в заботах, по три раза на день поднимайся на виноградники: шли осенние дожди, и мало было солнца, виновата природа, и себя в неудаче корить как будто нечего, а сердце болит... Но в иной сезон лунный, лимонный привкус на фоне других — медовых и розовых — выступает в этом вине резче, слышится явственнее. Как напоминание о тех минутах, когда ты был счастлив тем высшим человеческим счастьем, в котором как бы заключена уже и тоненькая нотка грусти. Потому что известно: счастье преходяще, как, впрочем, и все на этом свете, даже среди кудрявых розовых скал над предвечерним розовым морем.

Для меня мускат, о котором я столько говорила в этом рассказе, имеет еще тот особый смысл, что мое детство прошло рядом с приметной, в ярко-рыжих подпалинах скалой над дорогой из Алушты в Ялту, которая дала вину не всем понятное имя.

И память сердца всякий раз, когда я снова пробую это вино, возвращает мне горячий запах черствой земли, медовый дух цветов держидерева и разомлевших виноградных листьев. В сладкое благоухание июля вплетается цокот цикад; а также шелест того камешка на узкой тропинке, который сорвался из-под моих ног сорок лет назад и все еще не остановился в своем беге.

...Однако окончить этот рассказ я хочу не поэтическими образами, а точной цифрой: в самые урожайные годы "Красного камня" получается со всех виноградников 250000 литров. Это ничтожно мало: несколько больших деревянных чанов — и все. На весь Советский Союз. На весь мир. Так что и стоя, и сидя выпить его можно, если уж особенно повезет. Сувенирную бутылочку "Красного камня" достать также трудно, как, скажем, билет в «Современника», как томик стихов Ахматовой... И то же удовольствие он приносит — духовное.

Что же касается молодого человека, с которым на банкете разговаривал Егоров, так он уже давно не молод и давно понял: поэт может быть ремесленником, и винодел — поэтом.

Сегодня и оглядываясь

— А тех тракторов, на которых мы работали, вы, верно, и не знаете...

— Да как же не знаю? «Ланц-Бульдог»,
Эмалированная кастрюлька.

— Трофейная марка, — по-мужски уточнил он. — А помните, как его заводили?

— Помню, — сказала я. — Я ведь в этом же совхозе на «Ланце» сразу после оккупации работала...

И тут мы засмеялись, почувствовав себя чуть ли не родственниками. Сидели некоторое время молча, вспоминая усилия наших в сущности детских рук раскачать огромный маховик одноцилиндровой «кастрюльки». Потом стали вспоминать, что каждый из нас делал на «Ланце». Он, Владимир Васильевич Каплан, косил. Я возила солярку из райцентра на третье отделение совхоза «Большевик». Потом меня разжаловали в прицепщики. Не за какую-нибудь провинность, а потому, что из немецкого угона вернулись мальчики или просто за лето подросли те, что в обычное время гоняли бы себе в футбол. Владимир Васильевич Каплан оказался одним из таких мальчиков, севших на трактор... И вот по прошествии стольких лет мы с ним в красном уголке механической мастерской того самого совхоза сидим и вспоминаем.

Мы были людьми одного поколения, пережили войну почти в одном и том же месте и, значит, одинаково видели и те пустые поля, и те бригады, сплошь из контуженных и мальчишек. Мы видели также сожженные села и тех же лошадей — одров. Мы одинаково бегали заливать подшипники напрямки по стерне к мастерским. Одинаково заправлялись где-нибудь на краю села, там, в погребках с чуть поднятой над темным входом черепичной крышей стояли бочки с горючим и тавотом.

За нами стояло одно и то же прошлое, но говорили мы о настоящем. О том, сколько ума, научных открытий, достижений техники вкладывается сегодня в гектар пахотной земли. Об этом я должна была писать очерк и уже придумала ему заглавие: "Разговор об умном гектаре". Разговор шел о механическом отряде В. В. Каплана. По примеру этого отряда уже 44 звена в районе взяли обязательства получить с гектара больше ста центнеров кукурузы на зерно.

Но после этих внезапных слов о «Ланце» нас все время относило в сторону и назад. Однако так ли уж внезапны они были? Я ведь сама выбрала, куда поехать, с каким Героем Социалистического Труда, полеводом, на поливных землях встретиться, и решила: поеду в «Большевик», раз уж так гонюсь за исторической протяженностью в своих рассказах. Буду вести отсчет сегодняшним успехам от тех кричащих о засухе трещин, ползущих по лысой, как бы вытоптанной послевоенной земле, от того нищего курая.

Выцветшее небо нынешнего года не очень-то отличалось от неба одна тысяча девятьсот сорок пятого. Это чувствовалось не только в полях, но и в самом, хотя и неузнаваемо укутанном зеленью, поселке. Зной, зной, зной... Ломкая, как бы обгоревшая с краев подшивка местной газеты тоже испускала его, пока я рылась, устанавливая точное время наград, которых удостоен Владимир Васильевич. Орден Ленина — 1966 год, орден Октябрьской Революции — 1970 год, звание Героя — 1973 год. А после того семьдесят третьего и не было хороших лет. Даже снега не выпадало три зимы кряду...

Но нынешняя пыль не пахла бедой. Она пахла просто пылью, в проселках между делянками, на полевом

стане. Может быть, потому, что рядом по желобам бежала зеленовато-тускляя вода канала? И все время вспоминалась фраза: "Сейчас в Крыму каждый четвертый гектар — поливной. А будет в десятой пятилетке каждый второй".

Отряд Владимира Васильевича Каплана, то есть 19 человек механизаторов и полеводов, обслуживает 400 гектаров, высокоинтенсивных, дающих три урожая в год. Такое возможно только при наличии мощной техники, например, безотказных ЮМЗ-6. Не с этих ли тракторов мы стали вспоминать трофейные «Ланцы» и отечественные, с тяжелыми рычагами «Нати», собранные по винтику или вернувшиеся из эвакуации? И теперь уже все время, пока шел разговор об умном, то есть, прежде всего, поливном гектаре, над ними стоял и стоял то тонкий, дребезжащий, то густой рокот тракторов нашей юности. И еще в сухом, пресном воздухе красного уголка витали непонятные сейчас вопросы: есть ли в мастерских баббит? Что делать, если посыпалась коробка скоростей? Если отказало магнето? Где брать коней, перепрягать в жатки, в сеялки и так далее?..

...Солнце бьет в высокие пыльные окна, желтеет вода в графине, рядом, в мастерских, знакомо звякает железо о железо. И запах оттуда тянет тоже знакомый: солярки, в него вплетается еще резкая струйка бензина. Так пахнет в больших современных мастерских, так пахло в старых кузнях, где ремонтировали наши "Ланцы"...

— Раньше, ну, даже не во времена «Ланца», а десять лет спустя, счет как шел? — спрашивал между тем самого себя Владимир Васильевич и сам же себе отвечал: — на лошадиные силы. А завтра? Завтра я прямо скажу:

сил хватит, ты бы мне образования не нашел, где позычить?

— А сегодня?

— Сегодня лично я, практик, справляюсь при условии все время с наукой держать контакт.

Наука, какое это далекое было слово в те дни, когда Вовка Каплан в разбитых трофейных ботинках ходил по непролазной грязи в школу, а потом торопливо познавал истину: карбюратор надо продуть, магнето зарядить, а все остальное подтягивать. По его тогдашним понятиям наука словно и служила науке, а сюда, на поля, ее еще и не ждали. Это сейчас Каплан погибает пальцы, перечисляя:

— Селекция — на первом месте, я считаю. Гербициды — тоже, без них не обойдешься. Удобрения... Вы сегодня такого дурня найдете, чтоб, к примеру, селитру с охотой соседу занял, как избавился? Не найдете. А было, говорили: "Помалу в сеялку, Володя, засыпай, для начальства. А мы, как отцы и деды, обойдемся: "Два дождя в маю, и не надо агронома".

Но мы все-таки вздохнули об этих не выпавших дождях, посмотрели в окна, где белой отвесной стеной стоял зной...

— "Не надо агронома", — повторил, передразнивая кого-то Каплан, и покачал головой. Может быть, самого себя он передразнивал? Того дальнего, с худой детской шеей, с широким, вечно смеющимся ртом?.. — А для чего не надо? Чтоб взять верных 20 центнеров? А если доказано — можно иметь 42–45? А на поливных, к примеру, 100 центнеров кукурузы на зерно?

И вот тут-то я подумала: кем доказано? Им ведь и доказано. И не такой уж он тихий, хотя только что о себе бросил: "Я спорить не любитель, я помечтать любитель".

Я не успела спросить его, о чем же помечтать, потому что выплыло то давнее, когда к каждой полудетской мечте об учебе, о любви присоединялось непременно: чтоб хлеба было вдоволь. И чтоб сапоги не дырявые. Он, наверное, тогда еще загадывал: чтоб запчасти, чтоб новые мастерские — не лежать в луже, перетягивая настывшее железо... А вот насчет звезды Героя Социалистического Труда — вряд ли... И даже не в звезде дело: вряд ли кто из нас представлял нынешние поля — как их было представить! — и эти разговоры о науке, и канал, и дождевалки с автоматическим управлением, так естественно раскинувшие свои стрекозиные крылья, будто они сами выросли на полях, и не нужно было ни ума, ни горла, чтоб их изобрести, внедрить, доказать...

Дождевалки были такой приметой времени в степи, как в городе, скажем, гусиные шеи кранов. И пока я шла по селу, были видны вдали их радуги, и темные от сытой зелени поля, хотя дождя в этом году не было ни в «маю», ни раньше. Я шла, узнавая: вот здесь мы танцевали с летчиками весной сорок четвертого. Вот здесь мы жили во время оккупации, а рядом — девочка Тоня, убитая потом немцами в совхозе «Красный». С Тоней мы пели, прижав голову к голове: "Под окном черемуха колыхается, осыпая лепестки свои..."

Никакой черемухи за окном не было. Там уже в августе осыпала жухлые листья тощая сирень, и топтался патрульный с вечными своими «ахтунг» и «хальт». Тонин

голос, сильный и шершавый, как степной ветер, раздражал его, и тогда он принимался колотить в окно.

История последняя о том, как писались эти рассказы

Когда-то время в моем сознании стояло на месте. Не только от детского моего нетерпения это происходило, но, наверное, и от того, что времени не сообщали еще нынешнего грозного ускорения. Впрочем, многие утверждают: после сорока, во все эпохи, годы мчатся под горку, подсакивая в жестких промоинах вроде того детского обруча. Разница только, что годы остановить нельзя... Не то что жестяной дребезжащий круг.

И все-таки желание задержать время, продлить миг охватывало меня, как и всякого человека, не раз. Это случалось от избытка счастья, от удивления перед красотой природы, это было также в тот высокий день, когда, наконец, пришли наши. Но есть место на земле, где я отчетливее, чем где бы то ни было, чувствую тоску по уходящему, ушедшему, и уже не желание — необходимость встать поперек. Пусть о меня ударяются секунды, пусть тратят что-то во мне — все равно я должна задержать хоть горстку времени.

...Весной 1969 года мы шли по Эльтигену, по золотому песку, взявшись за руки так, будто нашли друг друга не через двадцать пять лет, а сразу после освобождения. И вдруг увидели: под тонкой пленкой воды, носами уткнувшись в берег, один за одним, один за одним стоят катера. Нет, не катера, а уже словно тени их, обозначенные пунктиром истаявшего занесенного песком металла. Для тех, кто прыгал в воду с них в ноябре сорок третьего, времени больше не

существовало: оно было обрублено. По сую сторону осталась тяжелая черепица рыбацкого поселка, колючки верблюдки у самой воды и ровный, слизывающий набег волн...

Мы разом почувствовали нашу вину, ту, которую чувствуют живые, стоя у пирамидок, у стел и иных мемориалов, если под ними — ровесники. Вина еще увеличивалась счастьем, мы разомкнули пальцы. Но через минуту поняли, счастье не уменьшилось, только стало острее, за него надо было держаться. А что касается беззаботности, на что она счастьем в нашем возрасте?

Вот с этого чувства, с этого безмолвного стояния над прахом десантных суденышек началась книга. И еще фраза тогда была сказана старым рыбакам в рубашке-распояске. Он пил у ларька пиво, сваливая пену на землю, и сказал:

— Все, скоро и эти железки время возьмет. Будет пляж, не будет Эльтигена...

Мы ходили в тот день по холмам, где окопы осыпались, но до сих пор еще не заросли, мы искали старые гильзы и находили их на обрывах под кустами терновника. Мы сидели на теплой майской земле и говорили о тех, кто погиб. А еще я сказала, что в шестидесятом видела десантные мотоботы почти в полный рост. Тогда они тяжело поднимались над водой ржавыми бортами, песок еще не засосал их, и можно было все рассмотреть: надстройки, палубу, леера...

Мы помолчали и вдруг ощутили время, оно как бы текло между пальцев, оно оборачивалось песком огромных песочных часов, ему надо было помешать. На это я знала один способ — написать книгу. Писать ее я,

разумеется, стала не в тот же день, не на Эльтигене. Там я получила только изначальный толчок. Была еще потом нестерпимая разлука с Крымом, тоска по нему, воспоминания, которые однажды начались вопросом:

— А гильзы у тебя целы?

— И железка от катера тоже, и донышко амфоры...

— А помнишь, ты хотела написать книгу? Сто рассказов о Крыме?

И все, кто был с нами в комнате, тоже стали говорить об этой книге, прикидывать, что за рассказы.

Я благодарна всем им, но больше всех москвичу, человеку будто бы далекому от Крыма и литературы — доктору химических наук Игорю Вячеславовичу Верещинскому, придумавшему название. Кроме того, он был соавтором доброй половины историй, попавших в нее. В прямом и переносном смысле он шел рядом со мной во всех поисках, касалось ли дело сюжета или документов. У него было терпение иное, чем мое: таким обладают люди, работающие в науке.

Замысел заинтересовал многих, и они хотели внести и внесли свою лепту в будущую книгу. Поэт Б. Е. Серман познакомил меня с новыми документами об Аджимушкае, керченские журналисты посоветовали съездить в "сад Ярославского", Михаил Музыка рассказал о своем брате, П. Н. Шульц о том, как нашли Скилура. Историю картины Яновского я слышала от него самого. Благодаря генералу Казаряну написала о мальчиках, ушедших из Симферополя в октябре сорок первого, а от генерала А. И. Ковтуна узнала подробности о Приморской армии. Писательница Виноградская рассказала мне, как выглядела, говорила и одевалась Александра Федоровна

Коллонтай. Библиографы Р. В. Марголина и Т. Л. Шостак разыскивали для меня в фондах библиотеки все новые и новые материалы; помогали работники музеев.

Книга вышла объемнее, чем я предполагала, но все равно многое осталось за ее пределами, помаячило и отстало. И вот что интересно: чем ближе к нашим дням, тем теснее обступали меня возможные сюжеты рассказов. Мирное время уступало, конечно, другим в драматизме ситуаций, но оно было нашим, моим временем, я не только лучше знала его подробности, я в какой-то мере отвечала за него.

...Возможно, кому-нибудь покажется, что я писала, как собирала камешки. Волны (просто волны или волны времени) их выбрасывали, а я собирала: разноцветные, разновеликие, разные сюжеты. Нет, на самом деле я была рудокопом. Кирка поднималась у меня над головой, а внутри что-то хекало, тогда я вонзала ее острый конец в землю. Кроме лет подготовительных, на эту работу ушли три последних года. В это время я не знала никакой другой жизни, только жизнь своих героев. Никаких других тревог, только тревогу: получится — не получится? И хоть до всего этого читателю нет дела, все-таки хочется сказать какие-то последние слова, помедлить с тем мигом, когда придется ставить точку.

1973–1977 гг.

Алушта — Переделкино